Н. В. ПИНЕГИН

Записки полярника



ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срока

М				
4-П.32-3				

Картотип. ГУРКВМФ. Зак. 476—20000


Проверено-85



Н·В·ПИНЕГИН

Записки полярника



Севкрайгиз
АРХАНГЕЛЬСК
1936

Н. В. Пинегин

ЗАПИСКИ ПОЛЯРНИКА

Севкрайгиз — 1936 — Архангельск

В этой книге, рассчитанной на массового читателя, автор — участник многих арктических экспедиций — в форме воспоминаний рассказывает о походах в арктику в дореволюционное время и о борьбе за освоение арктики теперь.

Особенно подробно автор описывает трагическую экспедицию на северный полюс известного полярника Г. Я. Седова, а также свою экспедицию в северную Якутию — на Новосибирские острова

Часть первая

Неведомый север

На письменном столе передо мной горка записанных книжечек, тетрадей и блокнотов в прочных, но сильно потрепанных переплетах. Это дневники и полевые книжки поездок и экспедиций на крайний север.

Давно исписаны эти страницы. Вот этой книжечке в холщевом переплете — двадцать семь лет. Она неотлучно была со мной во время первой поездки по Лапландии и по Мурману еще в то время, когда на месте огромного города Мурманска были одни голые каменистые пахты и топь мшистых, морошкой покрытых непроходимых болот. Не было на севере тогда ни государственных рыбных, пушных, горнопромышленных и химических комбинатов, ни шоссе, ни железных, ни проезжих дорог. И слово север писалось тогда через ять.

Север был совсем неведомой страной. О крайних к Ледовитому океану областях — даже столь близких от столиц, как Карелия, Лапландия и Печорский край, — никто не имел правильного представления. А большинство населения Российской империи не знало о севере совсем ничего. И хуже — не интересовалось.

Даже среди образованных слоев населения понятия о севере были превратными, или — в лучшем случае — очень неясными. Будущие инженеры, агрономы, купцы и чиновники государства Российского зубрили на школьной скамье названия островов и полуостровов Северного Ледовитого океана, узнавали из тощих учебников географии о существовании городов Архангельска, Колы, Мезени и Обдорска да трех-четырех северных рек, слыхали о святых Соловецких островах и — на всю жизнь оставались с запасом таких скудных познаний. С подобными же знаниями впоследствии часть этих людей должна была править севером, ибо там люди все же обитали, производили и потребляли некоторые ценности, жили, родили себе подобных и умирали.

Человек, по какой-либо причине заинтересовавшийся севером, не мог заметно расширить своих знаний о нем даже при желании это сделать. Ни в одном университете не было кафедры географии полярных стран. Чтение? Но книг о севере печаталось ничтожное количество. В этих книгах чаще всего описывались экспедиции и путешествия по арктике. Все описания, за

малыми исключениями, давали понятия о севере как о великой пустыне, стране ужаса и смерти,— поехать туда могут только герои.

Очень немногочисленна была и научная литература. Географическое Общество, снаряжавшее экспедиции в Тибет, Монголию, на острова тропических морей и изредка в высокополярные области, почти не интересовалось ближайшим севером, в пяти днях пути от столицы. Человеку, желавшему познакомиться с научными трудами о севере, лучше было обратиться к иностранным источникам. Иностранная литература о многих районах севера, например о Вайгаче и Колгуеве, была куда богаче русской. Русские исследователи, побывавшие на севере, нередко предпочитали публиковать свои труды на иностранных языках.

Невежественную и косную Россию я вспоминаю совсем не для того, чтобы изумить молодого советского читателя, который неплохо осведомлен о районах своего отечества даже после окончания первой ступени школы, и не для противопоставления познаний интеллигентных людей прежнего поколения познаниям советского школьника. Нет. Я просто хочу сказать читателю, что багаж точных знаний в отношении севера у того человека, чьи записки лежат теперь передо мной на письменном столе, не мог быть значительным. Не удивляйтесь же на первых страницах наивности этого молодого человека.

Теперь вообразите молоденького студента-художника, вдобавок охотника, влюбленного в дикую природу. Восприятие этой природы создает интереснейшие переживания. Молодой человек успел прочесть несколько книг о путешествиях на север и в арктику. Книги распалили воображение, но совсем не запугали. Фантазия молодого художника увлечена до крайности картинами льдов, сказками о борьбе смелых людей с девственной природой в полунощной стране. Он видит себя в страшном Ледовитом океане, на утлом челноке. Он совершает смелые переходы с ружьем и этюдным ящиком по звериным тропам, где не ступала еще нога человека, сидит у костра в одиночестве, подобно героям Кнута Гамсуна, ведет разговоры с непугаными птицами и с любимой собакой...

Решено — на север! С завтрашнего же дня начать строжайшую экономию, вплоть до питания одной селедкой, чтобы скопить из скудной стипендии десятка три рублей. В пивнушку — ни-ни! Потом купить побольше красок, пороху, дроби и пуль и — ехать в страну чудес — волшебный север!

У юных мечтателей их планы всегда открыты для близких друзей. Среди знакомых казанских студентов внезапно оказались ребята, готовые не только слушать до самого утра расплывчатые планы, но тоже горящие желанием отправиться в дальний путь — хоть на Юпитер. Мы долго спорили — куда и

зачем бы нам поехать. Кто-то предложил не заниматься пустяками, а отправиться сразу на северный полюс. Однако план такой поездки был все же отвергнут. Пересмотрели все карты севера, какие могли достать. Перессорились, отстаивая различные маршруты. В конце-концов сошлись на решении проехать для начала из Казани водным путем на Северную Двину.

Из многих желающих отсеялось четверо: естественник Семенов, топограф Моросин, путеец Качалов и я, художник. Все молоды, все крепки, все охотники. Естественник подал хорошую мысль — попросить помощи для экспедиции у Географического Общества. Не откладывая дела в долгий ящик, мы пишем председателю Общества письмо, в котором объявляем о намерении исследовать состояние забытого Екатерининского канала.* В этом же письме просим прислать подробные карты, топографические инструменты и пятьдесят рублей на снаряжение экспедиции.

Недели через три Моросин, сшибя по дороге хозяйку, ворвался вихрем в комнату и достал из курса физики добротный, атласной бумаги пакет с печатью Русского Географического Общества. Внутри письмо и при нем нечто вроде мандата В письме секретарь Общества сообщал приблизительно так

„Милостивые государи!

По поручению его превосходительства г-на председателя Императорского Русского Географического Общества, сообщаю вам, что организуемая вами поездка не может быть субсидирована Обществом как по причине неимения свободных средств, так и по отсутствию сведений о способности указываемых вами лиц к производству намеченных исследований. Тем не менее, считая желательным получение сведений о современном состоянии канала, носящего имя ее императорского величества Екатерины Второй, его превосходительство председатель Общества счел возможным принять вашу экспедицию под покровительство Императорского Русского Географического Общества, как соответствующую его видам, и разрешил снабдить вас удостоверением, каковое при сем прилагается. Пятиверстную карту верховьев Камы и Вычегды вы можете получить в любом картографическом магазине“.

Приложенная к письму бумага с огромной сургучной печатью выглядела очень внушительно. В ней излагалась просьба Географического Общества о содействии экспедиции, которая намерена пройти Екатерининским каналом из реки Камы в Вычегду и Северную Двину.

Два месяца спустя, высадившись с маленького камского пароходика на пристань за Усольем, мы выгружали свои чемоданы и несложное экспедиционное снаряжение маленького предприятия с громким названием — „Волжско-Двинская экспедиция“. Самое дорогое в снаряжении — была старая латанная палатка, которую знакомые землемеры дали на подержание. Остальное —

---

* Екатерининский канал соединяет (через Каму, Вычегду и их притоки Южную Кельтму и Северную Кельтму) бассейны Волги и Северной Двины. Канал длиною около шестнадцати километров.

мешки с сухарями, с сушкой, мукой и крупой, ящик с порохом и дробью и сундучок с чаем, сахаром и мелочью — приобрели мы сами. Здесь же на пристани купили у рыбака за три целковых лодку, вытесали мачту, пристроили парус из простынь и бечеву.

За устьем Колвы, попав сразу в очень редко населенные места, мы были предоставлены собственным силам. Пора мечтаний о приключениях и героических подвигах прошла, настало время будничной простой работы. Ежедневно мы добросовестно тянули в течение двенадцати часов тяжелую груженую лодку, бранясь, лезли в воду стаскивать лодку с бесчисленных мелей, перебредали по пояс речонки и ручьи и, окруженные тучами комаров и мошки, пытались заниматься съемкой и зарисовками.

На другой день пути полил дождь. Три дня мы брели с утра до вечера мокрые до нитки, прозябшие и сумрачные. На остановках с трудом разжигали костры, пытаясь осушиться. И мрачно хлебали тюрю из сухарей, заправленную кусочком масла. Вся дичь, на которую мы так рассчитывали, попряталась. Несмотря на наши старания, за первые пять дней добыли только одну чайку. За это время успели мы пройти от Колвы верст пятьдесят. Выглянуло солнышко. Моросин вернулся с охоты с полдюжиной жирных кряковых утят. Качалов поймал на жерлицу большую щуку. После дождя появились грибы. Наше настроение улучшилось.

Кама выше Колвы не широка. Купаясь, мы легко ее переплывали. Оба берега заросли дремучим хвойным лесом. Он стеной обступил низкие мшистые берега, река их размывает во многих местах. Согнутые елки, увешанные бахромой лишайников, низко склоняются к темной воде. Эта местность заселена была очень мало. Километров через пятнадцать, а то и больше встречались выселки по два или по три двора. Зовут здесь маленькие поселки — починками.

Однажды мы пристали к такому починку, пытались осмотреть деревню и купить свежего хлеба. По встрече видно было, что новые люди здесь в редкость. Бабы прятались от нас, а мужики нето дичились, нето смотрели враждебно.

Пробыв в пути неделю, мы стали понемногу привыкать к кочевой обстановке. Уже без препирательств сменяли друг друга на бечеве, на руле и веслах. На остановках совсем без суеты и споров ставили лагерь, искали топливо, водружали палатку, пекли ржаные лепешки, варили кашу и похлебку. Погода установилась хорошая. Теперь мы шли сухие и сытые,— дичи оказалось больше, чем ожидали. Мы стали входить во вкус путешествия. Начались и приключения, сначала мелкие, вроде встреч с медведем и рысью, за ними последовали более серьезные и даже трагические.

Однажды за поворотом реки нашему взгляду неожиданно открылось распаханное поле, а за ним большая деревня. Вид

этого лесного поселка был, помню, воспринят нами с огорчением и недоумением. Мы искренне считали, что не увидим больше жилья до Вычегды, что началось уже путешествие по дикой стране,— а тут извольте — какая-то не значащаяся на карте деревня, и такая большая! Лишь впоследствии стало известно нам название ее — Канавная. Эта деревня возникла одновременно с прорытием канала.

Жилье увидели под вечер, была уже пора остановиться на ночлег. Кто-то предложил переехать через реку и ночевать в деревне, но не встретил поддержки; в посещенных раньше починках заметили мы, что народ в верхнекамском краю неприветлив и угрюм.— „Чего мы, клопов, что ли, здешних не видели!" Решили ночевать в палатке, а утром завернуть попути в деревню за хлебом.

В этот вечер, после ужина, мы засиделись у костра, помнится, споря о форме острова, на котором накануне охотился Моросин. Качалов уже ушел в палатку стлать постель, собирался итти и я. В это время со стороны берега послышался приглушенный говор. Несколько минут спустя к нашему костру стали со всех сторон подходить мужики — человек пятнадцать, и встали кругом. Мы оказались в кольце. Живая стена пропустила еще одного крепкого старика, заросшего сивыми волосами, как корявая в лесном болоте ель. Старик, не торопясь, вытащил из-за пазухи медную бляху с надписью „сотский", поправил ее на груди, крякнул и строго спросил:

— Кто такие будете, сказывай? Откуда едете и по какой нужде?

Мы все немножко растерялись. Положение осложнил рассеянный Семенов, вступив в объяснения. Своим казанским говорком с интеллигентскими оборотами речи начал путанно рассказывать:

— Вот тут нас несколько, еще один хотел поехать, но, видите, не удалось достать теодолита, инструмент такой, чтоб звезды наблюдать, вы понимаете? Что касается меня, то я биолог, собираю коллекции, вот это наш художник,— пишет этюды, то-есть картины природы, у вас здесь прекрасные пейзажи. Вот он — студент-топограф с последнего курса, он сделает опись канала, а там еще путеец, специалист по водному транспорту.

— Так-так. Чтож, ребята,— обратился сотский к мужикам,— давай. Чего тут разговаривать, дело яснее ясного. Урядник про этих самых спицилистов и говорил. Надо представить по начальству. А, ну, становися туто, Фотей! Григорий, у тебя, что ль, веревки-то?

Растерявшийся Семенов, окаменев, не оказал никакого сопротивления, когда его сгреб за ворот рубахи дюжий черный Фотей. Видя, что горячий Моросин взял в руки двустволку и начал пятиться к палатке, я бросился к нему, зовя Качалова. Но Качалов уже показался из палатки. Когда он, не торопясь,

вышел из тени на свет костра, мы от изумления раскрыли рты. Товарищ оказался одетым в новенькую студенческую тужурку с золочеными пуговицами и наплечными знаками, на голове форменная фуражка с гербом. Зачем в такую минуту понадобилось доставать из недр чемоданов одежду, погребенную в них, как мы считали, до Вологды? Окаменели и мужики. В дальнейшем события развернулись очень быстро. Качалов спокойно, руки в карманы, подошел к сотскому и резко по-начальнически бросил:

— Ну, что тут такое, что за шум? Что нужно тебе? А?— И вдруг, переменив тон, закричал:— Как! Что! Молчать! Шапку долой! С кем говоришь?

Мужики опешили, попятились. Семенов получил свободу. Сотский, сразу потеряв начальнический вид, стал кланяться низко. Не давая опомниться сотскому, Качалов шел на него грудью.

— Ты хочешь знать, любезный, кто мы такие? А знаешь, что вот в этой бумаге,— видишь, какая печать!— написано о полном содействии экспедиции Государственного Географического Общества — Государственного, Императорского! А ты что делаешь? Да знаешь ли ты, чем пахнет противодействие! Да ты видно еще не сидел?

— Ваше высокородие, простите, ваше высокоблагородие, не знаю, как вас величать! Не гневайтесь! Его благородие, господин пристав, приказал всех студентов и в первую голову спицилистов представлять в арестный дом и не слушать ни слова. А какие студенты — мы не ведаем. Еще два дня назад слух пошел. Приехал из Дерновки мужик, сказал, что едут люди неизвестные, везут, надо быть, ящики с золотом, двоим не поднять. Не иначе, как японцы, или эти самые спицилисты.

Спустя полчаса мы дружелюбно беседовали с мужиками. Только сотский не переставал извиняться.

— Уж извините, народ здешний — темный, живем в лесу, еловой шишкой чешемся. Увидели — лодка идет нездешняя,— сразу подозрение. Видят — люди неизвестные: ни христьяне, ни начальство. Начальство посуху ездит и завсегда с колокольцами. Приедут, сразу же на отводную квартиру. Не успели приехать — требуют яиц, куриц, водки и живности. А господин пристав Иван Алексеевич,— уж знаем его повадку,— всегда спрашивает насчет женского пола, да помоложе.

Приключение это, закончившееся благополучно благодаря находчивости Качалова, использовавшего студенческую тужурку для роли начальника,— оказалось все же предисловием к концу экспедиции. Через день после отъезда из Канавной случилось второе происшествие: я был ранен взрывом патрона в машинке для набивания,— вероятно, попала под пистон песчинка. Рука оказалась разорванной. Семенов с помощью канавнинских мужиков отвез меня к устью Колвы и сдал на идущий в Чердынь пароход. Угнетенный этим происшествием и столкновением с му-

жиками, Семенов вернулся в Казань. А еще через два дня Моросин смертельно ранил себя из собственной двустволки, повешенной за плечи в горячке охоты со взведенным курком.

Происшествие доставило множество неприятностей Качалову. Он долго просидел в Канавной на положении человека, заподозренного в убийстве. Только через две недели приехали власти. Сняв допрос и взяв с Качалова расписку об обязательной явке в суд, следователь разрешил Качалову уехать домой.

Так закончилась попытка студентов исследовать Екатерининский канал.

Я свиделся с Качаловым в Перми, где пришлось мне залечивать рану. Оба мы мучительно переживали гибель молодого, способного, кипевшего жизнью товарища. Мы чувствовали в причинах гибели его какую-то долю своей вины. Эту вину первым формулировал Качалов во время одной из вечерних бесед на Прикамском бульваре.

— Меня среди ночи будит мысль о том, что злого рока не бывает, бывает чья-то вина. Погиб Василий — кого винить? Тебя — за инициативу нашей несчастной поездки? Нет.— Тогда — в жизни шагу не ступи. Я думал много и знаю теперь, в чем виноваты я и ты и все. Мы, первый раз в жизни начав самостоятельное дело, не обдумали его хорошенько. Будь, например, у нас подпилок, хоть старенький, чтоб подточить зубок спускной собачки у курка,— ведь знали все, что не держит курок,— Василий был бы жив. Будь у нас готовые патроны,— твоя рука была бы цела. Понял? Наш грех — легкомыслие и детская непредусмотрительность. Нельзя так беспечно готовиться к поездке в глухие места. В борьбе с природой нужны исправные орудия, а мы надеялись лишь на себя. Организовали нашу экспедицию безалаберно и анархично. Каждый думал только о себе, брал, что казалось ему нужным, но никто не подумал о всей нашей группе. В ней не было главы. Некому было обо всех позаботиться. В следующий раз я не выеду в глухие места, пока не буду знать, что все продумано до мелочей.

— Ты думаешь поехать снова?

— А ты разве нет? На что же тогда наш опыт, доставшийся так дорого?

И в тот же вечер мы решили поехать будущим летом на Белое море.

Свидеться с Качаловым мне больше не пришлось. В первую же зиму,— шел год 1905,— он оказался в числе студентов, исключенных из института за политическую забастовку. Исключенные студенты теряли право на отсрочку по отбыванию воинской повинности. Качалов должен был итти в солдаты. Военной службе в царских войсках, да еще на положении студента-забастовщика, мой друг предпочел эмиграцию. Через год я получил открытки из Милана и из Неаполя, а затем совсем потерял следы этого отзывчивого и вдумчивого искателя приключений.

Но мысль о поездке на Белое море и в Ледовитый океан крепко засела в голове. Каждую печатную строку, где говорилось о северных краях, я прочитывал с жадностью. Разыскивал книги про Поморье и тундры. Зачитывался по ночам.

Книги разожгли до крайности желание увидеть настоящий север — не только верхнюю Каму и Кельтму, которые оказались похожими на давно знакомый пермский север, только более безлюдный.

Нет, теперь мечтой стал далекий север, не ближе Поморья. Прочитав десяток книг, я уже составил по ним представление о севере другом, „настоящем". „Тот север,— думал я,— страна особенная! Там — полуночное солнце. Там полярная ночь горит волшебным светом сполохов. В стране лютых морозов носятся на легких санках, запряженных оленями, одетые в меха туземцы. К этому северу примыкает Поморье, там живут потомки вольных новгородцев, отважных завоевателей севера. Они единственные хранят еще картинный быт и важную обрядность русской старины. Эти люди свободолюбивы, как их предки, они не знали крепостного ига и солдатских шпицрутенов. Здесь, на юге,— гнет помещика, купца и урядника; там,— мечтал я,— прекрасная страна свободы. Туда — на север, на дальний север"!

Архангельск

Лето года тысяча девятьсот девятого застало меня в Архангельске — приехал погостить у родных, с затаенной надеждой найти случай увидеть Белое море и Мурман.

У этого города в те годы было три совсем разных лица.

Одно лицо Архангельска — облик типичного провинциального городка. Таких в царской России видел я сотню. Имелись здесь главная улица с двухэтажными домиками, вывески на них, герань на окнах и занавески; на перекрестках улиц, у губернаторского дома с колоннами и, конечно, у полицейского участка стояли крашеные в елочку черным и белым полицейские будки; улицы окаймлены были шаткими деревянными мостками, спасавшими пешеходов от непролазной грязи. У края базарной площади блестел куполами кафедральный каменный собор, на



Бывшая „Немецкая слобода" города Архангельска в дореволюционное время

паперти его канючили профессиональные нищие. Как везде в провинции, к соборной площади примыкал старинной постройки облезлый гостиный двор, в нем ряд мрачных купеческих лавок с железными дверьми, где молодцы-приказчики тянули за полу прохожего, выкрикивая: „У нас хотели купить, господин!" За гостиным двором начинался нижний базар с горами деревянной и глиняной посуды и щепяного товара, тут же рядом толкучка, харчевни и кабаки. Воскресные чинные гулянья по главной Соборной улице и на бульваре у реки, сонная одурь по будням, сплетни сытых мещанок на лавочках у ворот, пьяные в грязи у мостков и, наконец, тяжелый „российский дух" у каждого забора. Вот черты тогдашнего губернского города Архангельска.

Второе лицо Архангельска не кидалось в глаза. Прохожий мог совсем не заметить его. Оно открывалось только в том случае, когда, миновав бесконечно длинную улицу и соборную площадь, новый человек, знакомившийся с городом, решался пройти до его окраины.

За старинным зданием таможни вид улицы резко изменялся, словно тут начинался какой-то новый город. Улица пряма, чиста, прочные мостки не хлябают под ногой, по сторонам утопают в зелени опрятные, обшитые тесом крашеные домики; перед фасадами их и за прочными решетками — узорные палисадники с газонами и клумбами, мощеные дворы, всюду телефонные и электрические провода. По обе стороны улицы — такие же чистенькие, прямые переулки без заборов и неизбежной провинциальной вони. Вся эта часть напоминала предместье немецкого города. Сходство завершала лютеранская кирка, готическая крыша которой выглядывала из-за деревьев небольшого сквера.

Это — Немецкая слобода. Здесь жили настоящие хозяева Архангельска и всего Северного края, отгородившиеся от чумазой и неряшливой российской провинции. Скоро узнал я, что вся оптовая торговля, лесопильные заводы в Соломбале, Маймаксе и других пригородах и на островах, плоты, пароходы, грузившие муку, рыбу, ворвань, пушнину, смолу, кожу и лес, почти все банки и нотариальные конторы,— все это принадлежало обитателям чистенького и аккуратного городка.

И третьим лицом Архангельска была набережная. Светлые, почти не отличимые от мглистого дня июньские ночи. Ширь могучей Северной Двины, то спокойной, то бурной, как море; шум и бодрые крики в порту, на судах, стоящих у портовых пристаней и на рейде, движение поморских шхунок, карбасов, ботов, раньшин, клиперов и океанских бригов; гудки огромных морских пароходов, разноязычный говор на пристанях, странная, жителю средней России не сразу понятная речь поморов; острый запах трески, сложенной высокими грудами, и самое яркое на берегу — бодрость и вольность движений людей, недавно приехавших с моря или собирающихся снова отплыть,

быть может, на годы; энергичные, с морским загаром лица, веселый хохот поморских „женок“,— они не хуже мужчин справляются с морской работой, и матросская удаль в работе, удаль и в гулянке,— все тянуло меня.

Вглядываясь в эти черты приморского Архангельска, я заражался его движением. И крепла мысль: здесь множество возможностей. Нужно быть большим мямлей, чтобы не воспользоваться ими, не ухватиться за случай поехать на Белое море, а, может быть, и дальше.

Случай подвернулся. Вскоре удалось познакомиться с членами недавно основанного Общества изучения русского севера. Состав этого общества был пестр до смешного: в нем были и купцы, и студенты, и губернатор со становыми, и политические ссыльные. Принимали всех, кто проявлял какой-нибудь интерес к северу. А чиновников, знающих по долгу службы север больше других, литераторов, ученых и художников председатель Общества встречал всегда с распростертыми объятиями. Среди ученых самую сильную группу составляли изучавшие север поневоле — ссыльные: среди них узнал я несколько выдающихся людей. Такими были Журавский — пионер агрономии севера, геологи Русанов и Самойлович. Ведя серьезную научную работу, правда, совершенно бессистемную, они давали истинное понятие о крае, считавшемся неведомым и недоступным. Русанов и Журавский нашли потом на севере преждевременную смерть.

Общество издавало научный журнал, посвященный северу. Председатель Общества А. Ф. Шидловский помог мне осуществить летнюю поездку. Он дал несколько рекомендательных писем, выхлопотал бесплатный проезд до Мурмана на пароходе и достал открытый лист для проезда на лодках. За это взял с меня обязательство: описать поездку на страницах журнала.

За полярным кругом

„Николай“, медленно переваливаясь, режет мутноватые волны Белого моря. Воздух ясен, не крутая катится волна. Направо лиловато-бурая полоска невысокого Зимнего берега, влево, в морском просторе, кое-где голубые, едва видные треугольные паруса маленьких шхун. Мы подходим к полярному кругу.

Пароходная палуба забита грузом и народом до чрезвычайности, пройти по ней от бака на корму — нелегкое дело. Карбасы и маленькие шлюпки, множество порожних бочек, доски, сено и кирпичи. Все перетянуто канатами, укреплено распорками. Между палубным грузом — сети, канаты, рыболовные снасти и архангельские плетеные из дранки корзины.

В карбасах и на свободных площадках палубы и даже в некоторых бочках разместились люди. Всюду поморы в полосатых или синих фуфайках, не мало и баб. Все едут на Мурман промышлять треску. Среди взрослых шныряют мальчишки — „зуйки“,— так зовут поморы ребят-помощников на промысле.

Для меня все ново, все необычно, как в чужом государстве, даже говор. Пытаясь рисовать, слежу за поморскими женками: держатся они молодцами,— видно, что море им привычно. На Белом море, в летнее время, когда все мужики уезжают промышлять на Мурман, женки рыбачат и возят почту; на море — целыми днями; сидеть на веслах и управляться с парусами привыкли с детства. Видало Белое море и женщин-капитанов.

Я дивлюсь, что качка не действует здесь ни на кого, кроме пассажиров первого класса. На палубе оживленный говор. „Женки“ чувствуют себя, как дома, судачат. Сняв душегрейки, сидят они в одних летниках-сарафанах, с головами, укрытыми повойниками, украшенными узорами из мутных жемчужин. Я сижу недалеко от группы мужиков. Один из них, длинный и сухой, прищурив белесые глаза и скаля желтые прокуренные зубы, сыплет прибаутками, из которых я не понимаю многих слов.

— Алешка Фомин, сын вдовин, по морю ходил, катары кроил, тем свою буйну голову кормил. Из нерпичьей катарки выкроил две лямки, а из заячьей катары — целую шойму. Бежал со взводнем потихоньку, увидал ошкуя Афоньку, ко льдины пристал паужину варить зачал!

Навстречу идет пароход, дает свисток. Гудит в ответ и наш. На голову краснобая внезапно падает дождик — горячие капли из паровой трубы. Он вскакивает под дружный хохот и бежит, отряхиваясь, к борту, но зубоскалить не перестает.

— Ребята, огляньтесь! Зотов Епишка, да Чайкин Мишка, да Мошников Андрей, да Андрианыч Афонька разошлися порато: на шхуне дырявой ладят нос пароходу обрезать. Зри, как на отсад садит, под самый планцырь припира-а-т!

У другого борта пожилой, могучего сложения помор начинает какую-то сказку.

Начинаю прислушиваться к ней, но ко мне неспешно подходит благообразный старичок в чистенькой поддевке, волосы в кружок.

— Дозвольте посмотреть, что изволите изображать! — спрашивает он очень учтиво. И удивляется моему намерению делать зарисовки поморских орудий промысла. — Бог в помощь в вашем художестве! Примечательного, осмелюсь заметить, в поморской снасти немного. Простые крючки с наживкой на длинной веревке-стоянке. Обращение с такой снастью немудрое. И весь промысел на Мурмане нехитрый. Рыба сама идет, лови, чем попало; спусти крючок — рыбу зацепишь. Тьма ее, богатство великое. Только, скажу я вам, впрок рыба эта нейдет. Солить не умеют. Треска в свежем виде — одно объяденье. А что из нее поморы делают! Мы, люди здешние, привычны: даже любим трещечку с запашком, а все же попадается другой раз и нам невтерпежь — совсем гнилая, темная, как сапог, даже наш невзыскательный народ нос в сторону воротит. Вот норвежский товар не нашему чета: белая да крепкая. А почему? Народ другой.

Словоохотливый старичок усаживается рядом на бухту каната и продолжает:

— У норвежца все в аккурате. Снасть — топором не разрубишь, суда ихние — ёлы — не чета поморскому дедовскому карбасу, порато большую волну выносят. Наши поморы, правду сказать, моряки отважные, народ отчаянный; диву даешься, как в этаких посудинках выходят в море верст за тридцать! И то сказать: редкий из них в беде не бывал, каждый горя хватил достаточно, и на смерть товарищей почти всякий смотрел. А все же нет смекалки судно хорошее завести. Поговорите с ними, — „Отцы, — говорят, — плавали, деды плавали, слава богу, сыты бывали, а смерть каждому на роду написана“. Другой и понимает, да силы нет новое судно завести. А норвежцам государство на помощь идет, ссуду на новые суда дает. Там ёлы теперь на берегу гниют: каждый старается завести палубный моторный бот. Говорят, теперь зачали строить даже пароходы, которые рыбу со дна прямо в мешок берут за один раз сотню пудов. А у наших и ёл еще мало — две-три в становище — и обчелся. А моторные боты совсем в диковинку. И получается: у нас в своем море рыбы не выловить, а везем из Норвегии, —

норвежская рыбе дешевле и лучше. Вот и выходит, господин, что снасть менять пора. С такой снастью — не промысел!

Старичок оказался помором-старообрядцем, владельцем маленькой шхунки. Он еще помнил времена, когда поморы пробирались на Мурман зимой, от Терского и Зимнего берегов сухим путем через Поморье и через пустынную Лапландию, на лыжах по глубоким сугробам Кольского полуострова. Шли неделями, ночуя в одиноких промысловых избушках, отлеживались под санями в сугробах, пережидая погоду, когда в пути их захватывала хивус-метель, с трудом переправлялись через незамерзающие порожистые речки и добирались сначала до Колы, а потом и до своих становищ. Этот трудный путь теперь заброшен. Стали поморы ездить на Мурман через Архангельск на пароходах — и скорее, и дешевле, и удобнее.

На первой остановке в горле Белого моря у селения Поной с парохода сошли всего два человека. Это становище лежит близко от Терского берега. Чем ожидать парохода в Архангельск и там пересаживаться на мурманский, терчанам проще выждать попутного ветра и плыть в Поной на карбасах. От следующего становища у Святого Носа наш пароход понемногу пустеет. Большинство артелей сошло в самых людных становищах — в Гаврилове и в Териберке.

В Гаврилове „Николай“ стоял очень долго, пока шла выгрузка громоздкого промыслового снаряжения. Пароход облепили со всех сторон шлюпки, карбасы, пашки и тяжелые раньшины. К суетившейся на палубе толпе промышленников, сгружавших свое добро, прихлынула веселая и буйная орава поморов из становища. У буфета—не пройти, весь проход забили мужики в бахилах и норвежских непромокаемых желтых клеенчатых зюйдвестках, куртках или фуфайках. Водку глушили стаканами, торопливо, без закуски; вторая длинная очередь стояла у каютки, где продавался спирт бутылками. Галдеж, выкрики, песни, посвист, ругань усиливались. Вместо высадившихся на берег, палубу заполняли новые, празднично настроенные поморы. Не прошло и часу, как успел кто-то свалиться за борт, двух потерявших сознание сгрузили на карбас при помощи лебедки. Завязывались пьяные драки. „Чистые пассажиры“ разошлись по каютам. Начинал хмуриться капитан.

На берегу такой же пьяный праздник. Не успел я сделать десятка шагов по деревянной пристани, как наткнулся на свалившегося между только что выкатанными бочками какого-то богатыря в новенькой, но уже разорванной у ворота норвежской фуфайке; его багрово-налившееся лицо показывало, что человек этот, не теряя золотого времени, успел удовлетворить себя доотказа.

— Разве сегодня праздник?— спросил я съехавшего со мной на берег благообразного спутника.

— У нас народ такой неладный: когда есть водка, тогда и праздник. Казенных заведений, изволите видеть, в становищах

нет, только в городах — в Коле и в Александровске. Запрещено. А в пароходном буфете сколько угодно. Все это знают, но поделать ничего не возможно. Большое препятствие промыслам пошло от парохода. Пока его нет,— мужики как мужики: работают в море дни и ночи. А пришел пароход, — нет никакого сладу: смотришь, погода тихая, только бы ловить, а в море ни одной шнеки. Почему? Пароходный день: ждут с утра, никто не поехал,— как же случай пропустить! Надо выпить да на опохмелье еще запастись. И завтра,— если выйдут в море пять шнек, и то хорошо, а остальные, пока не высосут всего запаса, и за наживкой даже не съездят.

Становище изумительно живописно. Бурые гранитные скалы везде спускаются в море отвесно или каменными каскадами; их лижет яркозеленая, прозрачная вода. Скалы местами белы от птичьего помета, в воздухе множество чаек, их пронзительные сварливые крики заглушают даже шум выгрузки и галдеж на берегу. Чайки часто падают на море, хватают рыбные головы, внутренности и всякие отбросы. Над бухтой—тяжелый запах гниющей рыбы и водорослей.

На водной площади разбросаны группами промысловые шнеки, ёлы, раньшины, карбасы и маленькие шхунки, а под крутыми берегами и на низеньком приплеске лепятся рыбачьи станы — жалкие промысловые избушки и дома колонистов. Большие постройки заняты конторой пароходства, складами, урядником, попом и церковными служителями. Между избушками



Становище Рында

и берегом, носящим следы высокого прилива, всюду стойки для сушки сетей и ярусов, палтухи-козлы, увешенные тресковыми головами и некрупной треской, вороты для вытаскивания судов, якоря, груды сетей, снастей, ярусов, весел и разного промыслового добра. Вся эта картина глазу художника — клад.

Узнав на пристани, что на пароходе осталось еще порядочно груза, я поднялся на гору становища. На вершине ее — полная тишина. Весь шум, оживление и пьяный гвалт пропали бесследно. Чистый холодноватый воздух заволакивал голубизной крутые гранитные скалы у моря, покрывал лазурью ковшик воды внизу — бухточку со множеством судов и пароходиком, ложился синеватым оттенком на ближние склоны пологих безлесых гор и сгущался над далью моря сочной синевой. Если обернуться спиной к морю, перед глазами окажется слабо-волнистая равнина с голубыми увалами вдали; она покрыта мхом, ползучей полярной березкой, кустиками вороники и морошки. Почва везде, где не выставляются вершины не скрытых тундрой гранитных хребтов, пружинит, — идешь словно по копнам сена.

С горы — широкий вид. И самое обширное на Мурмане становище в сущности не что иное, как маленькое пятнышко на пустынном, вовсе не населенном берегу. На склонах гор — ни одной тропинки. И за версту от становища без опасения бегают совсем непуганные куропатки.

В следующем крупном становище — Териберке с парохода схлынули последние поморы.



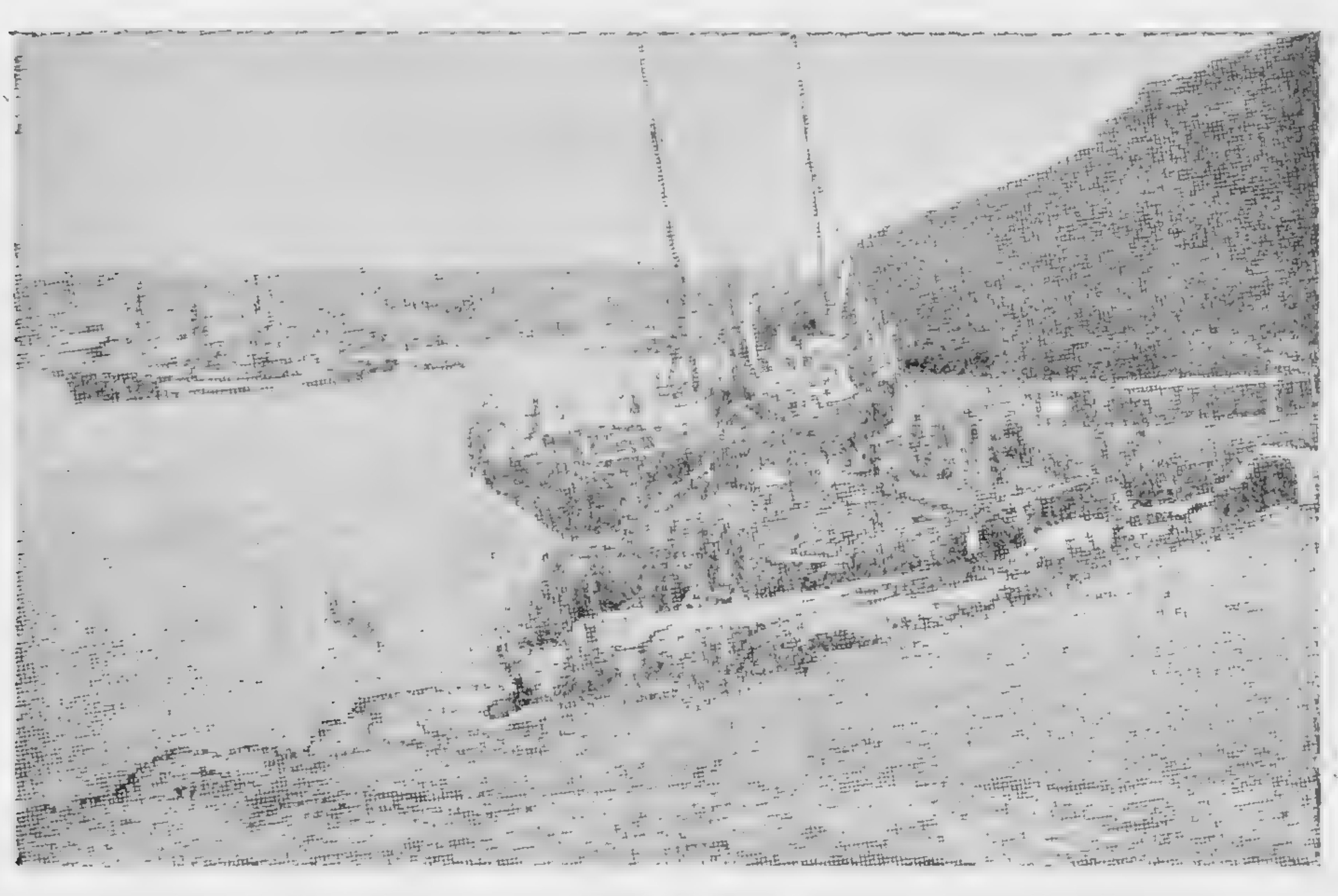
Становище Териберка

— Избавились, слава те господи, от этой орды, можно хоть палубу прибрать,— сказал мне старший помощник.— Завозили всю палубу; одно беспокойство от них. Если бы не субсидия, не стали бы приставать нигде, кроме Гаврилова. Нам интересны большие грузы, рыба, ворвань, хлеб,— все, что в Норвегию возим. Заходить в каждое становище, чтобы получить две-три бочки трески,— только зря пароход гонять. С этим могли бы и маленькие шхунки справиться.

Но шхунам теперь с каждым годом все меньше дела становится. Мелким хозяйчикам теперь не то раздолье, что раньше: капитал забивает.

Вот у трапа стоит человек — в шляпе, седоватая борода. Это акционер пароходства Масленников Дмитрий Николаевич. Большую силу забирает этот человек. Новое зверобойное дело начал. Поморы в раннее весеннее время у себя на Терском, на Зимнем и на Летнем берегах ходили промышлять черного зверя на льду. Кроме них, никто этим делом не занимался. Теперь Масленников мало того, что весь зимний мурманский промысел прибрал к рукам, но и на Новую Землю перекинулся. Половина шхун его деньгами ссужается. Стал теперь суда зверобойные строить. Будут они ходить на залежи тюленей в Карское и Белое моря. Больших капиталов человек.

Пароход после Териберки вошел в Кильдинскую салму — пролив между берегом и высоким, мрачным островом Кильдиным. Стояла хорошая погода. Прояснилось небо, облачная пелена



Город Александровск

на севере поднялась, и блеснуло под ней полуночное солнце. Лучи его орозовили берега, длинный фьорд Кольского залива. Пароход причалил к пристани нового города Александровска.

На берегу большие крашенные охрой склады; от них лепится к горе узкая пробитая в скалах дорога, она ведет к небольшой улице в один ряд, называемой городом Александровском. Ему от роду только три года. На берегу — ни людей, ни грузов. С нашего парохода выгрузили всего две бочки трески, ящик с сахаром да два мешка каменного угля. Из пассажиров сошли на берег только чиновник по крестьянским делам и два сотрудника находящейся здесь биологической станции.

Биологическую станцию перевели сюда недавно; она раньше находилась на Соловецких островах. Соловецким монахам не нравилось пребывание на „святом" острове ученых людей. Неудобно было „святым отцам" даже погулять со своими „родственницами" из купчих и всяких барынь, наводнявших остров. В конце-концов биологов обвинили в безбожьи, безнравственности, в скоромной пище в великий пост, в соблазне монахов и во множестве других грехов. Прокурор Синода Победоносцев на жалобе настоятеля монастыря положил резолюцию: „Убрать это безобразие".

Биологи скоро перестали жалеть об удобствах прежней работы на Соловецкой станции. Мурман для них оказался интереснее, море—богаче, и в работе меньше помех.

— Если бы пореже заглядывали становой и урядник,— все было бы хорошо,— говорили сотрудники.

На станции уже устроен аквариум, где живут почти все обитатели вод Кольского залива, есть собственная яхта, приспособленная для научной работы.

Станция—единственное живое место в Александровске, городе без прошлого и без будущего. Какие перспективы могут быть у этого поселка чиновников, детища канцелярской переписки? Поставило начальство домики на скале, не узнав даже, есть ли поблизости пресная вода в достаточном количестве, и удобно ли в будущем провести железную дорогу; справили торжественно открытие порта и назвали городом.

Место для города выбрал губернатор Энгельгардт, соблазнившись наличием красивой и уютной гавани, не подумав ни о будущем росте порта, который сам же называл единственным не замерзающим портом России, ни о чрезмерной глубине якорных стоянок, не обследовав хорошенько всего Кольского залива, а так—по наитию. Но в этом мертворожденном городе я прожил три дня — впервые здесь принял в себя ощущение севера. Это чувство хорошо знает каждый, кто в стране полуночного солнца не ложился спать по несколько ночей, подчиняясь, вероятно, общему возбуждению потока жизни в природе непрерываемой солнечной, как день, ночью. Этот поток замедляется только в бурную погоду.

Я бродил целыми сутками по берегу Кольского залива и по тундре, не замечая течения времени; только голод заставлял вспоминать о пропущенных обедах и ужинах, о неразвернутой постели. Случалось, после еды, ощущая в глазах сухость, ложился. Но редко засыпал или, проспав часа два, снова забывал о постели на сутки. Такой торопливостью больше всего познается ощущение Севера.

Одну из этих ночей я провел в море на шлюпке, там, где раскрывается Кольская губа. Мои компаньоны — два матроса с маленького административного пароходика — Игнат и Семен поехали добыть трески.

Море слабо волновалось. Мы бросили маленький якорь, потом спустили за борт шлюпки крупные уды для ловли трески и пикши „на поддев". Такая уда своей величиной напоминает скорее багор: приманки никакой не наживляется, вместо нее есть повыше крючка небольшое грузило, напоминающее рыбку.

Семен распустил снасть прямо в воду, другую дал мне. Я не успел еще размотать катушки с бечевой до конца, а Семен уже начал снова сматывать свою бечевку: попалась крупная пикша. Лов оказался очень несложным. Не нужно никакого умения или искусства,— просто опустить удочку на глубину саженей на двадцать и, остановив спуск не доходя до дна, подергивать бечевку широкими взмахами. Привлеченная блеском металлической рыбки, треска кидается к ней и сразу попадается на крючок чаще всего боком или хвостом. Семен и я вперегонку таскали из-за борта крупную рыбу — фунтов по десять-пятнадцать, а Игнат глушил ее по голове, когда рыба показывалась у борта.

За четыре часа мы наполнили рыбой полную двадцатипудовую бочку-трещанку.

— Сварю такую ушицу с максой, какой не едал никогда,— пообещал мне Игнат.

Древняя Кола

В самом конце глубокого Кольского залива, у подножья отдельно стоящей горы Соловараки, между двух порожистых рек Туломы и Колы стоит почти неприметный с моря небольшой городок. На месте его находилось едва ли не самое древнее русское поселение на Мурмане. Когда и кем оно было основано — никто не знает. В Европе каждый город имеет свою историю. В неграмотной России смутен ход развития даже таких крупных городов, как Москва, а об истории какой-то Колы говорить не приходится.

Известно все же из летописи, что в тринадцатом веке был выстроен двинянами в Кольском заливе острог в защиту края от шведских набегов, что в 1533 году заявлено было большое селение Кола, и есть указания, что с 1550 года население Колы еще увеличилось сосланными опальными людьми из Москвы и беглыми. По свидетельству голландца Ван-Салингена, в те времена „по причине тирании народ бежал из Руси и селился в Лапландии". В записях Соловецкого монастыря говорится про то, как в 1664 году царь Алексей Михайлович посылал в Колу стрельцов для защиты от шведов, продолжавших набеги на Мурман, но никаких подробностей о набегах или о жизни города в рукописных старинных бумагах нет.

После Петра, перекроившего всю Россию, поселок в Кольском заливе начал расти. Строили при Петре в Коле крепость, приехали туда стрельцы с офицерами, сели править краем царский воевода, комиссар и управитель. Кола стала городом. Впрочем официальное название городу присвоено было только в 1750 году, тогда же уничтожили крепость. Есть указания, что существовала в Коле сальная контора графа Шувалова, поряжавшая поморов на промыслы и скупавшая у них ворвань и рыбу.

В 1809 году подходил к Коле английский флот, не причинив, впрочем, существенных повреждений, но во время Крымской войны, в 1854 году, „культурные мореплаватели" англичане бомбардировкой беззащитного города сожгли его дочиста. Погиб тогда едва ли не лучший памятник народного русского зодчества — кольский собор. С той поры стала Кола умирать. Она оказалась в стороне от торговых путей; с развитием пароходства

сухой путь между Колой и Кандалакшей потерял значение. Древняя Кола к началу двадцатого столетия превратилась в заброшенный поселок, куда и попасть не легко; таким застал его и я.

Отрезанность поселка от современного торгового пути сохранила в Коле черты древнего русского быта и даже старинные костюмы. Бабы, не соблазнившись кофтами и пальто, все еще носили „душегрей", сарафаны и парчевые головные уборы. Мужчины помоложе были все в пиджаках, но старики держались еще армяков и поддевок. Стариной отзывало убранство горниц, устланных половичками, заставленных лежанками, расписными шкафчиками и резными полками по стенам. Узорчатые наличники окон, балясинки на перилах, домашняя утварь, вышитое белье, расписная деревянная посуда и прялки могли служить богатым материалом для художника, изучающего народный русский стиль.

„Привольное место выбрали новогородцы для своего острога,— писал я в своем дневнике.— Поднимешься на гору Соловараку,— глазу не оторваться. Простор и ширь. Разворачиваясь, уходит к северу гладь Кольской губы; ее обступили, толпясь, лазоревые горы. Внизу, обрамленный водой, раскинулся серый поселочек, рядом заваленный валунами наволок у кладбища. А гору Соловараку гложут две родные сестры: шумливая речонка Кола и спокойная, важная Тулома".

В Колу попал я в праздничный день. В городе гулянье. Девушки, женщины, парни и мужики, исполняя старинный обычай, ходят „стенкой" и „в походь". На скамеечках и на завалинках у изб ведут беседу старики. Резвятся ребята. Но — странно — не слышно было пьяных праздничных криков. Пьяных все же



Город Кола

достаточно, но стараются они держать себя в общем тоне степенно. Быть может, степенность эта — следствие и чопорных старинных нарядов, и дедовских жестких обычаев и жизненных правил. В играх не принимали участия только старики.

Деды на завалине ведут степенный разговор:

— Что же это такое? Сказывали, будто Мироныч дивно семги напромышлял, пора бы с тони вертаться, а и к празднику все не подходит. Почто старается? Всеё рыбы не переловить, а и так хорошо живет, зимой еще с лопарей заработает.

Узнал я, что коренной колянин малоподвижен. „Что думать о новом деле, если и так не плохо живется“, — отвечали они мне, когда я спрашивал, почему не ловят акул и треску мало промышляют.

— За всем не угонишься, на что нам этот промысел? Мы летом семужку ловим, зимой торгуем ею; сыты, слава те, господи!

Кола была жива лопарями и семгой. Главным образом кормили колян лопари, — в этом секрет неподвижности жителей. Зимой лопари съезжались в Колу чуть не со всего полуострова. Городок стоит на перекрестке зимних путей и соединен реками с центром полуострова. По санному пути саами-лопари везли на продажу меха лисиц, белок, горностаев, выдр и оленей. С древних времен вся северная часть Лапландии в руках у колян. В городе не найдется дома, к которому зимой не подъезжал бы „друг“-лопарь с целым обозом „райдой“ санок-кережек, нагруженных мехами и рыбой. Гостя ждут давно. Его встречают с почетом, угощая, кормят, поят и веселят. Несколько дней проходит в угарном пьянстве и любезных разговорах. Все — с лаской, вниманием и почтением — узнают, в чем нужда, какие товары дорогой гостенек купить пожелает, достанут все — и „по самой дешевой цене“. В конце-концов оказывается, что весь годовой промысел друга-лопаря ушел на предметы первой необходимости и небольшие подарки семье. А в долгу у любезного хозяина „друг“ оказался больше, чем в прошедший год. Придется в следующем везти пушнину и рыбу ему же. Нечто подобное происходит и летом при сдаче семги. Коляне про свою торговлю с лопарями говорили мне откровенно:

— Лопарь чудной: что ему ни дай — все возьмет. Какую цену ни скажи — все равно, только угости получше и окажи почтение. „Грех?“ Какой тут грех? Что ты! Нет в том греха, напрасно обижаешь. Мы тоже крест на шее носим! Ему господь богатый промысел дает, другой раз, почитай, без труда. Ночь проспит, пойдет „забор“ смотреть, — три пуда семги вытащит, или из ловушки чернобурую лису достанет. Так за это его золотом осыпь?.. Напрасно ты, мы тоже бога боимся. Мы лопарю — как отцы: нужда его возьмет, всегда к нам идет, выручаем, помереть не дадим от голода. Другой раз у себя нехватки, а отказать нельзя: к другому уйдет. А если в долг насчитываем, так без этого никак не возможно: долгу не будет — сосед лопаря пере-

манит; не у меня, так у соседа будет в должниках ходить, или к попу Афанасию попадет, тот не выпустит. Нет, греха мы в этом не видим. Это уж так поставлено от века. Место наше такое: хлеб не родится,— мы семгой и лопарями живем. На лопарей мы не жалуемся. Народ простой, смиренный и душевный. Что хочешь оставь — лопарь не возьмет, честности изумительной. Положи кошель с золотом в избушке в тайболе — никто не тронет. Вот,— говоришь ты,— грех. А понаехали в последние годы приказчики от петербургских купцов, живут цельное летичко, семгу скупают у нас и у лопарей, книги завели, по книгам расчет ведут,— это не грех? А как ты ни веди расчет — по книжке или по совести, все равно лопарь неграмотный — не понимает. И у них в таком же долгу живет.

Про петербургских приказчиков говорили коляне с большой враждой. Приказчики разрушили веками установленный порядок торговли. Испокон века вся мурманская семга шла через Колу на ярмарки в Архангельске и в Верхотурьи. С недавнего времени купцы-рыбники стали посылать доверенных прямо в Архангельск: еще выгоднее оказалась скупка рыбы через приказчика на Белом море и на Мурмане. Приказчики первое время покупали всю семгу через кольских старожилов, но, пообжившись, поняли, что выгоднее торговлю с лопарями вести самим. Понемногу начали прибирать к рукам и жителей Колы, скупая промысел вперед, давали с удовольствием задатки. Капитал завладевал Колой. Патриархальные коляне сами оказывались в долгу у скупщиков.



Поморы в старинной одежде

У седого падуна

Из Колы вверх по Туломе плыть удобнее всего тотчас же после „кроткой“ воды, когда начало приливной волны встречается с отливом.

Наш карбас отвалил как раз в минуту, когда остановилось течение реки. Захлопотали гребцы, свалился я на оленью шкуру под „болок“ — навес над кормовою частью карбаса. Низко в пояс, по-старинному, отдал с берега поклон мой квартирный хозяин и крикнул вдогонку: „Счастливо!“ Туманиться стали серые домишки Колы.

Мы на пути в безлюдье и глушь Лапландии. Потерялись все признаки близости жилья. На низинах — луга, век не видавшие косы. Повыше на горах — не тронутые топором строевые леса. Раздолье для дикого зверя и пернатых. Почти у самого носа нашего карбаса ныряют гагары, из густой осоки на плесах вылетают стада потревоженных уток, а испуганные утята мечутся по сонной воде. Вот встанет внезапно у борта любопытная нерпа — увидит карбас и шарахнется в сторону, нырнет поспешно и, снова выставив голову, долго глядит вслед.

За тихим плесом — ревущий порог. Плывем, пока хватает силы грести, потом разгружаем полностью карбас, переносим кладь на спине до нового плеса и возвращаемся, чтоб под самым берегом протянуть нашу лодку волоком. Пороги — один за другим. Вот страшный Кривец, почти водопад; пониже этого порога стоят могильные кресты в память людей, погибших на нем. Здесь рев,— не слышно голоса,— водовороты и каскады.

Кривец измаял нас, остановились отдохнуть. На пустынном высоком берегу, покрытом редким сосняком, усталые гребцы разлеглись у костра на траве, завернув в кафтаны головы, чтоб спастись от беспощадных комаров. На той стороне реки избушка-зимник для остановок по санному пути, на ней оленьи рога. За избушкой — гора, вся покрытая кружевными пятнами ягеля — оленьего мха. Его серебристо-зеленоватый покров сливается с лиловой дымкой далей. На склоне ближайшей горы серые пятнышки: оленье стадо. „Дикие или домашние?“ — гадаю я. Бреду от стоянки в глубь тундры, собирая невиданно-крупные золотые ягоды морошки, давя ногой воронику.

Не отошел от берега и сотни шагов — увидел движение травы между кочками. В это же мгновение из-под ноги фонтаном рассыпались молодые куропатки. И тут же, рядом попрятались. Из-за кочки, покрытой морошкой, покажется куриный носочек с круглым глазом и спрячется. Непривычно сильным гулом разносится выстрел.

— Что напромышлял?— Я показываю.— Ну, давай, ожарим. Почто стрелял? Их палкой можно бить в эту пору,— плохо летают.

Мы подплывали к падуну поздним вечером, когда порозовел весь воздух. Шум водопада по ветру различим стал за несколько верст. Показалось, что он где-то близко совсем.

— Падун?— обращаюсь к гребцу.

— Какой падун! До него версты две, не менее будет. Это порог. Поди-ка потихоньку тропинкой, пока мы здесь с карбасом трудимся, пешком-то скорей дойдешь.

Иду по высокому обрывистому берегу, тропинка вьется между валунами. Седые от косм спадающих с ветвей лишайников деревья; седые обомшелые камни: под ногами шуршит сухой седой же ягель. Кругом — серая, мягкая гамма цветов. Внезапно в нее врывается голубизна: это тропинка, обрываясь перед крутым уклоном, открыла во тьме леса светлую щель. И сразу, словно из распахнутой двери, в уши ударил низкого тона густой и полный рев водопада. Еще два десятка шагов,— и с обрыва открылась картина, которую забыть едва ли возможно.



Нотозерский падун на реке Туломе

Видно, как, свалившись с каменной высокой ступени и сразу вспенившись, река катится еще глубже по крутому склону между гранитных берегов, отполированных до блеска и зеркальности. Ниже пляшут и беснуются волны, взлетают фонтаны брызг, вихрятся водовороты. На камнях — клочья пены, плотной, как взбитый белок. В воздухе — туман из раздробленных в пыль капель воды. И, словно мост от берега к берегу, встала цветистая полная радуга. Лес, вода и камни играют всеми цветами этой фантастической радуги.

Не утерпели, кинулись мы к водопаду. Вблизи он страшен. Если перебраться по семужьему забору, (поставленному над левым, более спокойным, рукавом водопада), на покрытую скользкими водорослями вечно мокрую скалу, станет не по себе. Неподвижность ее среди бешеного движения вод кажется ненадежной. Вот-вот страшный падун сорвет скалу с места, вынесет и раздробит внизу с такой же легкостью, как дробит он в щепы крупные плывущие по Туломе бревна.

Покойной и неподвижной кажется пелена воды, повисшая на первом уступе. Но оторвите взгляд от нее и гляньте вниз, где пелена касается камней,— сразу закружится голова, охватит беспокойство, и невольно отведется в сторону взор. С треском, напоминающим пальбу из нескольких пулеметов, разбивается здесь о камни вода, отскакивает кверху, сразу превращаясь в брызги, в пену, в туман. Из серо-голубой становится белой, как взбитые сливки.

На водопад смотреть лучше издали.

„Вечный шум порогов, грохот бешеных водопадов, солнце, не сходящее и днем и ночью со светлой дороги, солнце, которое словно не может покинуть края, позабытого им зимой; каменистые вараки-горы, то угрюмые под шапкой косматых туч, то радостно-голубые и влекущие, повсюду камни и скалы, не успевшие еще сравняться с землей, недавно, кажется, выбросившей их в родовых муках, везде седой сухо шуршащий мох,— это природа Лапландии. Дикую страну обволокли густые леса, которым не было бы края, если бы не делили их зеркальные озера, шумливые речки и голые вершины гор.

„В этих лесах не гулял еще топор, но людей в них можно найти. Маленькие человечки, такие же первобытные, как природа, живут по лесам вместе с зверями, в полном слиянии с нею. Эти люди — саами зябнут в мороз и вьюгу зимних полярных ночей, мокнут в холодной воде, летом кормят своей кровью комаров и мошек. Да, полна трудом и терпением жизнь этих туземцев.

„Но первобытный человек к труду и лишениям, даже к беде, готов всегда. Он знает лучше других, что без труда, без страдания ничто не достигается. Первобытная природа дает тому наглядные примеры ежеминутно. Он видит, как упрямая

семга часами и днями одолевает бешено несущийся поток воды на порогах, с телом, покрытым сплошь ссадинами, добирается все же до тихой заводи, где можно посеять и вывести новое поколение. Да, эти люди покорны судьбе и насилию. Разве не видят они, как хилая полярная березка, стараясь укрыться от студеного мертвящего ветра, ползет по земле и прячется за камни, но наливает почки, распускает листья? Тонкая березка за надежным прикрытием постепенно выпрямляется и, превращаясь неожиданно в прекрасный курчавый кустик, распускает сережки, цветет. Так и у полярных людей нашел я неожиданно блестки фантазии".

Такие заметки прочел я в своем дневнике на страницах, где отмечал дни, прожитые на тихом, пустынном Нотозере и у падуна-водопада на Туломе.

„На горе у падуна стоят три лопарские избушки — „тупы". В одной живут ямщики лодочной почты, в другой — рыбаки семужьего забора, третья отведена под станцию. Пониже, у самой воды еще два амбара, покрытых зелеными водорослями от вечно носящейся там водяной пыли. Еще дальше, над самым падуном, древняя прогнившая часовенка, тут же неизменные на севере мшистые, тоже озеленевшие от сырости, кресты.

„В станционной избушке сегодня собралось порядочно народу, по-здешнему множество — семь человек. Пришли гости: две семьи нотозерских лопарей идут на новые — осённые места



Саами (лопари) в дореволюционное время

и сонгельский лопарь Михайло. „— За ним — особая слава,— сказал мне ямщик Григорий,— Михайло маленько колдун“.

„Я так и не понял, в чем, собственно, заключаются колдовские способности этого невзрачного деда.

— Так, немного колдун, знает больше нашего.

„В безлюдьи встреча — большая радость. Рад Григорий, рады лопари. Гости рассматривают мое ружье, дивятся на этюдный зонт, на фотоаппарат и ждут от меня рассказов о Петербурге: здесь люди из столиц — раз в десятилетие.

„Когда ушица поспела, и гости, выпив из моего скудного запаса по рюмочке, перестали стесняться, беседа пошла ходчей.

„Мы говорили о семге, о новых тонях, о плуте-приказчике-приемщике семги, об огромном валуне, встретившемся нам на пути между озерами. Узнав, что камень тот зовется почему-то „кладом“, я попросил Григория объяснить, откуда такое название, но вмешался Михайло-колдун:

— Постой, я расскажу. Слушай!..

— Давным давно, в старые годы к саами шиши * ездили с норвежской стороны. Беда как грабили. Придут и всех зарежут: и мужиков, и женок, и деток до самого малого. А потом грабят, что ни найдут: мех, жемчуга, деньги, оленьи постели, сети и даже одежонку последнюю. Ездили шиши больше по рекам, тундры боялись: еще забьют там саами, сбросят камни с обрыва пахты. А жили люди в те годы под землей, в норах, как зверье. Выроют яму, сверху заложат камнями, валежником и мхом: мимо погоста пройдешь — не заметишь: подумаешь, что валежник скопился. Как только доходила весть, что показывались снова шиши, завалят саами ямы, заберут, что можно, и тащат в вараки, туда, где ходит один только олень-дикарь. А саами из котозерского погоста семьями жили, боялись помногу собираться, к ним к первым шиши приходили, больше всех резали.

— Был у нотозерских тогда большой колдун. Долго-долго — три жизни жил. За ним было одно спасение. Как пройдет слух, что шиши показались, идут нотозерские с колдуном к тому самому месту, про которое спрашивал ты, к камню тому, на тайболе. Сложат добро у камня, а колдун одной рукой его приподнимет, спихнет все в ямину под камень и снова его опустит. А уйдут шиши — колдун вернется, поднимет камень мизинчиком — „Берите добро, люди-саами!“

— Только вышло вконец неладно. Спрятал так добро со всего погоста колдун, а сам-то помер. Потом мужики долго ходили на эту тайболу, пытались всем народом поднимать, да не могли камня того ни поднять, ни спихнуть. Ходили и колдуны. Дед мой хороший колдун был, а тоже не мог он клада достать.

* Саами называют себя лопари. Шиши — шведские выходцы — разбойники, ходившие дружинами.

— В другой раз собрался мой дед тот клад доставать...

Михайло увлекся былинами и перешел с русской речи на лопарскую. Сидящие у камелька мужики слушают внимательно, только дым от трубки стелется.

— А в те годы много пришло железных шведов с захода солнца. Сонгельский погост нашли и почти весь вырезали. Нотозерский наш пониже падуна стоял тогда, в землянках жили. Пригнали сонгельские вестника — уходите, всех режут. Заплакали все нотозерские саами, зарыли землянки, сели на карбаса, поехали по Туломе на Большой Ненецкий остров, семь верст ниже падуна, оленей всех туда же перегнали. На верхнем конце острова поставили двух сторожей, сами в кустах схоронились, поближе к нижнему концу. Два дня не видали никого. Подумали сторожа, что шведы прошли в другую сторону и, успокоившись, уснули.

— Едут шведы по реке, не видят никого. И мимо острова проехали бы, да заметили на песке след от карбаса. Остановились, нашли схоронившихся саами и всех их сонных порезали. Ни один человек, ни один ребенок не уцелел, и оленей всех прикололи, только и остались в живых двое караульщиков. Они и рассказали.

Разошелся Михайло, теперь его не остановить. В перерыве между двумя сказками я попытался было спросить, как удобнее пройти на дальнюю скалистую вараку,— этот вопрос вызвал новую сказку. Михайло замахал руками и закричал:

— Что ты, что ты,— не ходи! Там место нелюдское, там испугаешься.

— Чего же испугаюсь?— спросил я, улыбаясь.

— Не смейся, испугаешься, коль увидишь кого-нибудь, или крик донесется...

— Кому же в горах кричать, кроме птиц?

— Может быть, птица бывает и зверь. Только кроме них много в вараках страха живет. Много у нас мест, где от века никто не ходил. Старики не велят. Там, в пахтах высоких вроде как люди живут. Есть белые, большие, но немые, ходят без всего. А где лес в пахте, в том месте водятся маленькие люди, вроде как ребята. „Чакли“ мы их зовем...

И начинается новый рассказ, как Елисеев отец сумел достать от чакли много денег, как хитростью пленил одного чакли, уговорив его померять свою обувь — одну „каньгу“ на обе ноги, да завязал их обмоткой вместе со скрывшимся в ней чакли.

— В тундре много мест найдется, где чакли живут. Варака, пахта, такие придут, что нельзя и пройти,— вот там их жилье настоящее. У озера Имандры на горе Расвумчорр у озера Вудъявр и в Монча-тундре белые страшные люди под землей хоронятся и всех, кто придет, убивают. Никто оттуда назад не приходил...“

В сумерках прозрачной ночи воздух смолой и влагой насыщен. Сквозь чащу леса несется один над всем царящий гул водопада. Налетит в предутреннем дыхании ночи ветерок,— зашепчет лес, всколыхнувшись ветвями, скрипнет старая сосна, но водопад, подогнанный ветром, еще громче загрохочет и прогонит посторонний шум.

Шумит и беснуется свободный водопад. Вся неизмеримая мощь его направлена лишь на не нужную никому полировку зеленой скалы со старым крестом посредине. Еще не валится этот старый и гнилой крест, только слегка покачнулся; узорами нарисованная древняя надпись теперь совсем слилась с зеленью мха; из загадочной писанной вязи не разобрать ничего.

Под крестом, говорят, похоронен великий и могучий колдун. Он никому никогда не сдавался, даже смерти самой: все вставал, пока не положили вниз лицом и колом не пригвоздили.

Спи, великий колдун! Твои заветы еще сильны. Еще не упал зеленый знак над твоей могилой. Ты один знал про богатства края, и ты выдумал страшные сказки, чтоб никто из саами не проведал чудесных кладов в горах и не открыл тайн горных недр чужеземцам, которые покорили бы вконец и обратили бы в рабство твой покорный и беззащитный народ.

Но время идет. Снимутся скоро запреты колдовские, рухнет зеленый крест. И страшная мощь белых коней, стерегущих могилу колдуна, превратит, как в сказке, зимнюю тьму полуночного края в светлый сияющий день.

Ионафан

Хорошо мы плыли на маленьком „Трифоне". Пароходик этот, совершая рейсы по западному Мурману, заглядывал в каждую щель берега в Мотовском заливе и на Рыбачьем полуострове. Народу ехало немного, на палубе было просторно. Команда, видно, чувствовала себя по-домашнему; при встрече со шхункой или груженой раньшиной выбегали из кубрика матросы с недопитой кружкой чая в руке, перекинуться коротким словом со знакомыми, а если, случалось, беседа затягивалась, машина замедляла ход.

Словоохотливый капитан из поморов с удовольствием выкладывал свои познания по географии Мурмана и всю подноготную про здешних колонистов, поморов и купцов. Когда плыли мимо Айновых островов, ткнул в их сторону толстым пальцем:

— Развел хозяйство, долгогривый!

— Кто?

— Ионафан.

Об Ионафане — мужике-архимандрите и об его необыкновенной карьере слыхал я еще в Архангельске. Рассказывали, что, попав неграмотным деревенским парнем в послушники Соловецкого монастыря, по собственной охоте обучился Ионафан церковной и светской грамоте, прочел множество книг; когда принял монашество, сумел выдвинуться хозяйственной работой и добился митры архимандрита. В Соловках же он хорошо изучил рыбный промысел, знал повадки морского зверя и способы лова. Когда Соловецкий монастырь решил основать отделение на Печенге, в том месте, где некогда стояла обитель, построенная Трифоном (впоследствии разоренная шведами), решили послать туда Ионафана строить дома и церковь. При помощи лопарей и поморов Ионафан монастырь выстроил. А, выстроив, поехал в Петербург и сумел добиться полной самостоятельности для новой обители и для себя.

— Оборотистый мужик, с большой головой! Ну, и ловок же!..

Красное просоленное лицо капитана выражало искреннее восхищение всякий раз, как разговор касался Ионафана.

— А как приветлив!.. С каждым поговорить умеет, сам всякому старается услужить не тем, так другим. Вот, придем в Печенгу, знаю, и мне какой-нибудь подарочек будет.

Ионафан и помощников себе подобрал из необычных монахов. Его правая рука — вдовый и бездетный попик из пермского захолустья, сосланный за торговлю вином на послушание в монастырь, да так и застрявший в нем навсегда.

В Печенгский залив пришли мы рано утром, не разошелся еще над морем ночной розоватый туман, и чайки сидели на воде по-ночному.

Как только замолк грохот якорной цепи, показалась в глубине залива идущая от берега небольшая моторная шлюпка, в те времена единственная, кажется, на Мурмане. В ней находились три человека. Двое в круглых, как у нестеровских схимников, шапках, в стеганых ватниках-куртках и штанах мало походили на монахов. Третий, на корме, одет был в простенькую рясу, но на широкой груди его блистала дорогая панагия. * Это и был Ионафан.

Полусогнувшись и широко расставив ноги, он ладно правил рулем. Когда шлюпка приблизилась к борту парохода, громкая команда этого монаха звучала по-морскому твердо и повелительно:

— Назад полный! Стоп! Бери конец-то, бери! — доносились его приказы монаху-механику и другому, стоявшему с багром на носу.

— Держи!.. Эх, ты, растяпа!.. Согрешишь тут с тобой, прости, господи! Дай малый... Стоп!..

— Легче, легче, отец Агафангел! Иллюминатор высадишь. Так-так, крепи живей! Э-э-х! Не умеешь. Пусти!..

— Видишь, как управляется?— подтолкнул меня в бок капитан. — Он другой раз, когда народа постороннего нет, такое словечко запустит, что у нас, грешных поморов, в носу засвербит!

С борта спустили штормтрап. Ионафан легко, как настоящий моряк, взобрался по нему на палубу, запахнул рясу, под которой мелькнули пестрядинные деревенские штаны, заправленные в грубые бахилы, оправил панагию на груди и, вытирая на ходу руки красным ситцевым платком, направился широким шагом к капитану. Благословил его, потом — толстого купца и нескольких поморов — всех, кто подошел. Иным дал руку поцеловать, с иными поздоровался за руку.

Действительно, ничем не походил этот монах на виденных ранее „владык“ — бледных, одутловатых и вялых людей в нелепых черных цилиндрах-клобуках на головах. Этот был телом плотен, сух и мускулист. Крепкий загар на грубой коже слегка морщинистого лица, веселые, внимательные и быстро глядящие глаза, легкость движений,— что тут монашеского?

Через десять минут Ионафан успел поговорить со всеми на палубе, рассказал, какую добычу с последнего промысла привез монастырский бот, с капитаном договорился „попути“

---

* Осыпанная драгоценными камнями иконка — знак высшего монашеского духовенства: архимандритов, архиереев и митрополитов.

зайти на монастырские острова, забросить туда мешок муки и соли, и в сторонке вручил ему красиво завязанный пакет с гагачьим пухом, шепнув: „На душегрейку жене. Передай ей мое почтение и благословение!“ Купца взял под руку, уселся на скамеечку и, поторговавшись, продал пять бочек рыбы да вдобавок к плате выпросил тюленью сеть „на скудость монастырскую“.

— Тебе, Иван Евстигнеевич, за эту самую сеть грехов столько простится, сколь ячеек в ней. А грехи-то есть, знаю!— И подмигнул купцу.

Корреспондента большой петербургской газеты обласкал, пожаловался на обиды монастырю со стороны норвежских колонистов и пригласил остаться до следующего рейса „Трифона“.

— Погостите, посмотрите, как насаждаем веру православную и делаем великое русское дело в суровой и дальней стране.

Мы съехали на берег в той же моторной шлюпочке. Сидя за рулем и зорко глядя вдаль, Ионафан не переставал рассказывать про монастырские дела:

— Великое дело машина, если человек ее на благо людское употребляет. Эту самую шлюпочку достал я, когда военная эскадра адмирала Бострема приходила на Мурман... Встретили мы эскадру за Мало-Немецким. Даже промер по нашему заливу сделали, чтоб эскадру верней провести. Приехали на броненосец мокрыми,— погода стояла с ветром. Пожаловался я тогда адмиралу, как трудно бывает на тяжелом карбасе выезжать к пароходу против волны. Говорю вроде как в шутку: „Ваше превосходительство, у вас на корабле моторных и паровых катеров на каждом по несколько штук. Бывают случаи — в море смоет один или другой, зря пропадают, ни богу, ни людям, и вы бы пожертвовали на монастырь какую-нибудь шлюпочку с мотором, тогда господь сохранил бы вас и эскадру вашу на всем многотрудном пути“. Адмирал подумал, поговорил с капитанами, нашли подходящую маленькую да старенькую. А она у меня уже четвертый год ходит и еще десяток проходит.

— Адмирал оказался добросердечным и склонным к милости. Рассказал я ему про наше печальное зимнее житие, когда солнце совсем не выходит, а керосину на свет не напасешься, и сидим мы в полутьме при восковых копеечных свечах,—адмирал подарил нам старенькую динамомашину, проводов и дуговых фонарей. Лампочки и приборы я в Петербурге достал. И теперь среди ночи у нас свет такой, как в Питере на Невском проспекте...

— Культура — великое дело. Есть глупые люди, даже среди духовенства, говорят: „Все изобретения ума, все машины — от дьявола“. А я, смиренный, так рассуждаю: „Пусть в машине хоть сам враг человеческий сидит, да если он работает во славу божию, на монастырь, значит так господу угодно...“

— Только вы, образованные люди,— тут повернулся Ионафан к корреспонденту, — понимаете, что мысли подобные — одно суеверие. Какой может быть дьявол в машине? Вот

этот моторчик я сам от карбюратора и до последней шайбочки разбираю и знаю, что машина — произведение великих умов на благо человеческое. Нет, не противиться движению культуры, но обращать ее во благо свое должна святая церковь.

На берегу несколько домиков и складов, часовня и небольшая монастырская гостиница. Ионафан, высадил нас на пристань,— хорошо построенную, с крепкими сваями, потом проводил всех до гостиницы, передал „отцу гостиничному", а сам убежал „по делам неотложным".

Гостиница стояла пустой. Корреспонденту отвели две лучшие смежные комнаты. Меня с туристом, петербургским чиновником, поместили в одном номере, а четырех богомолок из Архангельска — в дальней у кухни маленькой, темной и тесной комнатушке, сплошь заставленной койками-топчанами.

Отец гостиничный занялся сначала корреспондентом, затем очередь дошла и до нас. Довольно приветливо предложил монах поставить самоварчик и сообщил, что отец архимандрит „благословил" нас белой булкой, молоком и свежей треской. Потом, разговорившись, узнали мы от корреспондента, что Ионафан, „благословляя" его, размахнулся значительно шире,— на стол к корреспонденту попали и курица, и сливочное масло, и яйца. А богомолкам, видел я, гостиничный отнес чайник с кипятком, черный хлеб и соленую треску.

В тот же день поехали мы в монастырь, находившийся от берега в шестнадцати километрах. В коляске, запряженной кормлеными монастырскими жеребцами, сидели трое: корреспондент, чиновник и я. По дороге обогнали мы знакомых богомолок; они плелись пешком.

Дорога пролегала почти на всем протяжении по влажной пружинящей торфяной тундре. Чтоб осушить полотно для дороги, пришлось вдоль нее прорыть во всю толщину торфяного слоя канавы глубиной от трех до четырех метров, затем навозить песку и уровнять дорогу. В редких местах, где болота прерывались каменистой почвой, возникали другие трудности: здесь надо было долбить и рвать гранитные скалы.

Хорошо подзакусивший корреспондент всю дорогу восхищался широкой деятельностью Ионафана:

— Смотрите, ведь это первая дорога, проложенная на всем мурманском побережьи,— каких трудов это стоило! Вот, господа, плоды рук человека, который может быть назван носителем русской культуры!

Впоследствии крупный чиновник, знавший хорошо Ионафана и Печенгский монастырь, рассказал мне,— чьих рук дело эта дорога. Построена она трудом годовиков и лопарей. Годовики — это люди, давшие обет прожить при монастыре круглый год. Годовщичество — древний обычай — особенно развит был на севере.

Соловецкие монахи каждому молодому и сильному богомольцу предлагали „пожить годок и замолить грехи родителей". Годовиками оставались жить темные крестьяне без хозяйства, бродячие странники, которым негде было перезимовать, или бедные люди, потрясенные большим личным горем; много было между годовиками парней, особенно из поморов, работавших на монастырь по обету родителей.

Монахи не обременяли годовиков обязанностью посещать с аккуратностью церковные службы, но пользовались темнотой этих простых людей для тяжелой черной работы. Так, в Соловецком монастыре каждого богомольца заставляли принести камешек, пуда четыре весом, „во славу святых отцов Зосимы и Савватия". Из этих камней годовиками построена была впоследствии длинная дамба в несколько километров, соединяющая два острова.

Дорогу, по которой мы ехали, строили не одни годовики. Ионафан согнал на постройку ее чуть не всех лопарей; они, вместе с годовиками — по грудь в холодной грязи — рыли эти глубокие канавы для дороги, которая была проложена по земле, отнятой монастырем от тех же лопарей. Тот же чиновник рассказал, как под предлогом проведения дороги — длиной всего шестнадцать километров — Ионафан добился передачи огромной территории, принадлежавшей раньше лопарям, вместе с лесами и рыбными тонями. Ионафан доказывал: „Не осушив болот, нет возможности дорогу проложить, придется воду спустить со всех окрестных болот на площади около десяти тысяч десятин".

Ободренный успехом легкого приобретения земли, Ионафан начал новые хлопоты об отводе площади под дорогу к острову на Пазреке, где собирался поставить скит. Лопари взвыли. Новая дорога длиннее в три раза. Сколько под нее отведут земли? Тогда все северные тони отойдут к монастырю, придется ему сдавать половину улова.

Дорога пролегала по высокому плоскогорью. Монастырь, расположенный в широкой долине, открылся внезапно. Мы увидели на берегу извилистой речки серое, позеленевшее от времени, строение — остатки древней церкви, построенной в шестнадцатом столетии монахом Трифоном; рядом бросилось в глаза аляповатое, безвкусное по архитектуре здание, творение Ионафана — деревянная церковь. В стороне рядами стояли дома с монашескими кельями, бараки для годовиков и другие монастырские службы.

Из книг я знал уже, что монашество с древних времен крепко цеплялось за Кольский полуостров. Во многих летописях, относящихся к северу, упоминается о домогательствах монахов на владение всем Кольским полуостровом. В 1556 году удалось печенгским монахам получить от Ивана Грозного грамоту на владение мурманским побережьем от Кольского залива до Варангерской губы, а остальная часть полуострова была уже в руках Кандалакского монастыря.

Что прельщало в этом суровом полуночном крае „отшельников суетного мира“? По тем же летописям и челобитным отчетливо видно,— прельщали мирские блага: богатства края рыбой, пушниной и салом морского зверя, возможность крепко сесть на шею лопарям, мирному, не знающему лжи и воровства народу, и — торговля.

Торговали монахи с голландцами, шведами, норвежцами, сбывали пушнину, рыбу и заморские товары в Москву. Монахи богатели. Даже набеги разбойничьих шведских дружин, не раз разорявших монастырь, не отпугивали монахов.

В ожидании вторичного рейса „Трифона“ нам пришлось прожить в монастыре три дня. Постоянные звоны колоколов, почти беспрерывная церковная служба, всюду черные фигуры здоровых краснорожих монахов и послушников со смешными головными уборами — клобуками и скуфейками, серые, заросшие волосами лица схимников в странных траурных одеяниях, на которых были нашиты изображения костей, крестов и черепов,— эти изуверы на людях двигались не иначе, как шепча заклинания и разрезая воздух крестообразными движениями рук.

Запах ладана, прокисшего кваса и нечистого человеческого тела, лживые нотки в голосе торговцев ладонками, образками и целебными камешками, смиренные всюду поклоны,— все это притворное, обычно монастырское, казалось особенно нелепым в рамке простой природы.

Мне удалось уклониться от обязательного распорядка монастырской жизни и посмотреть на нее не только с показного конца. Увидел я, как годовики, с утра до ночи, по пояс в болотной воде, копали фундамент и тянули волоком из леса тяжелые бревна, как жарились у раскаленного горна подручные „отца кузнечного“, готовя полозья, гвозди и скобы; сухие звоны их молотов мешались с колокольными и днем, и ранним утром, и поздним вечером. Возвращаясь ночью с работы, я неизменно заставал на работе бледного послушника в пекарне подручного „отца келаря“, который, пользуясь отсутствием Ионафана, свалил всю работу на послушника. Нет, не вязались рассказы Ионафана о беспечальной созерцательной монастырской жизни ни с каторжным трудом годовиков, ни со скверной пищей для всех, не имеющих „ангельского чина“, ни со скрытым по кельям и гостинице пьянством „святых отцов“, ни с откровенным, ничем не прикрытым ограблением несчастных лопарей.

В ожидании парохода разговорился я с рыбаком-послушником; он только что пришел с моря на монастырском моторном ботике, живет на монастырских хлебах десятый год.

— А попал в монастырь очень просто,— рассказывал он мне.— Двенадцать лет тому назад, тогда зуйком я был. Отец промышлял коршиком* в Зимней Золотице. Под Петров день

* Коршик — кормщик промыслового судна, старый рыбак.

поехали мы ставить ярус, от берега верст на десять. Был ветерочек бережной, не крепкой, добежали быстро, ярус наживили и вymetали, поставили кубас,* — все, как полагается. Совсем будто стало затихать, позавтракали даже. Пошли назад. Становище близко уже было. Вдруг как зарвет ветер; такая пыль, прости, господи, по морю пошла, даже берег сразу потерялся. Мы гребем во всю силушку и, видим, стоим без движения, а взводнище выше и выше, гремит, гляди — вот-вот опружит волной! Ну, коротко сказать тебе, гребли часов этак десять. Силы не стало держаться против ветра. Не то, что я, мальчонка, все мужики свалились. „Смерть,— говорят,— пришла“. Два раза половину шнеки водой наливало. Отольемся — опять зальет, — не можем против ветра держать. Отец тогда крестовину из весел связал, к ней якорек подвесил,— был с нами небольшой, ярусный, чтобы боком к волне не разворачивало,— и опустил с носу в море. Грести мы перестали, смотрели только за водой, чтоб не опружило, не залило волной. И вот нас в этаком виде несло на север,— сколько времени — и сказать тебе не могу, наверно сутки полторы или двои.

— Сидим так в шнеке, мокрые до рубахи, голодные, хлеба всего полкраюхи было, когда пошли из становища, и готовимся к гибели неминуемой. Потом видим, зачал ветер кротеть, волна улегается, и просветлело. Огляделись во все стороны, видим,— нигде никакого берега и признака нет. Снял отец крестовину, опустил якорек на веревке-стоянке,— было ее сто двадцать сажен маховых,— дна не достал. „Ну,— говорит,— ребята, наше дело пропащее, унесло нас на погибель, надо быть, к Груманту.** Давай, ребята, грестись, быть может к Норвегии подгребем“. И тут же сказал: „Вот, даю обещание: если господь-батюшка спасет, сына в монастырь на послушание на два года отдам. Слышишь, Сенька, слово мое отцовское?“

— Ну, долго тут нечего рассказывать, как мы еще четыре дня на море маялись. Скажу тебе правду истинную,— гибель нам была неминуемая. Хоть мальчонком я был, а тоже понимал, потому что силы не стало грести без пищи, и руки окровянели, вся кожа сошла. Так и считали, что помираем. Я не видел, как это случилось, вроде как без памяти был,— только на пятый день подобрал нас норвежский пароход и доставил в город Тромсу.

— Отец мой в то же лето хотел свезти меня в Соловки, да встретил на пароходе Ионафана, рассказал ему про бедствие наше и об обещании. Ионафан посоветовал: „Ты парня не гони сейчас, мал еще, дай годок-другой погулять, потом приводи ко мне. И тебе лучше: сына летом на промыслах проведаешь, и мне послушники нужны, и господу богу угодно, что на том же

* Кубас — палка с пучком прутьев, ставится при ярусе, с целью отметить его положение.

** Грумант — русское название Шпицбергена.

море, где ты обещание дал, сын будет послушание нести". Так и сталось. Через два года,— шел мне тогда девятнадцатый,— свез меня отец в Печенгу. Стал я на монастырь работать. Под конец второго года моего послушания известили из дому, что отец мой помер: с того самого бедствия маялся он ногами невыразимо. По этому случаю остался я на послушании и дальше. Когда срок отслужил, по вольной охоте остался, податься было некуда. Поручили мне ботик этот, хожу на нем вроде как главный кормщик, куда пошлют: то треску промышлять, то в город за провизией; скоро вот в Норвегию моченую морошку отправлять будут, там сено начнем возить с островов, а зимой на акулий промысел пойдем.

— Что же, думаешь когда-нибудь вернуться в Поморье, или монахом сделаешься?

— А куда я пойду? В работники наниматься? Хозяйство дома нарушилось, жить негде, а здесь с голоду не пропаду по крайности, за монахами-моряками настоятель не смотрит,— живи, как хочешь, только дело правь да промышляй хорошо.

Осень

Осень. В воздухе холодно и сыро. Баренцово море катит тяжелые волны, стелются густые туманы. По временам расходится серая муть, тогда направо от парохода вижу унылый и неприютный каменный берег и словно прилипшие к нему горбатые острова. Море пустынно, на нем нет рыбаков — одни только выводки гаг и уток-морянок. Сильно качает после свирепого шторма, который пронесся два дня назад. Палуба мокра, на такелаже всюду ожерелья из мелких капель воды.

Мой собеседник — чиновник из Александровска — и я, оба в непромокаемых пальто, стоим у кормового юта, держась за поручни и балансируя. Чиновник — большой либерал и патриот. Север ему нравится. Из Александровска ехать не хочет, несмотря на зимнюю тоску, на трудность сообщения с культурными центрами. Слегка напыщенно он говорит:

— Мы называем это прогрессом, культурой! Нет, дорогой, Россия не прогрессирует ничуть. Она не только отстала от Европы, хуже — она идет назад. Что же такое? В семнадцатом веке промысловые становища на Мурмане были больше населены, чем теперь! На Шпицбергене стояло подворье, на Новую Землю ходили сотни судов. Через Колу и Архангельск пролегал богатый торговый путь, по нему изобильно текли товары и наше сырье. Нет, господа,— восклицал чиновник, протирая пенснэ:— это регресс! Нужно кричать на всех перекрестках, что здесь для России единственный выход к открытому морю, путь к всемирной торговле!

Качка усиливалась, начинали залетать на ют соленые брызги. Мой собеседник, слегка побледнев и закрыв надушенным платком красноречивые уста, скоро оставил меня.

Темнело. Я долго стоял в одиночестве, смотря на прямую линию следа зеленоватой пены за кормой. В памяти вставали одна за другой недавно виденные картины. Чистый северный воздух, ночное солнце, гранитные скалы, подоблачные пахты, серые мшистые камни и гладь лапландских обрамленных лесами озер, свирепый рев водопадов и яростный морской прибой, тишина и дрема сказочного леса, избушки на курьих ножках,—

весь этот чудесный север, со всей музыкой его природы. А среди нее милый, нелгущий народ — лопари; храбрые и бесшабашные, но зажатые уже в кулак поморы; первобытно-наивные хищники — ленивые коляне; красочный, но тоже по-своему наивный архимандрит-колонизатор, которому жить бы в шестнадцатом веке, владыки края — становой, чиновник и, наконец,— тот, спокойный, с властным взглядом господин в серой шляпе, акционер Маслеников.

Природа — в ней все было ново, с ней успела сжиться душа. Но где же вольные новгородцы, где патриархальные добрые нравы, где свободные, как ветер, туземцы севера, про которых я читал, о которых мечтал, когда рвался на север?

Нет,— еще дальше на север! В страну свободную от захребетников, от „святых отцов“, от урядников, от кабалы и лживых обрядов. Там человек — свободный охотник, сам поедает плоды своих рук. Есть Новая Земля, страна совсем первобытная. Ее снега и лед всегда влекли к себе свободолюбивых охотников. Туда,— в свободную полночную страну!

Это было ранней полярной осенью, когда „Ломоносов“ вез с Мурмана треску и жирных палтусов.

Новоземельские колонизаторы

Год тысяча девятьсот десятый.

На пристани дальнего плавания много досужих архангельских жителей пришло проводить пароход на Новую Землю. Дамы в разукрашенных шляпках, чиновники в форменных широких фуражках, гимназисты, несколько выводков веснущатых архангельских девиц с зонтиками разгуливают по пристани и переговариваются с знакомыми на пароходе. В это лето с первыми из двух новоземельских рейсов отправляются три экспедиции. Первая — казенная — везет плотников и материалы для постройки русской колонии в Крестовой губе, вторая — гидрографическая — будет исследовать эту губу, а третья — самая маленькая — моя. Провожающим известна лишь первая. Глава этой экспедиции — плотный мужчина с туго набитым портфелем — еще на берегу, у лабазов. Он пишет на опрокинутой бочке какие-то расписки, совсем не обращая внимания на обступивших его ломовых и приказчиков, которые просят какие-то недоданные деньги, что-то доказывают и требуют, но, когда мужчина сердито выпрямляется, смолкают все. Это — чиновник, заведующий новоземельскими колониями, он же — правая рука губернатора, правитель его канцелярии. Приказания этого человека звучат по-хозяйски.

— Прикажете, Борис Иваныч, дать третий свисток? — подходит к чиновнику и берет под козырек помощник капитана.

— Можно. Давайте. Ну, кыш вы! Будет галдеть, расходитесь! Нечего тут.

Из трубы „Св. Ольги“ вырывается облако пара, и шум на набережной покрывается мощным гудком. Минут через пять, выбирая концы, пароход отваливает от пристани и силой течения разворачивается. Меж берегом и пароходом ширится полоска воды. На пристани машут платками и фуражками. Я замечаю: один платочек не трепещет, он недвижно прижат пониже женских глаз. Какая-то старушка-крестьянка на пристани плачет, неотрывно смотря на корму парохода. Слежу за направлением этого взгляда и догадываюсь, что бабушка осиротела: ее семья — одна из четырех семей колонистов-засельщиков Новой Земли — уезжает на этом пароходе. Бабушку им не позволили взять с собой.

Колонистов одиннадцать человек: четверо мужчин, столько же женщин и трое детей. Все собрались кучкой. Женщины все плачут; дети, держась за юбки матерей, испуганно озираются то на трубу при реве гудка, то в сторону грохочущей лебедки, то на воду у кормы, где внезапно с шумом река вскипает пеной. Мужчины насупились. Только один, молодой, видимо подвыпивший, кричит бесшабашно во всю силу голоса:

— Прощай, бабуся, проща-ай, Агафья Максимильяновна!.. Не поминай нас лихом, молись за нас, горемычных!

На переселенцев, первых русских колонистов Новой Земли, решительно никто не обращает внимания. Взоры провожающих устремлены на небольшую группу у кормового юта, а приветствия с берега шлются в честь ее и пароходной команды.

Пароход, развернувшись, дает прощальный гудок. Подхожу к колонистам.

— Где поместили вас?—спрашиваю у молодого.

— Поместили? А в самом первом классе под голубым потолком,— отвечает мне парень, указывая на сваленные у трубы сундуки, корзины из дранки, лубочные пестери, свертки в мешках и рогоже. Там бабы развернули уже ситцевые одеяла и, утирая подолами слезы, стелют ребятам постели.

— Наше дело привычное, но ребят жалко: не застудить бы.

Бабы просились в каюту, но капитан с криком накинулся на них:

— Не прикажете ли вас, прекрасные дамы, в самый первый класс на бархатный диван поместить, вшей да клопов разводить?..

И так выругался, что бабы отродясь таких слов не слыхали.

На „Ольге" в салоне первого класса все блещет роскошью и чистотой: зеркала, полированное дерево, бархат портьер, кожа на диванах и на уютных креслах. На длинном столе сервирован прекрасный ужин. На почетном месте рядом с капитаном сидит чиновник. Он, чувствуя себя центральной фигурой, находится в приподнятом настроении и с удовольствием рассказывает про „своих" новоземельцев.

— Говорят: опека! Но как же без опеки, когда мои самоеды — сущие дети? За ними нужен присмотр, и большой присмотр, господа. Один раз их накажешь, другой — приласкаешь. Мои самоеды за это любят меня и почитают, смею уверить. Вот увидите сами: подарок принесут... Да, курьезы бывают,—смешной народ! В прошедшем году, вы знаете, что заказал мне Вылка? Книжку с картинками, чтобы на них весь свет изображен был. „На что тебе?"—спрашиваю. „Хочу, — говорит,—узнать, какой другой люди живет, какой земля, кроме Новой Земли, на свете есть". Ну, как же не дети? Я, видите ли, должен искать ему такую книгу,—с ума он сошел!.. Да, бывают, господа, странные заказы. В позапрошлом году, когда пришли в Кармакулы, старик Хатанзей сдал промысел и просит: „За этот промысел,— говорит,—привези для сына девку: здесь девок нету. Жениться

не на ком, а жениться охота. Из тундры девку достань". Нечего делать, написал я зимой бумажку мезенскому исправнику, чтобы подыскал парню невесту из бедных, да не корявую и побойчее. Исправник — молодец: нашел подходящую девку, сироту из вымершего вчистую семейства,— побиралась по городу. Купили ей новую паницу, липты с пимами, две ленты в косы, чесотку залечили и посадили на пароход. Привезли мы эту косоглазую красотку и окрутили с парнем в кармакульской часовне. Все — честь честью. Сам губернатор посаженным отцом был. На свадьбу за свой счет из буфета две бутылки портвейна потребовал. Похохотали мы на этой свадьбе до колик в животе. На другое утро приехал на пароход наш „молодой" и прямо к его превосходительству с серьезным видом. Мы как раз завтракали. Сует ему грязную лапищу и говорит так растроганно: „Ну, спасибо тебе, васе превосходительство, Лександр Васильевич, уж такой ты мне удовольствий привез, слаще спирту. Я тебе другом буду всегда". А? Как это вам нравится?

Туристы — доктор какого-то военного госпиталя, молодой человек в студенческом сюртуке военного покроя на белой подкладке, желчный корреспондент „Нового Времени" — хохочут и пристают к чиновнику с просьбами рассказать еще про новоземельцев. Чиновник в ударе.

— Ну, выпьем за деток моих! — и начинает новый анекдот, потом переходит на скабрезные.

Поднимается качка. Слушатели один за другим незаметно исчезают. В салоне остаются только штурманы, механик и моряк-гидрограф.

Новую Землю увидели после двух суток спокойного плавания по серому туманному морю. Сначала показались над морем нежно нарисованные на небе острые верхушки снегом покрытых гор, затем вправо от нас из голубой дали выделилось нечто похожее на остров. Это был выдающийся в море низменный Гусиный Нос. Часа через два пароход тихим ходом, с большой осторожностью, все время с промером, приблизился ко входу в обставленный высокими горами залив. Еще через полчаса мы стали на якорь.

На берегу два небольших домика. Около них копошатся кажущиеся маленькими фигурки людей в меховых одеяниях, выскакивают то там, то тут белые комочки дыма. Это жители полярного поселка, приветствуют пароход ружейным салютом. Здесь я впервые увидел обитателей тундр, носивших странную, отзывавшую презрением кличку „самоеды". Скоро к борту парохода подошли два карбаса, битком набитых ненцами. Все в грязных блестящих от жира малицах и в нерпичьих пимах. В карбасе несколько женщин и много невероятно чумазых ребятишек. Все очень серьезны, не улыбаются. Смотрят, словно зверьки, черными бусинками глаз. Из всех ненцев на

палубу поднялись только трое. Уже стояли на шканцах столик с письменным прибором и несколько стульев. Правитель канцелярии в форменной фуражке и нерпичьей куртке с золотыми пуговицами важно принял приехавших, восседая за столом. Дал руку всем, но потом вытер ее платком и сказал:

— Что не моешь руки-то? Ведь целый ящик мыла оставлен был.

Старший из ненцев, с какой-то бляхой на груди, двумя руками подобострастно схватил руку чиновника:

— Как живешь, ваше благородие? Сколько времени ждали. Думал, забыл про нас начальник. А я тебе неблюев на доху достал. Промысел нонче порато хороший был, оленя добывали, черного зверя добывали, семь медведей убили. Только голец плохо ловится.

Во время разговора туристы обступили стол, щелкали аппаратами, снимая ненцев, как диковинку. Кидали ребятам в лодку конфеты и белые булки. Ребята хватали подарки, булки прятали в рукав, а конфеты — сразу в рот.

— Смотрите, смотрите, с бумажкой ест!—изумлялись туристы.

— Бросьте еще!

У стола между тем происходил допрос. Чиновник добивался:

— Ты не отвиливай, а отвечай! Были норвежцы? Так. Ну, говори: анкерок или два рому получил? Ты про это оставь. Говори, сколько получил?

— Ваше благородие, всего одного медведя да два песца менял. Масло, крупа, патроны совсем не стало. А норвежец



Ненцы на Новой Земле

патроны давал. Десять патрон за песца давал. Не штрафуй, ваше благородие! Есть нечего стало, стрелять нечем стало, скучно стало, не штрафуй. Тебе на доху добыл, пожалуйста, не штрафуй!

Вечером с парохода побывали на берегу. Жилой дом набит женщинами и детьми. Ненки мяли тюленьи кожи, кормили детей, чистили гольца. Тяжелый запах прокислых шкур, рыбы, ворвани и человеческих испарений стоял в воздухе. На нас ненки не обратили никакого внимания. А нам никому не удалось завязать разговора с ними, так как они не знали ни слова по-русски. Мужчины были еще на пароходе.

Мы подивились на неприглядное жилье, — особенно поразил нас неудачный подбор предметов, которые доставляются для новоземельских промышленников. Здесь были, например, две лампы: одна — дорогая висячая без стекла и горелки, но с хрустальными подвесками, другая — двадцатилинейная со сломанным абажуром и вывинченной горелкой. Из отверстия ее торчал фитиль, опущенный в ворвань. Безрупорный граммофон служил подставкой для прокопченного чайника, а внутренность — для хранения махорки. Хорошо полированное зеркало в красивой, но исцарапанной раме стояло на полу у стенки, на нем висела грязная меховая обувь. В комнате — ни стула, ни шкафа. Единственный стол, подоконники и углы комнат завалены были охотничьими принадлежностями, посудой и множеством ненужных предметов.



Крестовая губа

Снаружи дома валялись обглоданные кости тюленей и белых медведей. Хаос нужных и ненужных вещей: сети, бочки, дрова, весла, обломки саней, куски брезента, уключины, кирпичи, обрывки меха и всякие отбросы покрывали все пространство между домом и берегом. Повсюду бродили собаки, добродушно ласкаясь к людям, приехавшим с парохода. У карбаса на приплеске с дикими выкриками возились два ненца, уже успевшие здорово выпить.

„Ольга" стала в Крестовой губе против места, где предположено основать становище. Со всех сторон обступали горы. Дальние — белые, как облака, ближние — лиловато-серые — опоясаны длинными лентами нерастаявшего снега. Те и другие кажутся близкими, все четко рисуются на небе необычайной чистоты, на горах отчетливо видны голубоватые ледники. Седловину одной из них увенчал висячий, совсем голубой ледничок.

Мне хочется скорей попасть поближе к этим прекрасным горам, но на берег нельзя, дует ужасный новоземельский ветер — „восток". Вся поверхность моря покрыта крутыми волнами с барашками и водяной пылью. К вершине горы, в глубине залива прилепилось похожее на клочок серой ваты странное облако и держится, не сходя с горы. Такие облака бывают только при восточном ветре.

Колонисты, стоя кучкой у борта, рассматривают невиданные горы, пустынную поверхность маленькой бухточки, где стал пароход, и берег, на котором будет построен дом. В нем при-



Колонисты в губе Крестовой

дется зимовать и летовать многие годы. Контракт колонисты подписали на пять лет. Никто, кроме Усова, зимовавшего недавно на Новой Земле, не был на дальнем севере. Все так непривычно, жутко, страшно,—чужая сторонушка. Бабы вздыхают, а молодой Миша храбрится:

— Место, как место! Земелька есть, ходить можно; воды — цельно море. Есть песок — посуду чистить; есть наволок — лодки вытащить; есть и горушка, куда наши гробы зарывать.

Усов сердится, плюет с досады:

— Если зароем, так тебя первого, болтуна и лентяя непроходимого. Оставался бы дома, носил бы лапти, ходил бы без штанов в батраках! А здесь — подожди: пароход уйдет, лениться не будешь,—сам себе хозяином станешь. Здесь только дурак рыбы себе не наловит на целую зиму. Оленей набить — плевое дело! Медведи будут. Песцов напромышляем. Настя, не скучай! Барыней будешь в доме жить, чай с ватрушками пить. Дай только недельку пожить, я тебе пуд здешней семги-гольца на уху разом доставлю.

Ветер прекратился. Люди съехали на берег. Пустынная площадка у ручейка запестрела желтыми досками, бревнами и дровами, расцветилась красным кирпичом, белыми мешками и черными свертками толя. Начал расти золотистый, из досок, барак. Задымился костер.

Через два дня, закончив выгрузку, пароход развернулся и, блистая свежей краской трубы по фону лиловых гор, медленно направился в море.

Мы остались одни.

На голой земле

21 июля. Поселились в дощатом бараке, сколоченном на скорую руку. Сделали вокруг барака завалинку, внутри устроили из досок нары, из ящиков — столик и шкафик, в углу поставили нашу керосиновую плиту и даже пустую консервную жестянку, на манер умывальника, приспособили у входа. Бабы успели выкопать прудик у мелкого ручья, чтоб удобнее было брать воду и полоскать белье. Теперь они хлопочут у русской временной печи под дощатым навесом. Завтра будет свежий хлеб.

Закончив хозяйственные хлопоты, я сунул в карман альбомчик, сухари и, перекинув за спину ружье, пошел вместе с Павлом знакомиться поближе с новоземельской природой.

Странная земля! Средина лета, глаз ищет зелени, а ее нет. Семь дней назад на берегах Двины в глаза лилась веселая симфония: леса, луга, поля — все было зелено, и даже мутноватая вода в Двине была полна игры сочно-зеленых движущихся красок.

А здесь, окинешь взглядом весь широкий простор,— нет на нем зеленого цвета. Не расцвечены зеленью лесов или лугов строгие пирамидальные горы, там, вдали, сизая гамма — голубовато-серые склоны, нежная синева дрожит по ущельям, розово-сизые оттенки на полосах снега и на ледниках. На ближайших увалах и в разлогах — одни лишь бурые и серые цвета. Под ногами грифельно-серый шиферный сланец и галька,— тоже мертвый, безжизненный цвет. Всюду голые камни, хрустящий шифер и потрескавшаяся грязь. И кажется на первый взгляд, что здесь земля гола, как в те первозданные эпохи, когда она делилась на сушу и море, когда не успела еще родиться и развиться органическая жизнь. Это чувство начинает усиливаться, когда замечаешь, смотря под ноги, полярные растения. Они тоже как будто зачаточные. На голом камне множество узорных пятен — серых, оранжевых, красных. На нем есть нечто похожее на мох,— это лишайник. Он не боится морозов и бурь, он неприхотлив. Высасывая свою пищу из самого твердого камня, лишайник в союзе с водою, льдом и воздухом дробит и превращает камни в почву. Здесь, на голой земле, ясно виден весь этот процесс.

Вот скопилось между камнями немного порошка от разрушенных горных пород вместе с перегноем умерших лишайников. Посмотришь внимательно в такие места, увидишь на них живую зелень: крошки-листочки и миниатюрный цветок. Придет время, сгниет и он, но семена его останутся тут же. На перегное предков взрастет большая семья. Растения еще не крепко зацепились за землю,— тесно жмутся к ней, словно прячутся. Когда увидишь такое семейство, кажется, что в почву врыт яркий букет, — одни цветы.

В низинах и на участках, прикрытых от ветра, таких букетов множество: местами сливаются они в сплошь цветущий пестрый ковер. Выше всех бледножелтые альпийские маки качаются на мохнатых ножках, лиловыми пятнами гнездятся звездочки-камнеломки, белеют драбы, желтеют знакомые лютики, и льют чудесный аромат полярные пахучие небесно-голубые незабудки.

Мы шли то по таким небольшим коврикам цветущей зелени, то по земле, совсем лишенной растительности, пересекали иногда каменные реки, где были еще недавно русла ледников, где сейчас камни уложены рядами, словно чьей-то рукой, и вслед за тем попадали в россыпи острых обломков диабаза. Часто приходилось переходить ручьи или спускаться в белые коридоры, пробитые весенними ручьями в тающих снегах, скопившихся за зиму по оврагам. Наконец по разлогу, покрытому сфагновым мхом с редкими участками травки, снова вышли мы к морю.



Морская ласточка (крачка)

Здесь такая же тусклая, сероватая гамма цветов. Аспидно-серые россыпи шифера, почти черный песок на приплеске, а на мысах — зеленовато-бурые утесы диабаза. Между утесами и берегом всюду, где обрыв каменной стены отходил хоть немного от берега, лежат мощные — метра в четыре-пять — забои снега, которые при вскрытии льда в заливе, обломившись, образовали вертикальные стены твердого снега. Он теперь загрязнен, проеден всюду ручейками. Вода прорыла в плотном — почти как лед — снегу длинные причудливые голубоватые тоннели. Местами, где снег успел обрушиться, тянулись от моря высокие коридоры с отвесными стенками, кое-где на них сохранились еще снежные аркообразные мосты.

На берегу возле одного такого забоя мы внезапно наткнулись на громадную стаю линяющих гусей. Они бродили по приплеску между снежным забоем и морем. Потеряв маховые перья на крыльях, эти гуси лишились способности летать. При нашем приближении некоторые, неуклюже переваливаясь, побежали к морю, другие старались спрятаться под снежным карнизом у берега или укрыться между камнями, распластавшись и прижавшись к земле.

Со мною было дробовое ружье. Быстро расстреляв из патронташа двадцать зарядов, я убил всего пятнадцать гусей. Мой же спутник, пустивший в ход простую палку, подобранную на берегу, оказался более добычливым. Когда мы сошлись после охоты, у ног его лежала порядочная грудка убитых гусей — штук тридцать. Павлу посчастливилось загнать стайку гусей в узенький коридорчик, проеденный в снегу весенним потоком. Из этого тупика не вышел живым ни один гусь.

Гордые такой богатой добычей,— за час добыли еды чуть не на месяц,— мы отправились в свое становище за мешками, чтоб в них принести убитую дичь.

30 июля. Ночь мы почти не спали. Только в шестом часу утра прилегли, когда усилился ветер, заставивший нас вернуться с ближайшего островка.

Эти летние ночи совсем не для сна. Еще сильнее, чем в Лапландии, ощущается невозможность спать, когда погода хороша. Она манит к работе и наблюдению. Под лучами низкого ночного солнца становятся особенно красивыми переливы здешних прозрачных красок, ночью покой девственной земли кажется особенно полным. И странно — начинаешь ощущать в себе какой-то прилив энергии: обостряются чувства, — свернул бы, кажется, гору!

Днем, пытаясь увеличить запасы свежего мяса, снова ходили вместе с промышленниками вдоль берега искать гусей. Но гуси — не дураки. С берега ушли. На море мы видели шесть стай по несколько сот штук.

Пара уток-морянок и полдюжины чистиков — вот и вся на этот раз добыча.

Усов и Долгобородов добыли двух тюленей: они попались в сети. За ужином мы лакомились тюленьей печенкой. Поднимается крепкий ветер.

31 июля. Неожиданно пришел небольшой, ледокольного типа пароходик „Николай". Принадлежит он Масленикову, тому самому господину в серой шляпе, которого я встретил на Мурманске

Капитан „Николая" зашел к нам за пресной водой. Мы, разумеется, побывали на пароходе. Узнали от капитана об ужасной трагедии, случившейся недавно рядом с Крестовой — в Мелкой губе. Там вымерло становище промышленников, подряженных Маслениковым для зимнего промысла морского зверя и белых медведей.

„Николай" вчера зашел в Мелкую губу, чтобы принять промысел и снять людей. Напрасно он свистел,— с берега никто не ехал, никто не показался. Стали на якорь. Спустили шлюпку, подъехали к одному из домиков экспедиции Цивольки, выстроенному в 1838 году. Меньший дом был отремонтирован в предыдущее лето и приспособлен под становище.

На берегу — ни души. Когда зашли в полузаваленные снегом сени, шмыгнул между ногами и понесся в гору испуганный песец. Кто-то заметил невдалеке от дома торчащую из не успевшего стаять сугроба странную кость, окруженную обрывками какой-то ткани. Эта кость оказалась изгрызенной песцами ногой человека, похороненного в сугробе. Вторую могилу нашли рядом с крестом, под которым похоронен был несчастный Циволька.*

В скудно освещенной избе, среди развала, грязи и плесени, капитан нашел дневник старшего промышленника Кулебакина. Несчастный вел записи до самой смерти. Потом заметки продолжил товарищ Кулебакина — Яшков.

В непосредственных записях не сильно грамотного человека, при всей их простоте, заключалась подлинная трагедия. Тетрадь имела заглавие: „Книга для записи времени и промысла". Почему-то вырваны были из текста три страницы.

„Сия книга крестьянина Архангельской губернии, Шенкурского уезда Николая Яковлевича Кулебакина, нанявшегося на промыслы на Новой Земле от конторы Масленикова Дмитрия Николаевича промышлять гольца и зверя. Из сего промыслу половина хозяину, другая на промышленников. Состоит 4 человека". Записи кратки:

„*Ноябрь 4.* Холодно, ветрено. Долгота дня пять часов".

„*30.* Ветрено и погода. Медведь подходил к избе и стал грызть равушку. Когда услышали и вышли с ружьем, то он

---

* Штурман Циволька, стоявший во главе правительственной экспедиции 1838—1839 гг., умер от цынги, повидимому вследствие плохого подбора продуктов, отпущенных по стандартному морскому списку.

убежал, не удалось стрелять, дальше ходить опасно, темно, стрелять не видно. Живем покуда хорошо. Дружно и весело проводим время".

„*Январь 24.* Время самое печальное. Команда хворает. Только и слышишь, что „О, боже мой". Ходить никуда нельзя. Стоят погоды. В квартире сырость..."

„*26.* Тихо и пасмурно. Печальный день: помер Павловский в 5 ч. 20 м. вечера. Топили баню, убрали тело, зажгли свечу и покадили. Наступает ночь".

„*Февраль 20.* Пасмурно и ясно. Федька, Анна и Артюшка лежат очень больные, не могут ходить до ветра, мочатся и опоражниваются в избе. Спать ложимся в 9 часов, встаем в 4 и $3\frac{1}{2}$".

„*28.* С утра ясно и ветерок. Вечером сильная погода, занесло сени. Вот и дождались долгих деньков. Прожили темное время. Теперь только бы промышлять. Одно горе — все захворали. Чудная боль. Сперва ноют пятки, точно зябнут. Потом пойдет по ногам выше ломоть. Ломит коленки и стягивает жилы. Человек поневоле должен лежать, и потом по всему телу окажется сыпь и на руках..."

Весь дневник подобен этим отрывкам. По нему видно, что несчастные охотники, не получив от хозяина почти ничего, кроме промысловых орудий, муки, чая и сахара, один за другим в мучениях гибли от цынги. Но нигде нет жалобы на алчность хозяина. Видимо дневник должен был служить также документом количества добычи. Быть может эти-то жалобы и вырваны.

Мы возвращались в свой лагерь подавленными. Так и здесь достигает рука захребетника! Когда мой спутник спросил у капитана: „Кто же ответит за эти смерти?" — тот, пожав плечами, сказал:

— Какой ответ? Кто будет судиться? Где такой суд? А если бы и был, кто докажет? В дневнике о том, что мужики хлебом одним питались, записано только 22 марта. Хозяин скажет: поехали добровольно, виноваты сами,— не умели провизию хранить. Вот и все. А потом,— капитан махнул рукой,— знаете пословицу: с сильным не борись, с богатым не судись.

То же самое почти дословно сказал и староста промышленников — Усов:

— Нет документу — ничем не докажешь. Попробуй, судись, сам в остроге окажешься.

Но мы с Павлушей не сдаемся. Пойдем с ним в Мелкую губу искать улик. Быть может, отыщем вырванные страницы дневника, вероятно, на тех страницах Кулебакин писал про снаряжение.

4 августа. Пишу это число с некоторым сомнением. Когда проснулся, не мог понять: день или ночь. Казалось мне, что сегодня вечер третьего числа, но мужики, остававшиеся дома во время нашего похода в Мелкую губу, доказали, что мы проспали больше суток. Действительно, мои часы, заведенные перед сном, остановились. Наш богатырский сон можно объяснить

крайним утомлением: прошли почти безостановочно свыше девяти десятков километров по бездорожью. Мои новые прекрасные сапоги за полторы суток оказались изношенными. Не только кожа на подметках проносилась, но и собственная кожа на ногах оказалась в мозолях и кровоподтеках. Ноги пришлось забинтовать. В мягкой обуви едва идем.

Вышли мы вечером первого августа. По нашим расчетам должны были дойти до Мелкой часов за девять: расстояние на карте было всего верст тридцать пять. Отправились налегке, взяли, кроме ружей, немного сухарей, сала, по банке консервов, чаю и сахару.

Пешеходная экскурсия оказалась совсем не такой легкой, как представлялась нам. Когда отошли от берега подальше, стали все чаще попадаться на пути совсем бесплодные места: россыпи крупных острых камней, некогда старинные морены (валы щебня, оставшиеся после исчезнувших ледников), еще чаще — ручейки и речки, текущие в отвесных берегах снежных забоев, превратившихся в лед. Нам постоянно приходилось отклоняться далеко в сторону, чтоб обойти непроходимые осыпи на крутых горных склонах или бешеные потоки воды в глубоких оврагах. Иногда подолгу не находили брода через широкие ледниковые речки. Не прошло и двух часов, как все мы — Павел, Мишка, плотник Василий и я — вымокли по пояс.

Однако мы упрямо продолжали двигаться вперед. Час проходил за часом. Потерялось из виду море; мы, поднимаясь с од-



Лагерь на льду у открытого моря

ного увала на другой, углублялись в горную голую страну. При перевале через довольно значительный хребет открылся нашему взгляду изумительный вид — панорама средней части Новой Земли. Там, на востоке, толпа высоких снежных вершин, на горизонте — высокая зазубренная стена. Блестели ледники, по склонам гор лежала бахрома вечных снегов, цеплялись за вершины сизые облака.

С перевала мы заметили небольшое — голов пятнадцать — стадо оленей. Попытались мы подкрасться к ним да не сумели: ветер был неблагоприятный, олени почуяли нас издалека и резво умчались за перевал. Часов в шесть утра второго числа остановились на полчаса и поели консервов с сухарями.

По нашему подсчету, до привала, в течение десяти часов, мы сделали верст около сорока. То же самое показывал и педометр. Впереди не только Мелкой губы, но и моря не было видно. Уже раздавались голоса, чтобы возвратиться, но мы все же решили дойти. Только к полудню подошли мы к крутому откосу горы, спускавшемуся к Мелкой губе. И тут же выяснили, что к становищу Цивольки попасть невозможно: совершенно не показанная на карте, широкая и бурная река преграждала путь с севера. Быть может, сделав обход верст десять-пятнадцать, нам удалось бы переправиться через эту реку, но сил на новое рискованное путешествие не было, а провизии оставалось всего десяток сухарей и небольшой кусочек сала. Пофантазировав о плоте из плавника, которого не было, и послав полсотни проклятий составителям неверных карт, мы без отдыха повернули во-свояси. Остановиться даже ненадолго не было возможности из-за холода.

Обратный путь был ужасен. Поднялся холодный встречный ветер то с дождем, то со снежной крупой. Мокрые, уставшие и голодные, мы не рискнули итти напрямик по компасу в становище, но взяли курс на более близкую часть берега Крестовой губы, при выходе ее в море, где должны быть дрова — плавник.

Выйти на этот берег удалось нам только через девять часов. На последних верстах то один, то другой садился на раскисшую землю. И трудно было заставить встать. Первым отстал Павел. Рассчитывая на его охотничью страсть, отойдя шагов на пятьсот, мы открыли стрельбу из винтовок, как на охоте за оленями. Павел живо вскочил на ноги и догнал нас почти бегом. В другой раз это средство применить было невозможно. Приходилось кому-нибудь возвращаться и уговаривать. А в это время дожидавшиеся тоже присаживались в грязь и засыпали.

Такой кучкой подталкивающих друг друга людей мы прибрели, наконец, к берегу Крестовой губы. Через полчаса горел яркий костер. Жарилась на шомполе чайка, но люди, измученные, посеревшие и исхудавшие, спали. Часа через три холод пробудил. Медленно передвигая избитыми в кровь ногами, прибрели мы в свое становище.

К мысу Желания

У нас неожиданные гости. В Крестовую зашло за водой еще одно судно — военное — „Бакан“ и стало на якорь близ нашего становища. Из лагеря видно, как по палубе бегали матросы в форменных бушлатах. С капитанского мостика какой-то офицер, отдавая приказания, надсадно орал через рупор. Взвивались на мачте какие-то сигналы. Звучал рожок горниста. Через полчаса к лагерю лихо пристала шлюпка-шестерка с военным флагом на корме. Четыре офицера, спросив попути у Мишки, где расположилась новоземельская экспедиция,— направились в наше отделение барака.

Сначала я был в большом недоумении: что понадобилось столь блестящему обществу в неприглядном нашем бараке? Но спутник мой, знакомый по службе с военно-морским этикетом, догадался: нашей экспедиции делается визит.

Нечего делать — надо принимать. Рассадив гостей на нары, мы „сервировали“ чай на мешке, покрывавшем „стол“ (шаткие порожние ящики), заняли разговором. От гостей узнали мы, что „Бакан“ пришел из Ревеля. Ему приказано осмотреть западный берег Новой Земли,— нет ли на нем еще норвежских становищ, кроме обнаруженных в предыдущем году геологом Русановым. Эти становища нужно разорить.

Все офицеры, за исключением штурмана и старшего офицера,— зеленая молодежь. Все плавают в северных морях впервые. Смотрят на арктический поход, как на занятную прогулку. Эти веселые люди предложили мне „прокатиться“ с ними до мыса Желания. Услыша столь соблазнительное предложение, мы стали значительно любезнее. Павел, переглянувшись со мной, достал, скрепя сердце, бутылку из потайного ящика, где хранился наш небольшой запас очищенной.

Вот каким путем попал я на палубу „Бакана“.

На следующее утро „Бакан“ направился к выходу в море.

Меня, никогда не бывавшего на военном судне, все происходившее на палубе интересовало на первых порах больше, чем проплывавшие мимо знакомые виды Крестовой губы.

Хотя „Бакан“ — посыльное судно третьего ранга, на нем, как на всех военных судах, надраенная палуба блистала чисто-

той. Блестели медные поручни, иллюминаторы, люки, нактоузы и металлические части морских приборов. Краска на стенах кают и вынесенные за борт стрелы сияли белизной. Палуба была полна людей, сновавших между лебедками, снастями и пушками в брезентовых чехлах. Люди разделялись на три группы: одна — в передней части судна, на баке,— состояла исключительно из матросов, свободных от вахты; вторая — из вахтенных матросов-сигнальщиков, палубных, рулевых и комендоров, третья группа, на мостике, — из офицеров.

Ежеминутно на мостик прибегали с докладами боцман или сигнальщики:

— Ваше высокородие, в трюме воды четыре дюйма!

— Ваше высокородие, глубина семьдесят сажен!

— Вашсокородие, разрешите свистать на обед!

Вслед за докладами отдавались приказания.

Сигнальщики, держа руку у матросской бескозырки, докладывали старшему офицеру и о том, что ему самому без доклада видно: о том, что туман слева, что впереди мыс показался что справа по борту ледяная гора...

— Не „ледяная гора", а „айсберг" надо говорить!

— Так точно, „асбер" надо говорить!

От Крестовой губы на север „Бакан" плыл неподалеку от берега, заходя в каждый залив. Таким образом „Бакан" посетил Южную и Северную Сульменева губы и Машигину, потом, обогнув полуостров Адмиралтейства, направился к северо-востоку. Шли здесь довольно близко от берега, рассматривая его подробности через бинокли. Нигде не было видно признаков человеческого жилья. Голы и негостеприимны эти каменистые берега. Везде сердитые буруны седого прибоя, снег в оврагах и между скал.

В южной Сульменева губе увидели первый спускающийся с гор до самого моря настоящий полярный ледник. Могучий ледяной поток, шириною больше километра, весь растрескавшийся, словно изрубленный ножом, оборвался в воду голубой прозрачной стеной. От нее по временам с грохотом, похожим на пушечный выстрел, отламывались выдающиеся части. Пеной кипела вода на месте падения, шла по заливу кругами волна, и скоро из глубины морской в каскадах воды, качаясь и рассылая новые круги, выныривал новорожденный айсберг.

В следующих к северу заливах полярные ледники еще мощнее, около них еще больше мелких обломков ледника и крупных айсбергов, блещущих нежными оттенками зеленого и синего цвета. Некоторые из встреченных „Баканом" айсбергов, видно, долго носились по морю: они казались сделанными из ажурного стекла,— так много было в них гротов, пещер, тоннелей, всяческих отверстий и еле скрепленных выступов. Казалось, что это фантастическое создание природы должно рассыпаться от первого прикосновения.

По одному из таких узорных айсбергов офицеры затеяли стрельбу из винтовок. К великому их разочарованию, эффект удара пуль о ледяные выступы айсберга оказался совсем не велик.

Кто-то из вошедших в азарт офицеров, кажется, артиллерийский, подошел к командиру и, взяв под козырек, отчеканил:

— Разрешите открыть учебную стрельбу!

Командир помялся, потом, махнув рукой, сказал:

— Постреляйте! Но не больше двадцати снарядов.

Раздались резкие трели свистков, появились на мостике артиллерийский старшина и комендоры; появились и убежали. Рассыпались на палубе трели боцманских дудок, вызывающие команду к орудиям, взвился на мачте боевой сигнал, захлопотали у орудий люди. Послышались выкрики команд, и два орудийных жерла начали поворачиваться по направлению айсберга. Затем „Бакан“ вздрогнул несколько раз от резких ударов пушек. Выругался артиллерийский офицер.

— Какой вы целик брали?

Снаряды не долетели.

Еще серия выстрелов с недолетами и перелетами и новые ругательства, на этот раз командира. Зазвонил телеграф в машинное отделение. „Бакан“ остановился.

Только на третьем десятке снарядов лихим стрелкам удалось попасть в голубую гору. Снаряд, ударив в середину айсберга, поднял фонтан искристых брызг и, отколов значительную часть, нарушил равновесие,— ледяная гора с шумом перевернулась.

На этом закончилось сражение „корабля флота его величества“ с изумрудным айсбергом.

Миновав остров Вильяма и войдя в пролив между островами Берха и Заячьим, „Бакан“ стал медленно подвигаться в узком водоеме. На острове Малом Заячьем сигнальщики заметили небольшую промысловую избушку.

Опять засвистели на мостике и залились трелями старшины. На мачте — новые сигналы, захлопотали люди у шлюп-балок, спустили шлюпку, сошли в нее по трапу офицеры, поставили на корме флажок.

В избушке людей не оказалось. По стенному норвежскому календарю было видно, что они уехали только накануне: календарь был оторван до этого дня. Быть может, охотники-норвежцы успели скрыться уже в то время, когда „Бакан“ был поблизости. Не мудрено: церемония постановки на якорь длилась не меньше часа.

Промысел оказался налицо. В кладовке стояли бочки с звериным салом и с солеными медвежьими шкурами, груда сушеных тюленьих шкур и птичьи шкурки.

Добычу с торжеством перевезли на судно. Вместо конфискованного промысла, бедным норвежским охотникам на столе оставили акт на хорошей бумаге с печатью и подписями членов реквизиционной комиссии.

Новая Земля на параллели островов Берха и Заячьего закрыта материковым льдом. Здесь промежутки между ледниками, спускающимися в море, очень малы. „Бакан“ шел больше часа вдоль стены колоссального ледника, почти без перерыва тянущегося километров двадцать пять.

Обходя полуостров Панкратьева „Бакан“ сел на мель. Снялись с нее довольно быстро при первом же приливе. Однако, напуганный этим происшествием командир приказал держать подальше от берегов, в милях десяти.

— Так-то спокойнее,— сказал он и отправился играть в винт.

Разумеется, на таком расстоянии не рассмотреть и в самые сильные бинокли не только маленьких промысловых избушек, но и четырехэтажного дома. Плавание вдали от берега потеряло для меня интерес. И по существу оно свелось к прогулке до экзотического мыса Желания. Теперь офицеры „Бакана“ держали между собой пари на пару шампанского и полдюжину коньяка: дойдет ли судно до мыса Желания.

Невдалеке от оконечности Новой Земли, около Оранских островов синева на горизонте побледнела. Появился на нем оттенок, который носит название „ледяного неба“, затем забелели на горизонте морские льды. Между ними и берегом оставался проход, мало-помалу суживающийся. По этой причине „Бакан“ стал понемногу приближаться к Новой Земле. Мыс Желания был на виду.

Внезапно на мостике раздался резкий звук электрического звонка: пришел в действие прибор, называемый „лотом Джемса“, или „подводным часовым“. Приемная часть этого прибора может быть поставлена на любую глубину; она замыкает ток в звонке и отделяет от себя поплавок, который всплывает наверх, как только судно подойдет к мелкому месту и коснется дна приемной частью прибора.

— Лево на борт!— раздалась паническая команда.

„Бакан“ повернул на юг. До мыса Желания так и не дошли. Пари к радости одной стороны было проиграно.

Держась от Новой Земли на расстоянии миль пятнадцати, судно пришло на следующий день в Крестовую губу, чтобы, запасшись пресной водой и спустив на берег меня, отправиться в Ревель.

Теперь норвежцы могут заниматься промыслом без помех,— охранный рейс этого года закончился.

18 августа. „Бакан“ ушел, сделав в честь нашей колонии салют из пушек и держа на мачте какой-то сигнал, которого никто из нас не мог понять.

В мое отсутствие постройка дома подошла к концу. На постройке работала артель плотников, темных вологодских мужиков, набранных архангельским подрядчиком. Выяснилось, что плотники, поехав на два месяца, не получили от подрядчика ничего, кроме муки и крупы (гречневой и пшенной), корчаги

говяжьего сала и пуда соли. Артель состояла из двенадцати человек. Ни колонисты, ни мы не могли серьезно помочь мужикам. Дали им дюжину убитых нами гусей, немного сахару и консервов. Наш запас провизии — ничтожен, он строго рассчитан на два месяца для двоих. Если бы мы даже отдали его весь, существенной помощи в этом не было бы. Колонисты также были снабжены немногим лучше плотников: им осенью обещают привезти всего, а пока что питается колония, главным образом, пойманной рыбой.

Решили мы обратиться к Седову, он расположился километрах в семи на запад, здесь же в Крестовой губе. Кажется, его запасы несколько богаче наших. Плотники выглядят плохо: бледны и вялы, некоторые жалуются на боли в ногах и слабость; похоже на первые признаки цынги.

Георгий Седов

Стоял тихий, но хмурый новоземельский день. Горы наполовину обрезаны низкими тучами, голубой ледничок на Средней горе в такую погоду кажется свисающим с неба. Позднее навалился туман из легчайших капелек влаги, которые сырым налетом садились на ресницы и волосы. К седовскому лагерю пришлось нам итти по компасу.

Лагерь раскинут был на извилине берега, похожей на бухточку у нашего становища. Здесь стояли три добротные палатки датского типа, в одной помещались Седов и студент-помощник, в другой, самой большой,— команда в десять человек, и третья палатка была отведена под склад. Лагерь в образцовом порядке: он огражден канавой для стока воды, шлюпки — далеко на берегу, весла — на козлах, дрова — поленницей, на ручейке — запруда; палатки обтянуты, как витрина магазина, а длинный ряд сапог — на специальных стойках для сушки. В палатках тепло и по-походному уютно. У стенок — складные койки и такие же столики; в жилых палатках — походные керосиновые печи. Для сушки одежды подвешены длинные жерди.

Седов только что вернулся с работы. Он принял нас как старых друзей. Когда рассказали про бедствия плотников, скверно обругал подрядчика и сам предложил для них ящик мясных консервов и немного сушеного картофеля.

С Седовым я познакомился еще на пароходе. Среди пассажиров я сразу отметил высокого и видного молодого моряка в военной форме гидрографа. Он с большим одушевлением и юмором рассказывал что-то группе, его обступившей.

Человек этот обладал, видимо, способностью быстро знакомиться и привлекать к себе людей. Открытое скуластое лицо выдавало в этом офицере выходца из „простого народа". Но лицо это было оживлено блеском глубоко засаженных в орбиты умных глаз и влекущей искренней улыбкой, обнажавшей крепкие сверкающие зубы. В лице Седова были какие-то неуловимые штрихи, которые красят иногда самые неправильные черты некоторых русских лиц.

Кто-то познакомил меня с Седовым. Узнал я, что моряк этот командирован Гидрографическим Управлением исследовать

губу Крестовую. Через минуту и я оказался в плену увлекательного рассказа о похождениях геодезиста и гидрографа в якутской тайге и на реке Колыме. Таежная глушь, дикость неведомых рек, унылая бесконечность заснеженных тундр и льдами покрытое море, все то, чего никто из слушателей не видел и не представлял, при рассказе оживлялось, как знакомое, виденное. Холодели слушатели, когда моряк показывал, как скреб медведь когтями крышу, как стыла обмотанная ремнями рука с ножом в пасти умирающего зверя. И таяли улыбки, когда после анекдота о колымских вольных правах переходил рассказчик к ужасной повести о семье прокаженных, живущих на никому не ведомой заимке.

Хорошо помню, что, отойдя от группы и освободившись от гипноза улыбки и здорового юмора рассказчика, пробормотал я про себя (в то время я еще не освободился от юношеской претензии считать себя скептиком и знатоком людей): „Здорово рассказывает сей молодой гидрограф, но привирает, наверное, не мало. Посмотрим, посмотрим, каковы будут его подвиги на суровой Новой Земле!“



Г. Я. Седов

В день нашего прибытия в Крестовую губу свирепствовал при ясном небе „всток“ — знаменитый новоземельский ветер. Он валился лавиной с берега, перебрасывая камни и разрушая все на пути. Волны не поспевали ронять верхушек. Над водой стоял туман из брызг, море кипело.

Пароход стал на два якоря, шлюпок не спускали. Пассажиры скучали, сидели по каютам или в салоне за преферансом; другие, укрывшись от ветра, любовались чудесной панорамой Крестовой губы. В это время я видел Седова у трюма. Он с блокнотом в руках следил за выгрузкой своего снаряжения из трюма на палубу.

Поздно вечером луч солнца, ворвавшийся в иллюминатор, выманил меня из каюты. Поднявшись на палубу, я услышал возбужденные голоса, доносившиеся из-под кормы парохода. Шлюпка-шестерка, порядочно загруженная ящиками, пыталась отойти от парохода, но ее несло назад. В шлюпке сидело десять человек. Девять промокших гребцов с красными лицами, иссеченными брызгами воды, стоя и сидя, с натугой налегали на весла, но крепкий ветер мешал: шлюпка, как пришитая, держалась близ кормы парохода. Только продвинется на несколько метров,— ветер снова отбросит ее назад.

На корме орудовал добавочным веслом десятый. В матросском бушлате, с обнаженной мокрой головой,— ветер давно сорвал его фуражку. Этот десятый был Седов. Щурясь от соленых брызг, секших лицо, он весело выкрикивал:

— Раз-раз! Ну, разом, раз! Дружно, крепче, раз!

А в промежутках между счетом или вместо него успевал вставлять столь крепкие матросские словечки, что ребята на веслах то и дело ржали, видно, забывая и крутую волну, и тягость в руках, и холод, и страшный ветер. Девушка-туристка, слушательница недавних увлекательных рассказов элегантного моряка, подошедшая было вместе со мной к борту, сразу отпрянула и, густо покраснев, убежала в каюту. Седов в ее глазах пал безвозвратно,— в этом нет никакого сомнения.

Крикнув: „Можно с вами?“ и улучив удобный момент, я прыгнул со штормтрапа в седовскую шлюпку и получил весло. Только через час мы добрались до берега, хотя до него было не больше сотни метров.

Думаю, что мое первое совместное крещение солеными брызгами при злом новоземельском „встоке“ заковало первое звено последующей дружбы с Седовым.

Мы просидели с Седовым до утра. От него не оторваться. Потом, в каждый туманный день шагал я семь километров на запад к седовской палатке (в туманные дни ни я, ни Седов не работали). В этой палатке впервые стали оформляться в беседах черты задуманного Седовым путешествия к полюсу.

21 августа. Вчера ездил с Усовым на северный берег залива осматривать сети для ловли тюленей. Тот берег обманно

близок,— казалось не больше двух километров. Но в действительности, чтобы добраться до него, нам пришлось поработать веслами в течение двух полных часов. По измерению Седова ширина залива в этом месте — семь километров. Изумительной чистотой новоземельского воздуха объясняется такой обман зрения. Мы не раз уже попадали здесь в смешное положение, особенно в первые дни, по непривычке определять расстояния в новоземельском чистом воздухе. Павел, однажды, на глазах у всего становища, усердно палил в утку, которая плавала, казалось, совсем недалеко от берега,— шагах в сорока, но дробь до цели не долетала. Утка осталась невредимой. Немудрено: до нее от охотника было не меньше сотни шагов.

Северный берег крут и труднодоступен. Здесь много совсем непроходимых мест. Под каменистыми неприступными обрывами всюду движущиеся осыпи мелких камней; подняться по ним так же трудно, как муравью взобраться на груду сухого песку. Тесные овраги, ущелья, заваленные лавинами, скалы, глубоко ушедшие в воду, „каменные моря“ — словом полная картина настоящей горной страны. На одном из выдающихся мысов я остановился с изумлением: этот мыс — огромная скала прекрасного белого мрамора. Показать бы это богатство нашим скульпторам! Правда, мрамор местами был испорчен трещинами и серыми прослойками, но даже на поверхности было не мало хороших, совсем беспорочных участков.



Морской заяц

Тюленьи сети стояли рядом с этим мраморным мысом. Мы вынули из них большого бородатого тюленя,— поморы зовут таких „морскими зайцами".

Живя в здешней изумительной стране и дыша ее кристальным воздухом, мы невольно наблюдаем всю беспрерывную цепь изменений здешней природы. Я с удивлением отмечаю, что в памяти моей сохранились все перемены погоды и направления ветра за целый месяц. Мы сживаемся с природой. Я иногда ловлю себя на мыслях о судьбе семейства леммингов, о странностях в поведении чайки, всегда встречающей меня за мысом, или о причинах растрескивания здешней почвы на правильные геометрические фигуры.

Когда идешь с работы, отмеривая усталыми ногами километр за километром, против воли всматриваешься во все проявления жизни. Тундра, казавшаяся раньше пустой, наполнена жизнью. Вот пролетела пестренькая пуночка. Я знаю уже, где ее гнездышко. Вот пробежал и, завидев меня, схоронился за грудой камней серенький щенок-песец,— только ушки торчат. Не удержался и тявкнул. Потом, внезапно струсив, понесся во всю прыть. А здесь начинаются места, излюбленные леммингами. Чтоб рассмотреть этих миниатюрных, похожих на пестрых мышек, животных, нужно обладать острым зрением: они всегда прячутся в норки, как только завидят в тундре живое существо.

Такая обостренность внимания родит жажду познания и еще более напрягает чувство восприятия. Жажда встреч в пустыне, вместе с непривычной жизнью по ночам, держит все чувства в каком-то странном, но бодрящем напряжении и взвинченности,— как на состязании.

24 августа. Как незаметно проходят дни! Давно ли светило здесь полуночное солнце, и лето, казалось, установилось прочно. Теперь по ночам уже спускаются сумерки. И день ото дня они сгущаются с непривычной быстротой. Чувствуется, что лету приходит конец. В последние дни горы стали закрываться по утрам сероватым налетом тонкого инея,— словно занавеска из кисеи подвешена, она спускается почти до самого моря. А в глубине оврагов, где снег за лето так и не стаял, почти не слышно звона струй.

Вчера, возвращаясь ранним утром с работы, заметил на прудике у ручейка тонкую корочку льда. Но все же эта пора здесь считается летом. Не замолк еще шум ручьев, не закончили цветения маки и камнеломки, не встал еще на крылья птичий молодняк. Только похолодание верхних слоев воздуха да уменьшение воды в ручейках служат предвестниками близкой зимы. Она придет неожиданно сразу. Один холодный ветер с севера быстро сожжет малые участки живой растительности, окрасит их в коричневый цвет, а первая вьюга закроет снегами все берега и горы. И сразу наступит зимняя пора.

Наше поселение потеряло вид бивуака переселенцев. Теперь на пригорке стоит почти готовый дом, который режет глаза непривычными здесь сочными красками свежеобтесанного дерева и правильностью форм. Но дом еще пуст. Не готовы печи, не вставлены стекла, не настланы полы. Переселяться в дом не торопимся. Нам с Павлом хорошо и в бараке. Быт наш сложился вполне. Правда, он весьма примитивен, но, право, мы не хотим его усложнять. Мы оба несем по очереди двусуточное дежурство, которое состоит в обязанности приготовить обед, прибрать жилище и вымыть посуду. Последнее действо крайне несложно: грязные тарелки мы вонзаем несколько раз с размаху в смачиваемый волною песок и тем ограничиваемся. Котелок приходится сначала прокипятить с золой. Но мы считаем, что живем вполне культурно: в нашем углу барака есть диванчик из ящиков, закрытый подобием скатерти из распоротого мешка, а на стенах — даже картины, мои этюды.

Культурным наше жилище выглядит, быть может, от сопоставления с соседним помещением вологодских плотников, которые спят вповалку на земляном полу барака, одетые в полушубки, с котомками под головами. Десятнику, собиравшему артель, архангельский подрядчик сказал, что рабочим будет дано все: пища и одежда. В действительности оказалось, что пища — мука и крупа, а одежда — полушубки да поношенные сапоги. Мужики не взяли в дорогу ни постелей, ни теплой одежды, ни мыла; теперь они работают в пиджачках или в полушубках. Плотники уже успели обрасти корою грязи и обовшиветь. Некоторые пытаются варить белье с золой в котле, другие, чтобы избавиться от насекомых, закапывают сменную рубаху в горячую золу, но есть и совсем опустившиеся, в грязи.

1 сентября. Промышленники и плотники переселились в новый дом. Снаружи он выглядит неплохо: большой, с высокими окнами и потолками. Но постройка велась без хозяйского глаза: комната ненужно высока, конопатка плохая, полы одиночные, в потолке щели, из окон дует даже теперь. Что будет зимой?.. Промышленники начинают роптать, особенно женщины.

— На что нам такую хоромину? Дали бы лесу, сами по своему желанью срубили бы домики наславу. За дом с промысла вычет пойдет, а в доме-то жить нельзя.

Бедные женщины как ни бодрятся, но чувствуют себя здесь на чужбине, как пересаженные растения. После хлопот по хозяйству, по вечерам их можно видеть в сборе у берега, на опрокинутой лодке с рукодельем в руках. Бабы все молодые. Но не заводят они обычных в архангельском крае песен, молчат. Даже не судачат. Их песню в первый раз услышал я только сегодня, когда сидел за работой далеко от становища. Возвращаясь на лодке из дальнего конца залива, где собирали бабы плавник, завели они залихватскую частушку, видно по памяти о поездках на сенокос за Двину.

Вчера Анна Матвеевна, принесши в барак заштопанную рубаху Павла, засиделась и рассказала, как решилась уйти с мужем на Новую Землю от малого надела, недоимок и бедности. Спрашивала нас:

— А не обманут и здесь? Сулили богатое житье, всего вдоволь, а провианту не оставили. Пароход запоздает и хлеба не будет.

5 сентября. Сегодня впервые показалась у уреза воды беленькая ниточка ледяного припая. Она еще совсем узка, вьется, как шнурок, по извилинам берега. Это — кристаллики льда, образовавшиеся вблизи ручьев при соединении пресной воды с морской, охлажденной ниже нуля.

Но слабые заморозки еще не губят здешних растений. Остались даже цветущие букеты на оазисах растительности: еще не все успели подготовить семена. Возвращаясь вчера после удачной охоты, я видел в одной долинке множество цветущих маков.

Охотились на оленей. Километрах в пятнадцати от становища нам удалось подкрасться при благоприятном ветре к большому стаду диких оленей. Подползли на расстояние сотни шагов под прикрытием горы Сарычева.

Когда мы выглянули на перевале из-за камней, олени мирно паслись на склоне горы, пощипывая травку и обирая мягкими губами лишайники с камней. Ближе всех ко мне находилась самка с грациозно-неуклюжим теленком. Он терся неотступно у задних ног оленицы, стараясь дотянуться до вымени, но мать отгоняла его легкими ударами копыта. Мы знали по рассказам Усова и по опыту у Мелкой губы о чрезвычайной чуткости оленей. Поэтому, достигнув предела возможности проползти, не обнаружив себя, я залег, чтобы передохнуть, справиться с охотничьим волнением и обождать промышленников, которые крались к оленям со стороны лощины. Было выгоднее, чтобы они первыми открыли стрельбу, тогда олени бросятся прямо на меня. Я лежал неподвижно в течение минут десяти. Стадо мирно паслось. Однако рослый олень с пушистыми большими рогами, державшийся несколько в стороне, внезапно стал беспокоиться. И вдруг, сделав высокий прыжок, он тревожно подбежал к стаду. Видимо — такое поведение было сигналом. Все стадо, мгновенно смешавшись в одно серое пятно, хлынуло к вершине горы. Заметив тревогу, я успел три раза выстрелить из своей берданки и свалил пару оленей. Послышались выстрелы и из лощины. Не прошло и трех минут, как олени скрылись за горой. Охота была закончена. Наша добыча — семь туш.

В мечтаниях об охоте на крупную дичь я никогда не думал, как воспользоваться добычей. В этот раз нам пришлось познакомиться с этой стороной охотничьего дела. Прежде всего нужно было заняться сниманием шкур. Второе — поду-

мать о доставке мяса домой в становище. Мы не могли доставить добычу иначе как на плечах. На каждого охотника приходилось два с третью оленя. Кроме шкур, голов и ног, надлежало доставить за пятнадцать верст по камням и оврагам пудов около двадцати мяса. На первый раз взвалили на плечи половину мяса и побрели. Поход с добычей отнял около семи часов. Мы приплелись к становищу измученными, в пропитанной кровью одежде. Завтра предстоит новое путешествие за остатками мяса и шкур. Зато лакомимся оленьими бифштексами! Раскалив сковородку, жарим один за другим крупные куски оленины и едим их в невиданном количестве.

Часть мяса мы предложили плотникам, но только двое из них решились отведать. Они выглядят очень плохо, у всех слегка опухшие лица. Еще недели две назад обращался ко мне за лекарством из моей походной аптечки печник Степан, жаловался на ноги — распухли, не может ходить. На голенях синие пятна; тело в этих местах твердо, при надавливании пальцем остается на долгое время впадина, как во влажной глине. Десны распухли, кровоточат. Конечно, это настоящая цынга. Вчера пришли с такими же признаками плотники Иннокентий и Иван. Помочь ничем, кроме добрых советов, нельзя. Советую пить кровь, когда удастся застрелить нерпу, и есть побольше оленьего мяса. Однако у пациентов мало веры моим советам. „К такому мясу мы не привычны, такое мясо, по-нашему, поганое. Лекарствия бы настоящего". Не хотят и гулять. Пока люди работали на постройке, находясь в движении на свежем воздухе, здоровье их было несколько лучше. Закончив дом, мужики залегли на нары; некоторые совсем не выходят на воздух. Нет сомнения, что этих цынга заберет раньше других. Только один Василий, горячий охотник, целыми днями ходит, гоняясь за утками, и караулит нерп у берега. Он один выглядит здоровым: румян и весел.

Мы ждали парохода в двадцатых числах сентября. Подходил конец месяца, а его все еще не было. Повалил снег. Залив — в белой рамке берегов. Он совсем преобразился, почернел, и даже небо над ним загустело тяжелой синевой, как грозовое, а вода казалась маслянистой от мелких кристалликов льда — шуги. Ледяной припай охватил широким поясом все берега, у края его с шуршанием трутся мелкие, как галька, круглые, ледяные же катышки. В эту пору птицы еще не улетели, их на взгляд даже больше. Тут весь молодняк уток, пестреньких чистиков в зимней одежде, чаек и гаг. Сторожкие гуси держатся большими стаями посредине залива.

По первому снегу приехал на собаках из Маточкина шара Яков Запасов, самый старый из русских промышленников-новоземельцев.

Запасов попал в первый раз на Новую Землю не на пароходе, а древним путем — на карбасе из устья Печоры. В Пухо-

вой губе, срубив из леса-плавника промысловую избушку, поселился в ней, ловил песцов, бил оленей, медведей и нерп, а летом промышлял гольца. Добычу сдавал на промысловые суда или норвежцам. Но недолго промышленник пользовался свободой. Проведало начальство про охотника, поселившегося на Новой Земле „самовольно". Выселили. Запасов через год снова появился в своем становище. Снова выселили — якобы за спаивание туземцев. И еще раз выселили „за незаконное пользование промысловыми угодьями самоедов", хотя Запасов никогда не промышлял в районах ненецких становищ, но выбирал девственные по охоте места. Отвозя в третий раз самовольного колониста в Архангельск, чиновник конфисковал весь его промысел, карбас и даже винтовку.

Через год настойчивый мужик приехал на Новую Землю из Печоры в „стрельной" лодочке. Долбленую „стрельную" лодочку употребляют здесь для охоты на нерпу по льду, такую лодку свободно волочит за собою один человек, она очень легка и валка.

У Запасова же была лодка, похожая на эскимосский каяк. Он затянул лодочку сшитыми нерпичьими шкурами так, что получилось подобие палубы с отверстием для гребца, поставил мачту и парусок из мешка. Под палубой лежали у него пимы и малица, мешок муки, пуд соли, сухари, анкерок с водой, ружье с припасами, топор, ножик и гарпун. С таким снаряжением, пробираясь вдоль берега, Яков добрался сначала до Вайгача и обошел его с запада. В широком проливе — Карских воротах встретились льды. Запасов пробивался сквозь них две недели, зато убил попути морского зайца и медведицу. Немного подкормился после питания одними сухарями с водой. Так, пробираясь вдоль берега при ветре, пересекая большие заливы в тихую погоду, Яков к концу лета добрался до своей избушки и даже успел запастись на зиму дровами — плавником и рыбой — гольцом. В следующее лето, задолго до прибытия парохода, Запасов, спрятав свой промысел, уехал на Карскую сторону, чтобы снова не выселили. Впрочем, новоземельский чиновник, узнав про подвиг промышленника, проплывшего в стрельной лодочке по бурному морю больше тысячи километров, и рассудив, что человеку в таких условиях трудно будет предъявить обвинение в спаивании опекаемых колонистов, оставил его на этот раз в покое.

Запасову шестой десяток, но седины почти не видно. Взлохмаченная борода. Потрепанная одежонка. Я с уважением смотрел на этого невзрачного на вид человечка. Кроме изумительного рейса к Новой Земле в стрельной лодочке, Запасов много мог бы рассказать про бедствия и приключения, случавшиеся с ним.

Усов передавал нам, как бедствовал зимой Запасов на Карской стороне, когда медведь увел за собой на пловучий лед

собак вместе с санями и провиантом, и Яков остался без продовольствия, с одной винтовкой. Шел он полторы недели к своей избушке, спасаясь в сугробах во время свирепых новоземельских встоков. Полуживого, с отмороженными ногами, подобрали его ненцы у Кармакульского становища. Многое мог бы рассказать Запасов и про опасные встречи с медведями, которых он убил более восьмидесяти, и про свои морские странствования и приключения, но не умеет старик красочно передать всего.

— Погода худая стояла. Я нарту остановил на припае, воткнул хорей через копыл, это — чтобы собаки не убежали. Сам пошел глядеть, нет ли на мысу медвежьего следа. Вернулся к собакам, смотрю — от оказия! — собак-то нету! Один хорей валяется. Взял хорей, пошел по следу. Припай неширокий в ту пору был, скоро окончился, пошли такие торосищи — бе́да, упреешь на них. А лед-то на плаву уже. Прошел еще с полверсты, смотрю — на высоком торосе нарта моя стоит, передок у ней выломан, собак нету: оторвались, убежали со сбруей по медвежьему следу. Пошел дальше, гляжу — полынья, тут след кончается,— видно медведь в воду, а собаки за ним. Пока я обход вокруг полыньи отыскивал, ветер сменился, к берегу пошел. Ну, брат Яков, думаю, поспешай-ка к нарте да вывози ее, нето в открытое море уплывешь. К нарте, значит, я не попал, льдом отжало, и сам только через сутки на припай выбрался. Ну, потом — сам знаешь: без провианту дело плохое; хорошо еще, что песец подвернулся, застрелил его, зажарил на берегу, половину съел, а половину в запас оставил. С тем запасом восемь дней до Кармакула шел. Совсем уже думал, что смерть пришла. Да видишь, до сей поры небо копчу. Дай-ко махорочки,— твоя скуснее!

В начале этого года Яков оказал помощь погибавшему становищу в Мелкой губе. Узнав про бедствия товарищей-промышленников, он помог им провизией, затем вывез по очереди в Маточкин шар двух умиравших от цынги. Один из спасенных остался жив.

Дни шли за днями, а парохода не было. Уже с неделю хлеб для плотников и колонистов пекли из запасов Седова. Кончалась и наша провизия. Бабы начинали голосить: „Завезли нас сюда без провианту, пароход не придет, что будем делать?..“ Но Седов не тревожился,— он человек решительных действий. С большим увлечением обсуждал он план нового путешествия в том случае, если пароход не придет в первых числах октября. Тогда все, не рассчитывавшие здесь зимовать, пойдут на двух карбасах под предводительством Седова вдоль Новой Земли на Печору, а колонистам останется провизия Седова. Нам не пришлось испытать путешествия в открытом карбасе по бурному морю в осеннюю пору. В одно пасмурное утро мы увидели над левым мысом в нашей бухте внезапно поднявшийся

столб дыма. Не успели догадаться, откуда он взялся, как прозвучал отдаленный гудок парохода.

Что за переполох поднялся в нашем становище! Мне не приходилось до этого момента наблюдать одновременного проявления столь бурной радости, охватившей большую группу людей.

Все становище, показалось мне, на несколько минут потеряло рассудок. Плотник Василий, первым услышав гудок, как ошалелый, кинулся в коридор дома с криком: „Пришел, пришел!..“ По дороге он отдавил ногу собаке; та с визгом завертелась на одном месте, на нее налетела другая собака, третья, четвертая, поднялась драка,— лай, визг и вой. Из дома, между тем, выбегали полуодетые люди. Один даже босиком да так и стоял на снегу, не замечая, видно, холода. Другие бросились разнимать собак. Иные кричали „ура“ или перебрасывались радостными восклицаниями.

— Братцы, ребятушки, вынесите меня, христа ради, хоть посмотреть-то! — донесся вдруг крик больного из коридора.

Криками, воем собак, стуком весел, поспешно бросаемых в карбасы, и разрозненными выстрелами был полон воздух.

И вот — снова на палубе „Ольги“. Мы стоим с Седовым у поручней, спокойно наблюдая предотходную суету в бухте и на берегу. Кончается выгрузка провизии и дров. Дрова кидают прямо в воду. У берега из них и досок образовался большой, крепко схваченный морозом вал. Промышленники не очень-то веселы. Провизии им привезли куда меньше обещанного: масла немного, почти нет овощей и совсем нет творогу. Теперь даже Мишка начал терять свой оптимизм. Выпив за раз свою долю водки из привезенной на зимовку четверти, он кричит-куражится:

— Ты думаешь, стану я пять лет ходить в кабале? Поищите других дураков! Вот поживу до весны, посмотрю,— коли будут так же зажимать, уйду. Ей-богу, уйду на карбасе к северу! Ищи-свищи с меня долги. Видели это?

— Миша, Мишенька, брось, не шуми, спать пойдем, начальник услышит, брось, Миша! — тянет за рукав Мишку его маленькая женка, но не может увести.

На следующий день мы были в открытом море. Пересмотрели ворох газет и журналов. Приняли ванну. Спим на мягких койках, под чистыми простынями. Вкушаем за обедом телячью котлетку, изготовленную хорошим поваром. Все это — прекрасные вещи, особенно после долгого перерыва. Но, смакуя блага цивилизации и противопоставляя им жизнь последних двух месяцев, я задумываюсь. Я не знаю, чему отдать предпочтение: этим ли благам, уготованным для немногих, или отказу от них и жизни в пустыне. Припоминаю, как в продолжение целого дня, захваченный ветром, я греб, находясь почти без движения посреди бурного семиверстного залива. Нужно было добраться до

его противоположной стороны, где находились хлеб, теплая одежда и жилище. Чувствуя подъем борьбы, я не хотел сдаваться. Выброшенный вместе с утлой стрельной лодочкой назад к берегу, только отлив свою лодку и выжав одежду, снова пустился в рискованный путь. Помню ощущение безмерной, никогда не испытанной раньше усталости — такой, что ослабшие мускулы непрерывно дрожат,— после девяти десятков верст, пройденных в один поход. Хорошо помню и муку работы на холоде, вызывавшую непроизвольные проклятия и ядовитую мысль: „Какой чорт заставлял тебя впрягаться в эту каторжную работу!“ И, наконец, надоедливые ступени постоянных всюду препятствий на каждом шагу жизни и работы.

Но почему все это теперь представляется менее тяжелым, чем недавно? Воспоминания о прожитом не оставляют боли, но приносят, пожалуй, чувство удовлетворения. Через несколько дней начнется старая жизнь, с привычным укладом. Она не будет наполнена прежним значением. В твою жизнь вступило новое. Жажда борьбы и побед отравит ее в будущем. Вероятно, не раз придет снова навязчивая мысль: „Что заставляет вести борьбу, которая не в твоем характере?“ И вспомнятся новые друзья-зимовщики, простые люди, ведущие суровую борьбу за жизнь на не обжитой человеком дальней и суровой Новой Земле

Полярная лихорадка

Полярный путешественник американец Роберт Пири в одной из своих книг обмолвился фразой, хорошо понятной всем побывавшим на дальнем севере: „Каждый, кто посетил север, заболевает неизлечимо полярной лихорадкой!“

В самом деле,— лето, прожитое на Новой Земле, оставило по себе чувство крепкой связи с севером. Перенесенные лишения, труды и опасные положения нисколько не уменьшили этой связи. Пожалуй, они-то и вспоминались с особенным удовольствием. Наиболее отчетливо стояли в памяти приключения, в которых неожиданно обнаружились новые, собственные качества,— их раньше не было случая полностью выявить: физическая выносливость, способность хорошо ориентироваться, быстрота соображения и решений. Даже некоторые из отрицательных черт (они раньше ничего, кроме неприятностей, не приносили) — упрямство, прямолинейность — для жизни в первобытной стране и между простыми людьми оказались не столь плохими. В самом деле: не объясняется ли „полярная лихорадка“,— спрашивал я себя тогда,— просто жаждой широкого выявления и развития в борьбе с природой севера всего аккорда заложенных в человеке способностей, которым в обстановке комнатной „культурной“ борьбы за жизнь в большом городе нет должного применения?

После лета на Новой Земле захватила меня неотвязная мечта: прожить в полярной стране полный год. Мои новоземельские этюды имели успех на осенней Академической выставке, часть их удалось мне продать; один из этюдов, к великой моей гордости, был даже воспроизведен в широко распространенном тогда журнале „Нива“. Но все же эти успехи не давали ни малейшей надежды на осуществление мечты.

Мои скудные заработки уходили на ученье и содержание семьи. Следующее лето застало меня далеко от севера: я оказался в Западной Манчжурии. Вместо свободных скитаний с ружьем, буссолью и этюдным ящиком,— пришлось пересчитывать ногами шпалы железнодорожного пути, пролегавшего по пустыне Гоби, Хингану и по Сунгарийской долине. Соблазнившись высоким заработком производителя работ (плата за лето

давала возможность кое-как прожить зиму), я шел в течение всего лета с нивелировкой пути между станцией Манчжурия и Харбином.

И у тренога нивелира, и в тесной теплушке вагона Китайской железной дороги, и в маленькой петербургской комнате на Васильевском Острове, я часто ловил себя на мечтах, как буду снаряжаться на зимовку.— Да, весь секрет успеха в хорошем снаряжении!— и, увлекшись, садился за расчеты.

Со своим новым знакомым — Седовым — виделся я довольно часто, заходя в его маленькую, очень скромную квартиру на Конюшенной улице.

Мало-помалу из рассказов узнал я его замечательную биографию. Этот „блестящий офицер“, оказывается, был сыном бедного азовского рыбака. Живя в темной рыбацкой деревне, он рос неграмотным. Только четырнадцати лет, с великим трудом вымолил Седов у родителей позволение ходить в приходскую школу. Отлично окончил ее шестнадцатилетним юношей. Учитель советовал продолжать образование в городе, но отец Седова боялся выпустить сына с глаз. Вместо учения Седову пришлось поступить в „домашнее услужение“ к помещику-генералу, затем приказчиком в бакалейную лавочку другого помещика. Рассказывал Седов, что на службе этой пристрастился он к чтению, хватался за книжку в перерыве между двумя покупателями. Узнал из книг о величине мира, об изумительных странах на севере и юге.

— Учиться бы дальше, изведать всю полноту жизни,— ученому дорога широка!

Когда было Седову восемнадцать лет, разговорился он с одним капитаном, сдававшим в лавке соль. Капитан рассказал, что есть в Ростове-на-Дону мореходные классы, там можно доучиться до капитана. Этот разговор запал глубоко в душу Седова. Вскоре, не известив родителей и хозяина, тайком бежал он в Ростов. Где пешком, где зайцем в товарном поезде добрался до Ростова. Готовясь к экзаменам и весь первый год Седов питался одним черным хлебом.

Весной Седов поступил матросом на пароход, плававший по Черному морю, скопил за лето 150 рублей и на эти деньги учился зимой. Так — по летам зарабатывая деньги тяжелым матросским трудом, а зимой посещая занятия,— Седов окончил мореходные классы. Первое время после учения он долго голодал, не находя места. Когда пришел проситься на службу в Добровольный флот, молодому „штурману дальнего плавания“ сказали: „И на матросскую вакансию вы трехсотый кандидат“.

Наконец нашлось место капитана маленького пароходика, крейсировавшего между портами Черного моря. Седов не удовлетворился своим положением. Из первой же получки отложил он изрядную сумму на покупку книг и учебников. Через год он сдал экзамен на чин прапорщика военного флота и поехал до-

биваться разрешения держать экзамен за полный курс Морского корпуса. Получить такое разрешение было не легко. В царской России правом приема в Морской корпус пользовались исключительно дети дворян. Только после усиленных хлопот молодой прапорщик из крестьян добился нужного разрешения. Успешно сдав экзамены и сделавшись морским офицером, Седов поступил на службу в Гидрографическое Управление и был командирован для съемки берегов Ледовитого океана, производимой пароходом „Пахтусов". Начальник экспедиции генерал Варнек сразу оценил выдающиеся способности Седова: туда, где предполагалось трудно исполнимое дело, посылали Седова.

Во время русско-японской войны Седов был отправлен на Дальний Восток командовать миноноской. После цусимского разгрома он представил дерзкий проект: снарядив эскадру шлюпок, вооруженных минами Уайтхеда, потопить на Симонесекском рейде несколько японских броненосцев. Проект получил утверждение, но не осуществился: был заключен мир. Седов вернулся на службу в Гидрографическое Управление. Большой полярный опыт вынес Седов из экспедиции на реку Колыму. В этом путешествии впервые выявились характерные качества Седова: исключительная настойчивость и хладнокровие в опасные минуты. Невзирая на невозможно трудные условия работы, экспедиция закончилась благополучно. Результатом ее было установление первых пароходных рейсов между Владивостоком и Колымой.

Седов отличался восторженностью во всех проявлениях жизни. Эту же восторженность он вносил и в работу. Он увлекался сам и увлекал других своими делами и планами.

Однажды, в начале 1912 года, встретив меня в передней (мы не виделись перед этим около месяца) и крепко стиснув мне руку, Седов оглушил меня новостью:

— Ура, решено: идем на полюс! Здо́рово? Меня поддержат в печати. В Гидрографическом Управлении обещан отпуск на год. Вчера был у меня один из видных сотрудников „Нового Времени", композитор Иванов, читал свою статью о русской экспедиции к северному полюсу. Много лестных слов обо мне, о моих расчетах и предположениях. Я прошу всего пятьдесят тысяч, чтоб быть скромным. Нам не надо консервированных рябчиков и лососины, обойдемся архангельской тресочкой. Я уверен, эти деньги соберут подпиской, которую откроет „Новое Время". Обещают даже внести законопроект в Государственную Думу,— подумайте! Статья Иванова появится завтра.

— Ну, кричите же ура! Идете со мной? Приглашаю вас первого. Берите и вы отпуск из Академии. Только имейте в виду: без полюса мы не вернемся!

Я никогда не видел Седова таким веселым, как в этот вечер. Когда зашел к нему дней через десять сказать, что добился отпуска и я, узнал про множество неприятностей. Кроме

„Нового Времени", никто не откликается на призыв; официально-исследовательские организации относятся к экспедиции очень сухо, в Думу законопроект внесен, но в то же время образована официальная комиссия для рассмотрения проекта путешествия к полюсу; состав этой комиссии не предвещает ничего доброго.

В самом деле, скоро пришлось услышать еще худшие новости. Комиссия высказалась против проекта Седова. По этой же причине был снят с обсуждения в Думе вопрос об отпуске денег. Подписка шла очень вяло: толстосумы не раскошеливались. В мае, когда я уезжал на летнюю работу невдалеке от Архангельска, дело, казалось, провалилось или, в лучшем случае, затянулось на год.

В июне, приехав на короткое время в Архангельск, встретился я на улице с исследователем крайнего севера геологом Русановым. Этот ученый, сосланный в Архангельскую губернию, впервые попал на Новую Землю в составе французской экспедиции Бенара, потом, организовав небольшую экспедицию на Новую Землю, в губу Крестовую, совершил на маленькой шлюпке замечательное путешествие от губы Крестовой к полуострову Адмиралтейства, а в год моей летовки на Новой Земле обошел на небольшом судне вокруг всего ее Северного острова.

При первом взгляде на Русанова можно было принять его за молодого адвоката или чиновника,— настолько типичны были его городская фигура в широком пальто и мягкой шляпе, его интеллигентская бородка, галстук бабочкой и тросточка. Однако мне были известны похождения Русанова на Новой Земле, изумительные по физической выносливости и крайней нетребовательности. Этот серьезный светловолосый человек успел показать себя настоящим полярником.

Остановившись где-то на углу, я и Русанов говорили всего минут десять. Узнал я от Русанова, что дела Седова, повидимому, совсем плохи, настолько, что в Архангельске получено приказание продавать закупленные для экспедиции меха и сухари.

Я не мог скрыть тяжелого впечатления от этих новостей. Вероятно поэтому Русанов стал говорить о том, что предприятие Седова вообще было осуждено на гибель даже в том случае, если бы и удалось ему найти деньги на путешествие. Затем Русанов сообщил, что он получил значительную сумму для организации экспедиции на Шпицберген, цель ее — сделать заявки на каменный уголь. Уже нанято судно „Геркулес", приглашен капитан, молодой моряк Кучин, бывший участник экспедиции Амундсена к южному полюсу. И тут же Русанов предложил мне принять участие в этой экспедиции, она отправлялась через неделю.

— Мы, вероятно, зазимуем. Кроме поисков угля на Шпицбергене, если повезет найти сразу уголь, и останется время, мы сходим кое-куда в интересные места, там будем, вероятно, зимовать.

— Куда?

— Приходите вечером, обдумав мое предложение. Если вы согласны, тогда расскажу о своих планах. А для посторонних пока секрет.

Мы условились встретиться в тот же вечер в восемь часов на квартире у Русанова. По дороге я обдумывал предложение Русанова со всех сторон. Журавль в небе — полюс, а синица в руках — Шпицберген... Не будет ли в самом деле благоразумным решением принять предложение Русанова?..

Дома я нашел телеграмму, принесенную час назад:

„Выезжайте немедленно в Петербург для закупки снаряжения экспедиция отправляется в конце июля. Седов".

В час, назначенный для свидания с Русановым, я был уже в вагоне, попути в Петербург.*

---

* Как известно, экспедиция Русанова погибла в полном составе во время попытки пройти по Северному морскому пути в том же 1912 году. Только в 1934 году были найдены первые ее следы на берегах островов Харитона Лаптева.

Экспедиция к Северному полюсу 1912 года

У двухэтажного деревянного домика на набережной архангельского пригорода Соломбалы какое-то оживление, редкое для этого глухого предместья. На Двине, под самым берегом, как раз против домика стоит парусно-паровое морское судно необычного вида. У него две высокие мачты, одна из них с бочкой на стеньге, на баке — две пушки. Во всю ширину капитанского мостика четкая надпись: „Св. мученик Фока".

Судно стоит здесь целый месяц, но сейчас ожившая вокруг судна суета знаменует, что близится отплытие; идет последняя погрузка.

Судно везет большую полярную экспедицию. Члены ее все на мостике и на палубе, нехватает только Седова. Он задержался где-то на берегу с поставщиками. Наконец у ворот показался Седов в белом кителе. Он рысцой направляется к судну и легко прыгает на палубу. Как всегда, Седов приподнято-бодр и весел, хотя две последние сумбурные недели совсем согнали с его лица живую краску, оно побледнело и исхудало. Взойдя на мостик и став сразу серьезным, он берется за проволоку гудка и тянет ее книзу.

С сипением и хрипом застоявшегося пара вырывается протяжный рев старого зверобойного судна. Седов морщится, обнажая белые зубы, отпускает проволоку и, словно смакуя возможность отдать первую команду, во всю полноту груди, сочным голосом отчеканивает слова морского приказа:

— А-а-а-тдать носовые!

Звон машинного телеграфа; под кормой в водоворотах буро-желтая пена, грязь и гнилые щепки тронулись с места. Идем к последней стоянке, к городской пристани за пресной водой, а завтра — прощай Архангельск! — начнется наш путь к Земле Франца-Иосифа, там будет зимовка на базе первой русской экспедиции к северному полюсу.

Ясно, до мелочей, припоминаю наше томление в ожидании начала экспедиции: отплытие откладывалось то на неделю, то на два дня, то снова на неопределенное время. Никогда не ощущали мы так сильно всю тяжесть невежества, косности и тупого, непроходимого бюрократизма царской России, как в дни

перед уходом экспедиции к северному полюсу. Все было против нее: правительство, официальные исследовательские учреждения, военно-морские круги, для которых организатор экспедиции был дерзким „выскочкой из крестьян“, и даже пресса. Ежечасно встречали мы множество препятствий, особенно же извели нас мытарства, которые пришлось претерпеть, чтобы получить разрешение на выход экспедиции. Никто из нас не предполагал, что надо преодолеть такие сложные формальности.

Таможня заставила нас пройти такую сложную процедуру перед отходом, какую проходили только суда, отправлявшиеся за границу: требовала документы на все предметы иностранного происхождения, прибывшие из-за границы, снаряжение облагала изумительными пошлинами, так: на траву „сенегресс“ для обуви исчислила налог, как на лекарственные травы, а полярные сани подвела под тот параграф о налогах, в котором значились роскошные кареты и экипажи. Управление порта не выпускало „Фоку“ без каких-то документов, хотя он раньше плавал без них много лет (этих бумаг на борту его никогда не бывало), и никак не соглашалось с возможностью разрешить „Фоке“ отправиться в местность, где нет порта, зарегистрированного в официальном списке: „Укажите порт назначения,— иначе не выпустим“. Требовали снять часть груза: „Осадка судна,— говорили,— слишком велика“,— но не соглашались убавить нормы запасов пресной воды. Требовали: „Сгрузите провизию: у вас ее излишки против нормы“. Заставили Седова набрать комплект команды, как для пассажирского океанского парохода. Предъявляли к оплате какие-то акцизные сборы. Доходило дело до свидетельств о политической благонадежности.

Кроме хождения по мукам канцелярских измышлений, приходилось нам штопать прорехи спешного снаряжения. В последние минуты нужно было доставать кислую капусту и хрен, закупать собак, гвозди, олово, пистоны для ружей, фуфайки, башлыки и перчатки, брезент, бензин и тросы, сухари и шоколад. Мы все осунулись от непрестанной хлопотливой беготни.

Но не эти мытарства и хлопоты измучили всех. Впоследствии, при снаряжении различных экспедиций мне всегда приходилось встречать множество затруднений, но в большинстве они легко преодолевались в атмосфере сочувствия. В этот раз сговориться с людьми было трудно, особенно с чиновниками. Всюду нас преследовали хула, косые взгляды и явное недоброжелательство. Газеты провожали первую экспедицию к полюсу не очень-то добрыми пожеланиями. „Речь“, например, так напутствовала нас: „Нет, господа, на старом дребезжащем „Фоке“ недалеко уедете...“

Мы хорошо знали причину этого злопыхательства. Предприятие Седова неожиданно сделалось событием политическим. Безудержно травили седовскую затею и московские, и петербургские, и провинциальные газеты; даже местные бездарные „Ар-

хангельские губернские ведомости“ относились к экспедиции скептически и суховато.

Последствия травли мы ощущали ежеминутно: в недостатках денег, в крючкотворстве чиновников и в уговорах знакомых „бросить это дело“. Когда заходили в лавку грамотного купца купить гвоздей, слыхали не раз насмешки:

— Поздненько, поздненько собрались, молодчики, гвозди-то покупать. Вот говорят, что немец Нансён за два года гвозди для экспедиции заказывать начал, а вы за два дня спохватились, да еще говорите, что дорого.

В один из последних дней в Архангельске мой товарищ по экспедиции, молодой географ Визе, бросая на стол газету со статьей, наполненной злобными насмешками по нашему адресу, сказал:

— Почитайте-ка! Каждый день такие штучки. Право, я начинаю чувствовать себя виновным в чем-то,— все судачат о нас, как о преступниках. Расшевелили болото. Но в чем мы виноваты? Разве заниматься исследованием севера такое преступное дело? Нехватает только, чтоб нас совсем не пустили.

Можно представить, какую радость чувствовали все, когда „Фока“ отвалил от домика в Соломбале.

— Завтра, завтра окончатся российские мытарства, мы поплывем свободными к широкому морю в незнаемые края!

Но и этот день был омрачен. Переход „Фоки“ к городской пристани послужил поводом для враждебной демонстрации.



„Св. Фока“ во льдах

Наш корабль подошел к пристани только часа через три. Тихоход „Фока“ с трудом преодолевал течение реки, усиленное начавшимся отливом. Мы ползли со скоростью двух километров в час. Когда судно добралось, наконец, до города, на набережной собралась сотня или полторы зевак. Глазея на приближение тяжело загруженного корабля, они на разные лады громко острили:

— Эх, полярные путешественники! Им до Белого моря в три месяца не доплыть!

— А что им не плыть-то? Жалованье, говорят, вперед за год получили; поплавают недельки две да и вернутся. Стрикулисты!

— Гляди-гляди, развалится ваша корзина!

— Господа, смотрите, ледовито-океанский пакетбот! Прямой рейс к северному полюсу! Платы не берут, сами платят!

— Им не к полюсу гулять, а в полагуньях из-за Двины молоко на базар возить.

— Не довезут. Прокиснет, пока до берега дойдет!

На борту „Фоки“ царило угрюмое молчание. Я видел, как крепко были сжаты губы Седова, только два больших желвака ходили по его крепким челюстям. Седов с высоко поднятой головой, стоя за рулем, правил в самую тесноту между судами, никого не прося подвинуться, и ловко стал у пристани, хотя изрядно толкнул ее, даже кранец сломился.

Но, поблестев глазами и не сказав ни слова, как только судно было причалено, Седов ушел в каюту.

Нужно сказать правду: эта выходка архангельских бездельников оказалась только эпизодом. Несмотря на всю травлю, широкие массы в Архангельске отнеслись к нам иначе. На следующий день, 27 августа, при отвале „Фоки“ мы услышали много хороших пожеланий и приветов. Архангельцы устроили экспедиции торжественные проводы. Играла музыка, говорились речи, трещал кинематограф, нас снимали со всех сторон.

Много раз потом в тесной, еле освещенной каюте вспоминалось это прелестное августовское утро, яркость и пестрота одежд на берегу, тысячи блестящих глаз, лес трепещущих рук со шляпами, платками и зонтиками, могучая Двина, пестрые группы людей по ее берегам, флотилии катеров, лодок и моторов, как стая мошек, носившихся вокруг „Фоки“, какое-то поморское судно, усердно салютовавшее из своей пушчонки до тех пор, пока она не разорвалась.

Мы уже плыли вдоль низменных берегов Двины с редкими строениями и лесопильными заводами, а с берегов все еще доносились приветы! Я помню — за последним пригородом — мы видели на берегу кучу ребят; они так старательно кричали нам, махая чем-то похожим на простыню! Седов ответил им гудком.

В устье Северной Двины, после бара — мелкого места при впадении реки в море, наш корабль остановился для догрузки.

Полный груз „Фока“ не мог взять в Архангельске: корабль не прошел бы по мелким местам.

К утру 28-го все было готово. Наступил долго откладывавшийся момент прощанья с близкими. Ушли пароход и баржи, привезшие груз на пароход. Уехали все провожавшие нас. Мы остались одни. Последняя нить — и та перерезана!

Тихим ходом двинулся „Фока“ на север. Белое море было спокойно, как озеро. Мы плыли очень медленно: без парусов скорость „Фоки“ всего четыре мили в час. Такая погода длилась только сутки. На следующий же день, едва мы вошли в узкое место — „горло“ Белого моря, подул навстречу свежий северный ветер. Мы скоро познали истину: при четырех узлах хода „Фоке“ трудно будет бороться с противными ветрами. Наш корабль сразу потерял ход и даже перестал слушаться руля.

Эта часть Белого моря имеет худую славу среди страдающих морской болезнью. Даже в тихую погоду здесь вечная зыбь — „сувой“, образующаяся от встречи различных течений. „Фоку“ этим „сувоем“ швыряло очень неприятно для некоторых новых „моряков“.

Вообще этот день принес множество неприятностей. Для парохода, груженого нормально, качка в горле Белого моря, конечно, не представляет никакой опасности. Но для „Фоки“, перегруженного сверх всякой меры,— с грудами бревен, собачьих клеток и ящиков на палубе, перескакивание волн через нее было совсем не безразлично. Между тем ветер крепчал. По мере усиления его пришлось убрать все паруса, немного помогавшие ходу и сдерживавшие качку. С одним штормовым стакселем мы пытались ломаными курсами двигаться вперед, но из наших маневров ничего, кроме траты угля, не получалось; мы поняли, что будет разумнее поискать, нет ли поблизости места, где можно переждать начавшийся шторм. Укрылись в первом попавшемся заливчике под Тремя Островами, чтобы справиться с целой кучей неприятных сюрпризов: сильные удары волн повыбивали конопатку из рассохшегося борта, из разбитой бочки вытекло машинное масло, которое, смешавшись с трюмным мусором, засорило паровую помпу, и в трюме сразу скопилось на 40 дюймов воды. Пришлось откачивать ее ручными насосами, чтоб не залило топки и не потопило вконец механиков.

Стоянка у Трех Островов оказалась неспокойной. Едва ветер немного затих, Седов счел за лучшее перейти к Городецкому маяку и уже там заняться чисткой помп и врачеванием изъянов „Фоки“. Все это отняло два дня. Только к вечеру 1 сентября мы покинули, наконец, последний родной берег и взяли курс к Новой Земле.

Быстро наладился обиход жизни внутри корабля. Только палуба никак не воспринимала облика обыкновенного парусного судна. Бревна построек, собачьи клетки по бортам, на спардеке в художественном беспорядке нарты, каяки, лыжи и

ящики с метеорологическими будками,— все это перепутано тросами и стянуто цепями. Не прекращались вой и лай собак в дурно пахнущих клетках. Штурман „Фоки“ Сахаров неодобрительно покачивал головой и ворчал: „В жизни не видал такого судна. Сущий Ноев ковчег, да и пассажиров-то — двенадцать пар чистых и сорок нечистых“.

Мало-помалу мы начинали знакомиться с кораблем и новыми товарищами. „Фока“ — старое деревянное судно из дуба, необычайно крепкое, с двумя наружными обшивками и одной внутренней. Он был построен в Норвегии для звериного промысла во льдах; поэтому винт „Фоки“ помещен глубоко под водой, а нос и корма бронированы котельным железом. За долгие годы промыслов трюмы „Фоки“ насквозь пропитались ворванью. К сожалению, мы получили это прекрасное полярное судно в полном беспорядке: с незаделанной течью в корме и правом борту и многими другими недостатками, которые легко бы исправить,— будь на это время.

Наша экспедиция при отплытии делилась на две категории людей: команда „Фоки“ и участники экспедиции к северному полюсу. Но это деление было заметным только в первые дни. В дальнейшем вступило в силу другое подразделение: людей, живших в кубрике или команды, и — живших в каютах на положении командного состава.

В кубрике помещались: два матроса — Шестаков и Катарин, два кочегара — Коршунов и Кузнецов, судовой плотник Карзин и шесть младших сотрудников экспедиции: Лебедев, бывший сельский учитель, ученик лоцманского училища Шура Пустошный, бывший золотоискатель и каюр Линник, матрос военного флота Юган Томиссар, плотник Коноплев и печник Инютин. В кубрике же ночевали буфетчик Кизино и повар Пищухин.

Помещение это, довольно просторное и теплое, все же трудно было назвать удобным и пригодным для людей во время зимовки. В кубрике было душно, отсутствовала вентиляция, мало было света. Лучше были каюты в кормовой части, где жил командный состав экспедиции.

В командный состав на „Фоке“ входили: Седов, капитан Захаров, штурман Сахаров (Максимыч), два молодых ученых — гидро-метеоролог Визе и геолог Павлов. Я — в качестве художника, фотографа и кинооператора, два механика-эстонца братья Иван и Мартын Зандеры и ветеринарный врач Кушаков.

Из всех бывших на борту „Фоки“ людей прежде знакомыми между собой были только Седов — со мной и со своими младшими сотрудниками по экспедиции в Крестовую губу Томиссаром, Кизино и Пищухиным и — Визе с Павловым. Остальные сошлись впервые в Архангельске.

В эти первые дни мы начинали близко узнавать друг друга. Ничто не выявляет людей так хорошо и быстро, как совместное плавание или путешествие,— это знают все полярники.



Берег Новой Земли

5 сентября погода резко изменилась. Поднялся встречный пронзительный ветер со снегом и крупой. Мы были в это время недалеко от Новой Земли, но еще не видели ее берегов. Под утро, когда ветер еще покрепчал, Седов изменил курс, направив „Фоку“ прямо к берегу Новой Земли. Через полчаса открылись очертания ее характерных гор — острые хребты с косыми полосами снега от вершин.

Повернули было к северу вдоль берега, но ветер не позволил итти в этом направлении. Он мог унести нас куда угодно, только не на север. Седов решил переждать неблагоприятную погоду в одной из бухт южной части Новой Земли. Поэтому мы повернули на юг и пошли вдоль берега, высматривая бухточку, где можно было бы спрятаться. Однако до самой Белушьей губы не нашлось ни одного берегового изгиба, который мог бы послужить безопасной стоянкой. Только под вечер мы дошли до Белушьей губы и стали против ненецкого становища. В шлюпку, отправившуюся на берег, набралось много охотников осмотреть становище: никто, кроме Седова, не бывал еще в этой части Новой Земли.

Становище стояло без хозяев,— все уехали на промысел гольца в соседнюю губу. Мы нашли только одного ненца с женой и несколькими невероятно грязными ребятишками.

После недолгого разговора с промышленником мы вышли осмотреть окрестности становища. Пустынная голая земля. Низкие части — без снега.

Мы переходили с озерка на озерко и пробовали свои новые ружья, стреляя в бесчисленные стайки куличков-песочников и по пролетавшим уткам. Вернулись на корабль к четырем часам утра, проходив всю, здесь еще светлую, ночь. К утру 6 сентября разошлись облака, ветер стих, затем переменился на попутный. В полдень, когда я проснулся, мы шли под всеми парусами в виду Новой Земли.

Под вечер того же дня мы обратили внимание на странное облачко, неподвижно висевшее на одной из белых вершин в горной цепи Новой Земли. Темнело. Облачко попрежнему не сходило с места. Уходя с вахты, Седов отдал приказание приготовиться к перемене погоды и крепче задраить люки. Облачко предвещало беспощадный „сток“.

Ветер начался с утра. Как всегда при „стоке“, небо сначала было безоблачно, только по вершинам гор, как неподвижные лоскуты ваты, повисли язычками облака. Море уже закипало, подымались вихри водяной пыли, и скользили над самой водой откуда-то внезапно появившиеся буревестники. Волнения еще не было. Вышедший на мостик Седов сделался сразу серьезным и приказал убрать все верхние паруса. Ветер свирепел с каждой минутой. Через час невысокие, но частые волны неожиданно слизнули одну из шлюпок и заодно разбили собачью клетку на палубе. Одна из собак погибла. До поры, до времени „сток“ был

почти попутным для нас. Правда, после часа дня он сорвал передний кливер, немного позже оборвал фал у бизань-паруса, но чего-либо особо страшного еще не было. Мы неслись одиннадцатиузловым ходом.

К ночи „вслок" дошел до степени бури. Барометр быстро падал. Как бешеное, неслось наше судно куда-то на север. Буря отрывала корабль от берегов Новой Земли на простор крупной волны, столь для нас опасной. О правильном курсе не могло быть и речи: мы просто держали круто к ветру — в бейдевинд. Оставшиеся два паруса наполнялись ветром до чрезвычайности. Казалось, достаточно было коснуться толстой брезентовой ткани, чтоб она лопнула, как надутый газом шар.

Жутка буря в далеком, пустынном море. Небо затянулось, лишь только удалились мы от берегов, тяжелые низкие облака побежали студенистыми обрывками. Море вспенено зеленой мутью, волны не успевают ронять белые верхушки, ветер рвет их и несет брызгами и пылью. Эта водяная пыль хлещет злым горизонтальным дождем, слепит глаза и туманит горизонт. Удары волн, какое-то шипение, разноголосый плач снастей, унылый визг в вантах, скрипение и треск в остове корабля. Вечером легли в дрейф. Поздней ночью, когда Седов сошел с мостика,



Каюта Г. Я. Седова

оставив там капитана, я после двойной вахты тоже спустился в каюту взять папирос и согреться. Прислушиваясь к вою ветра в снастях, к ударам волн и звону посуды в буфете рядом, я незаметно задремал. Не успели глаза закрыться вполне, ужасный размах судна повалил меня. Грохот раздался под самым ухом,— что-то тяжелое било в борт.

— Что случилось?— спросил я, взбежав на мостик, у рулевого Лебедева, но еще до ответа увидел, что шлюпка, заваленная на шлюпбалках спардека выше шести метров от ватерлинии, сорвана, исковеркана и, повиснув на конце ободранной железной обшивки киля, бьется о корму „Фоки".

— Подошла громадная волна,— сказал, отплевываясь, Лебедев,— накрыла с верхом мостик. Меня оторвала от рулевого колеса, еле уцепился у самого борта.

— Где же капитан?

— Они еще раньше сошли к себе в каюту.

— А шлюпка?

— Какая?

Тут только Лебедев заметил, что шлюпки нет. Остановили машину и очистили борт. Вторая наша шлюпка уплыла, ныряя по волнам.

Берег был далеко. Буря, почти ураган, свирепствовала, не ослабевая. Мы находились на широте 75 градуса. Боясь встречи с какой-нибудь бродячей льдиной, Седов изменил курс,— мы понеслись на юго-восток.

Ночью буря не утихла. Когда начался рассвет, оказалось, что мы опять приблизились к Новой Земле. Направились под берег,— было необходимо укрыться от волнения. В трюме опять не все благополучно: выскочили кое-где крепления груза, он потерял неподвижность, внутри корпуса что-то било в борта. Помпы опять засорились, и вода в трюме стояла высоко. Волны грозили разломать баркас на палубе и смыть весь палубный груз.

В это время „Фока" находился недалеко от Сухого Носа. Этот мыс длинной саблей выдвигается в море и окружен рифами. Чтоб добраться до берега при таком ветре, необходимо было или пройти вблизи самого мыса, или же совсем упустить случай скрыться от бури. Только в те недолгие минуты, когда „Фока" пролетал в полветра около самых подводных скал,— они были всего в какой-нибудь сотне метров от нас,— поняли мы, чем рисковали в случае ошибки рулевого.

Седов стоял у штурвала, впившись глазами в скалы. Знаками показывая рулевому курс, он сам задерживал ручку румпеля.

— Право! Еще право! Так держать!

— Стоп!

Все облегченно вздохнули, когда взяли за грунт оба якоря. „Фока", закрытый от ветра берегом, оказался почти в безопасности.

У Сухого Носа мы простояли около суток. Ветер затих. Мы вышли из невольной гавани. Седов решил зайти в Кресто-

вую губу, чтобы списать на берег лишних людей из команды, сделать заодно запас пресной воды и послать домой последнюю почту.

Первую остановку в Крестовой губе мы сделали у места, где было становище Седова в 1910 году, близ креста, указывающего место астрономического пункта. Седов не хотел упустить возможности сверить наши хронометры, опасаясь, что длительная качка могла повлиять на правильность их хода.

Пока производились астрономические наблюдения, необходимые для получения поправки хронометров, несколько человек отправилось сухим путем, хорошо знакомым мне, в колонию Крестовой губы.

Картина полной зимы предстала перед нами, едва лишь мы съехали на берег. Все семь километров до колонии мы брели по колено в снегу, часто проваливаясь в глубокие сугробы. Я вел спутников хорошо знакомыми местами. Становище сильно изменилось за два года. Вместо сиротливо стоявшего большого дома — в самом деле что-то похожее на хутор-колонию. Два больших дома, баня, амбары, метеорологическая будка и часовня. На берегу — шлюпки, карбасы, „стрельные“ лодочки, груды бочек, сетей, весел и дров вперемежку с обглоданными остовами тюленей — „рауком“.

На оглушительный лай собак вышли мои старые знакомые Усов и Долгобородов. В колонии из первоначального состава осталось только три семьи. В первую же зимовку становище посетила цынга, унесла двух жен поселенцев и двоих детей. Спешно выстроенный дом оказался почти непригодным для жилья; несчастные охотники согревались и спали в палатке, поставленной посреди высокой комнаты с огромными окнами, какую и в более южных местностях не легко натопить.

Чиновники, затеявшие колонию, поняли, что дело колонизации насаждать не так просто, как написать докладную записку. Кое-что было исправлено, выстроили новый дом, отнеслись тщательнее к выбору провизии,— вторая зимовка прошла более благополучно. Но... колония выглядела хилой: вот-вот распадется, или же русских заменят ненцы.

Спустя час подошел к становищу и „Фока“. Стал на якорь очень неудачно,— ветром прибило к мели.

На следующий день мы при помощи колонистов снялись с мели, а еще через день, наполнив водой цистерны и ссадив на берег излишних людей, вышли в море.

К Земле Франца-Иосифа

Мы были уже в полярной стране. Начало сентября, но уже не похоже было, чтобы теплые дни могли возвратиться. Только крупные камни остались не занесенными снегом. Птицы летели на юг. Береговой припай нарастал. Нужно было торопиться.

12 сентября, распрощавшись с последним населенным клочком земли, поплыли дальше. Едва мы вышли, утихшая было буря взревела вновь: не успели даже выйти из губы. Пришлось укрыться под островком при выходе из залива.

Летом на этом островке водится много птиц. Но в это позднее время птицы уже улетели. Наша охотничья шлюпка вернулась ни с чем. Одни чайки-бургомистры, подобно белым призракам, скользили над темной водой, да чистики ныряли посредине залива. 13 сентября ветер ослабел. Ранним утром мы покинули скучную стоянку и, обогнув мыс Прокофьева, мимо пояса кипящих бурунов поплыли на север вдоль Новой Земли.

Панорамы, одна другой сказочнее, открываются перед путешественником, попавшим в эти места. Соседняя с Крестовой — Сульменева губа. В северной части ее находится первый полярного типа ледник, достигающий моря. Далее к северу все чаще значительные пространства заливов заняты рваными стенами льда таких же ледников. Мысы и прибрежные горы высятся отдельными отграниченными громадами, горные же цепи в глубине острова рисуются мягкой волнистой линией с редкими нарушениями ее какой-нибудь высокой горой, подобной гигантской сахарной голове. Еще дальше к северу эта волнистая линия становится все покойнее, глаже, изгибы ее плавней.

Около полуострова Адмиралтейства внутренняя горная цепь Новой Земли кажется плоскогорьем, занесенным снегом. Но это плоскогорье — не земля, а могучий ледяной покров, овладевший землей, облегший все горы ее, мощный, всепогребающий. Жутко глядеть на это царство льда.

14 сентября встретили мы в море первый пловучий лед. Некоторые признаки еще накануне указывали на его близость: частые полосы тумана, большое количество чистиков, эскадры синих айсбергов, откуда-то взявшихся, и резкое падение температуры воды. Ранним утром небо на севере забелело. К по-

лудню, близ острова Вильяма, „Фока“ пересек полосу мелкого разносного льда. Между островами Вильяма и Горбовыми льда под берегом не было. Мы без задержки подошли к Северному Крестовому острову, пустынному и низменному, но за островом открытая вода кончалась. С наблюдательной бочки на мачте виднелся один лед без конца. Только самый берег Новой Земли окаймлялся, как каналом, узкой полоской воды. Куда итти? По этому каналу на север или же на запад, огибая льды?

Большинством плававших до нас к Земле Франца-Иосифа не рекомендовался путь вблизи Новой Земли: все они находили более проходимый лед значительно западнее, около 45—46 меридиана. Г. Я. Седов решил попытать,— не будет ли в самом деле состояние льдов более благоприятным на западе.

Вот что занесено в мой дневник о первых днях во льду:

„Весь день 15 сентября шли „о кромку льда“ прямо на запад. Ночью кромка стала очень круто и неприятно заворачивать на юг. Взяли курс на север и вошли в лед. До следующего утра двигались хорошо. Лед встречался очень разреженный „парусный“, легко проходимый. Рассвет застал нас далеко от чистого моря. Утром, уже во льдах, прошли полосу воды прекрасного синего цвета. Такие же струи встречались нам несколько раз у Новой Земли,— они так не походят на обыкновенную мутно-зеленую окраску здешнего моря. Несомненно, эта вода — одна из дальних ветвей Гольфштрема, хотя местонахождение ее не согласовалось с известной нам картой течений, изданной по работам Мурманской научно-промысловой экспедиции.

Если смотреть на лед с мостика, кажется, будто кто-то начеркал чернилами линии по всем направлениям и понаставил клякс на перекрестках. Линии — это каналы, а кляксы чернильной воды — полыньи. Из наблюдательной бочки — белая площадь расширяется, но получает еще больше сходства с испачканной бумагой.

Вид — мало утешителен: на севере и востоке одинаково светлое „ледяное небо“, а на западе и северо-западе — малые клочки синих пятен „водяного неба“ — отражения далеких полыней и каналов.

Целый день шли зигзагами по направлению на СЗ. Вечером пришлось остановиться: в сумерках здешней ночи становится уже трудно ориентироваться. Прикрепились к льдине „ледяным якорем“ и заночевали.

Золотым отблеском согреты сумерки. Контраст яркого неба и лиловых листьев льда на тепло-зеленом море поразителен. Некоторые причудливо изваянные льдины иногда останавливают взгляд и днем, а теперь, в сумерках, глыбы кажутся порождениями больной фантазии, ознобным бредом скульптора. И ничего — кроме льда, неба, моря и воздуха, прозрачного, как роса. Ни чаек, к которым уже успели привыкнуть, ни даже тюленей.

Изредка лед приходит в движение, с тихим шуршанием наползают льдины одна на другую,— даже такое движение кажется странным в этом омертвелом море.

Утром 16 сентября, когда я поднялся на мостик сменить Павлова, увидели, что „Фока" вмерз посреди полыньи во вновь образовавшийся молодой лед. Кругом —ни клочка воды. Нужно было видеть наши вытянутые физиономии! Тронулись в путь, прорезая лед, как на ледоколе. Немного погодя подул ветер, замерзшие каналы и полыньи стали очищаться, а мы подняли паруса. Но паруса — плохие помощники во льдах такого свойства,— двигались мы очень плохо.

Лед сильно изменился, характер его совсем не тот. Похоже, что это лед не Баренцова моря, а какой-то иной, вероятнее всего, принесенный из полюсного бассейна. Льдины покрыты сугробами нетаявшего снега, морские волны едва ли касались их непорочной белизны. Все выглядело достаточно угрожающе. Может быть, нам следовало еще с утра повернуть обратно и попытаться пробиться на север где-нибудь в другом месте, но не хотелось отступать, пока с наблюдательной бочки виднелись каналы. Через несколько часов и эти последние полосы воды стали выклиниваться. Седов поднялся на бочку.

— Тут надо собак запрягать, ехать на санях, а не на пароходе!

Мы повернули на юг.

Вскоре после нашей неудачи, словно затем, чтобы поднять упавшее настроение, судьба послала нам развлечение: первую охоту на белого медведя.

Впоследствии мне много раз приходилось участвовать в своеобразной охоте на белого медведя с борта корабля. Охота такого рода в сущности не что иное, как расстрел зверя, не сознающего грозящей ему беды.

„Фока" выбрался из тесного льда и пробивался уже широкими каналами между крупных ледяных полей с отдельными высокими торосами. На одном из них увидели медведя — шагах в пятистах от судна. Огромный белый медведь забрался на самую вершину тороса. Покачиваясь и важно поворачивая голову на длинной шее, он старательно тянул ноздрями воздух. Четверо выскочили с винтовками: Седов, Кушаков, штурман и я. Медведь не обнаруживал боязни, мы решили выждать, не стреляя, пока судно не подойдет ближе. Кроме Седова, никто еще из державших винтовки не имел еще дела с медведями,— немудрено, что стрелков трепала жестокая охотничья лихорадка; когда, наконец, кто-то не выдержал, выстрелы посыпались горохом.

Медведь стоял совершенно спокойно. Он только с еще бо́льшим недоумением продолжал рассматривать странный предмет, повстречавшийся ему на пловучем льду, и с удивлением поворачивал голову за мимо летевшими пулями.

После десятка выстрелов кто-то, видно, поймал трясущуюся мушку: медведь как будто осел. Однако, быстро оправившись, он забрался по торосу еще выше. Спустя минуту, к величайшему нашему торжеству, получив еще пулю, зверь свалился и остался лежать без движения. Разгорячившиеся охотники продолжали стрелять.

— Будет, не стреляйте, он убит, шкуру испортим,— закричал Седов и в одну минуту с веревкой в руках по штормтрапу спустился на первую попавшуюся льдину. Штурман, бросив винтовку, последовал за Седовым.

Я собрался было кинематографировать всю эту суматоху, но, бросив вслед убегающим взгляд, понял, что кинематографировать, пожалуй, не вполне своевременно и просто: „убитый“ медведь удирал. Седов и штурман, убежав с пустыми руками, теперь то приближались, то быстро отскакивали от медведя. Казалось, каждую минуту могло случиться нечто, меняющее их положение. Во всяком случае уже в тот момент было трудно разобрать, кто за кем охотится.

В магазине моей винтовки оставалась еще пара патронов. Отставив кинематограф и спрыгнув за борт, я побежал, что было мочи, на выручку. Провалившись несколько раз сквозь рыхлый лед, я, мокрый по пояс, догнал наконец безоружных охотников.

Положение их несколько улучшилось,— медведь бросился в воду и плавал в канале. Иногда он, свирепо рыча, направлялся к нашим охотникам; тогда Седов бросал в него конец веревки, и медведь с злым шипением отплывал. Я собирался уже разрядить ружье в его треугольную голову,— Седов закричал мне:

— Снимите его, снимите же этого чорта!

Правда, со мной был карманный аппарат, а медведь выглядел так великолепно! Когда, оскалив зубы, он поворачивался к нам и высоко высовывал из воды длинную, могучую шею, он казался чудовищным,— медведи, виденные в зоологических садах, были не что иное, как котята, пред таким экземпляром.

За время, пока я вынимал аппарат из футляра, снимал и опять прятал, медведь видимо пришел к заключению, что тут слишком много народу, и отплыл от нас. Я удосужился взяться за винтовку и выстрелить, когда он уплыл уже шагов на пятьдесят. Пуля ударила ему в шею, но не остановила. Он только тише поплыл. Я выстрелил еще раз, но промахнулся. Но первая пуля, видимо, убила медведя: его движения становились медленнее, он доплыл до небольшой льдины и скрылся за ней. Седов и штурман подбежали к этому месту, но за льдиной зверя не было. Куда он исчез,— нырнул ли под лед и не мог выбраться, или просто потонул,— для нас осталось загадкой. Увы! Веревка сиротливо волочилась по льду при нашем возвращении, а торопливый снимок медведя оказался смазанным.

Весь день 17 сентября продолжаем итти к югу. Встретили еще одного медведя, и опять результат охоты плачевен. Седов

подстрелил медведя, но этого крепкого зверя не так-то легко убить с одного выстрела. Мишка, оставляя красный след, принялся улепетывать. Нам следовало бы несколькими залпами если не убить, то хоть ранить его посильнее. Но один „опытный зверобой“ так горячо просил умерить охотничий пыл и говорил с таким жаром: „Подождите, подойдем ближе и, клянусь головой, уложим наверняка!“ Совета послушались, хотя до медведя в этот момент было не больше двухсот шагов. Может быть, при других обстоятельствах, совет оказался бы хорошим, но „Фока“ как раз задержался в одном из каналов,— медведь стал быстро отдаляться. Мы пробовали догнать раненого по льду, но, конечно, не могли, как он, в одно мгновение перелезать через высокие торосы, переплывать каналы и полыньи. Скоро мы совсем остановились перед полосой мелко-битого льда, в то время как мишка, смело бросившись в эту кашу, нырнул, через полминуты вылез на плотный лед и заковылял дальше.

К сумеркам мы высвободились изо льдов и повернули вдоль их края на восток, пересекая изредка полосы блинчатого льда. Седов, надеясь воспользоваться свободным фарватером, виденным около Новой Земли, решил пробиться насколько возможно дальше к северу, если бы даже и пришлось отказаться от достижения Земли Франца-Иосифа в эту навигацию.

Рано утром 18 сентября, едва мы приблизились к Новой Земле, подошли с моря льды. Чтобы не быть прижатыми к берегу, нам пришлось на ночь укрыться под островами. Утром поплыли дальше к северу через пролив между островами Личутина и Берха.

Мне эти места были уже знакомы по плаванию на „Бакане“. Но тогда была средина лета. В этот раз весь пейзаж выглядел совершенно другим,— все было под снегом.

Оставив позади острова Личутина и Заячий, мы повернули ближе к берегу: всем хотелось посмотреть поближе на ледяные обрывы его, к тому же наш геолог интересовался вопросом, где находится конечная морена ледника, и какова глубина моря вблизи ледяной стены.

Около трех часов плыл „Фока“ мимо изумрудной ледяной стены. В то время, как производился промер, мы то удалялись от ледяного берега, то подходили чуть не под самый обрыв. Тогда он начинал возрастать, быстро поднимаясь к небу. Становилось жутко: так велики оказывались голубые прозрачные скалы и так мизерен в сравнении с ними „Фока“, а склоненные, еле держащиеся колонны и арки изо льда, казалось, вот-вот рухнут и раздавят впрах проползающий мимо кораблик. Голос лотового матроса раздавался в такие минуты глухо и странно, как в подземельи; особенное, непривычно-звенящее эхо повторяло выкрики; все разговоры на палубе и на мостике как-то само-собой умолкали, словно им здесь не могло быть места. Мы слышали в тишине, как нечто глухо грохочет

в глубине стены, изредка звучит, словно звон лопнувшей тонкой струны,— и все мы еще больше задерживали дыхание, еще глуше звучал голос, выкрикивавший глубину.

На картах Главного Гидрографического Управления значился пролив между островами Панкратьева. Пролива там не оказалось,— ближайший к Новой Земле остров оказался полуостровом.

День склонялся к вечеру. Итти ночью мимо этих неисследованных берегов было рискованно. Войдя в пролив между Панкратьевым островом и вновь обнаруженным полуостровом, мы решили переночевать.

Никто не сходил с палубы в этот день, все продрогли и утомились. В то самое время, как мы собрались проглотить по стакану чая, сверху раздался крик: „Медведи!" „Фока" только что отдал якорь, грохотала якорная цепь,— а медведи, не обращая на „Фоку" внимания, располагались на ночлег каких-нибудь метрах в восьмистах. Один из зверей разрывал снег, повидимому, устраивая себе ложе.

На этот раз мы выработали точную диспозицию. Четыре охотника должны были заехать в глубокий тыл медведей с таким расчетом, чтобы согнать их под выстрелы другой партии. Торопливо спустили шлюпки и в сгущающейся темноте отправились исполнять свои кровавые замыслы. Седову и мне не сразу удалось пристать: припай из молодого блинчатого льда у берега оказался слишком тонким и не выдерживал тяжести человека. Вылезая из шлюпки, я принял хорошую ванну по пояс. Это обстоятельство послужило, пожалуй, на пользу: ледяная ванна успешно излечила мою охотничью лихорадку.

Выбравшись на лед, мы не могли рассмотреть, где медведи. Уже начали стрелять с берега — целая канонада,— а мы все еще напрягали зрение, но не видели ничего, кроме огненных полос на берегу. Вот с горы раздались крики:

— Бегите скорее к медведям, стрелять не будем!

Тут пришлось забыть на время, что лед прогибается больше, чем хотелось бы, а колени плохо гнутся. Мы побежали по указанному направлению, проваливаясь то одной, то другой ногой, и совсем скоро наткнулись на медведицу с крупным медвежонком. Он был ранен, а медведица со стонами и беспокойством ходила около него. На близком расстоянии Седов сразу покончил с медвежонком, я же двумя выстрелами убил и медведицу, убегавшую неуклюжим галопом.

Поздно вечером мы впервые лакомились медвежьим бифштексом. Охотники получили по доброй чарке коньяку. Медвежатина имеет своеобразный запах, но это не мешает мясу быть вкусным и нежным,— таково было общее мнение.

После охоты 18 сентября все засиделись очень долго. Рассказывали подробности охоты, рассматривали ужасные пули

„дум дум“ моего ружья,— их вынули из туши убитой медведицы в виде грибов с отколовшимися осколками. Разошлись только перед рассветом.

Утром я не слыхал ни суеты при поднятии якоря, ни работы винта. Проснулся от сильного толчка, какой-то беготни и криков на палубе. „Фока“ плотно уселся на мель. Я чувствовал себя несколько виноватым за свой сладкий сон. Ведь в 1910 году на „Бакане“ мы сидели на мели в этом же самом проливе и на том же месте. Накануне я, впрочем, предупреждал Седова о приключении „Бакана“, но местности с некоторого расстояния указать не мог. Точно так же, как и „Бакан“, „Фока“ шел с промером и оказался на мели через несколько мгновений после крика лотового матроса: „Тридцать пронесло“.

Ни Седов, ни капитан не придали большого значения посадке на твердый, ровный грунт в почти закрытом проливе. Это, казалось, была досадная задержка на нашем пути — и только. Седов отдал приказание завести якорь, перенести кое-какой груз на корму и, поручив дальнейшее руководство работами капитану, сам с Визе и с матросом Томиссаром отправился на берег Панкратьева острова — определить положение его и мели астрономическим путем.

В продолжение дня работали над освобождением. Без кипучей энергии Седова подобные работы всегда плохо налаживались, а он задержался на берегу: солнце долго не давало поймать себя секстантом; только к часу дня отделилась от берега шлюпка уже при начавшемся ветре. До берега было километра четыре. Пока шлюпка прошла половину этого расстояния, ветер усилился. Нам на „Фоке“ было видно, с каким трудом давался гребцам каждый метр, но шлюпка все-таки подвигалась; к трем часам ей оставалось проплыть до судна какие-нибудь две-три сотни метров. И вот, в это самое время, ветер вдруг, как сорвавшись, задул очень крепко, настолько, что шлюпка сразу остановилась,— видно было, как при всех усилиях она не могла сдвинуться с места.

Капитан распорядился спустить большой баркас; в него сели девять человек и поплыли на помощь. В это же самое время показались на горизонте льды и направились в пролив.

А ветер усиливался и усиливался. Когда баркас взял шлюпку на буксир, оказалось, что и девять пар рук не могут выгрести против такого ветра: он перешел в югозападный шторм. Льды же подходили ближе и ближе грозной и плотной чертой. Откуда так внезапно взялись они? Нужно что-то сделать. Мы выбросили с борта на длинном лине буек, сделанный наскоро из спасательного круга, но он не успел доплыть и помочь нашим. Прежде чем на баркасе заметили буек, льды окружили „Фоку“. Поздно! Подтянуться, пользуясь буйком, уже не было возможности. Еще несколько минут спустя лед подхватил баркас и понес его от „Фоки“ куда-то вдоль по проливу.

Трудно было решить, чьему положению следовало отдать предпочтение: оставшимся пяти человекам на судне без шлюпок на мели во время страшного шторма, среди льдов, напирающих с моря, без возможности что-нибудь предпринять, или же товарищам, находящимся в двух шлюпках без парусов, без куска хлеба в кармане, одетым для легкой гребли по-летнему — в одних пиджачках.

К одиннадцати часам льдом забит был весь пролив, шторм немного ослабел. Незадолго до полуночи около борта в темноте послышались голоса: Седов с командой добрался по льду при помощи досок и весел с баркаса, из которых делали настил там, где лед был непроходим. Шлюпка и баркас остались в полутора километрах от „Фоки".

Шторм продолжался до вечера следующего дня. Как только он прекратился, льды слегка разошлись, а у нас закипела горячая авральная работа по снятию с мели. Каких только средств не перепробовали! Работали машиной, завозили якори простые и ледяные на стоявшие вблизи „Фоки" — тоже на мели — льдины, ставили паруса, перегружали на корму все больше груза; наконец сгрузили на льдину все бревна с палубы. Но напором льда „Фоку" крепко надвинуло на мель, — не помогали никакие ухищрения.

А погода становилась все холоднее и неприятнее. После шторма повалил в затишьи снег и закрыл толстым слоем всю палубу; потом поднялась вьюга и за моментами тишины — опять снег; и так — все следующие дни. Просыпаясь, мы видели все то же свинцовое небо и белые берега. Лед в проливе то сгущался, то расходился, то напирал на судно или, качаясь на волнах, колотил в борта.

Ночь на 21 сентября отличалась особенным беспокойством. Команда за день выбилась из сил на работе без всяких смен; люди едва стояли на ногах. Седов был принужден отпустить всех, кроме очередной вахты. И вот в это самое время подошла с океана крупная зыбь, и стоящие на мели льдины принялись основательно колотить борта „Фоки". Нам казалось тогда, что другое судно, построенное не столь прочно, выдержало бы не больше десятка ударов подобной силы. „Фока" в эту ночь завербовал себе горячих поклонников. Корпус корабля, казалось, спаялся в одно целое, — льдины, разбивавшие в щепы бревна, подвешенные на защиту бортов, не причиняли ему существенного вреда, если не считать неглубоких царапин на обшивке.

Сначала удары не особенно тревожили нас. Но дело изменилось, когда подошла гигантская льдина и, остановившись на мели, принялась бить ниже ватерлинии с силой, достаточной, чтобы сдвинуть с места скалу, бить методически и настойчиво, — нам стало не по себе. Но что могли мы предпринять, кроме тех же подвесов из бревен?

Мне памятна эта ночь. Я стоял на мостике дежурным и думал о зависимости человека от стихии и о том, как море за-

каляет характеры. Вот и теперь: судно в очень опасном положении, улучшить это положение нет средств,— и что же? — все отправились спать. Но спят чутко; если их разбудят, встанут, будут делать, что нужно, готовые ко всему, а если дадут проспать положенное время, то утром примутся, как муравьи, за работу по спасению щепки, на которой живут, мало удивляясь, опять-таки, если завтра придется повстречаться с новой опасностью.

А удары в борт, сопровождаемые треском дерева и отламывающегося льда, усиливались.

Вдруг после одного, особенно сильного, толчка наступила тишина. „Фока“ поплыл: упрямая льдина столкнула его с мели.

Говорят, не нужно откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня,— эта пословица особенно уместна на море, а еще более — в полярных странах. Нам следовало немедленно же отыскать и поднять брошенные шлюпки. Седов же, обрадованный счастливо окончившейся атакой льдины, не только пожалел будить команду, но даже отпустил спать и вахтенных матросов,— на них действительно жалко было смотреть. Вместо команды, он поднял на ноги всех членов экспедиции. Они заменили матросов на руле, в кочегарке, на лебедке и у якоря. Мы сделали все нужное, чтобы перейти возможно ближе к шлюпкам и стать на якорь. Поднять же тяжелый баркас нехватило рук.

Еще во время перехода небо прояснилось, а утром 21 сентября температура опустилась до—13,4° Ц. Проснувшись, увидели, что за ночь между „Фокой“ и шлюпками набило мелкого льда, а мороз сковал его в одно целое, но непроходимое. А шлюпки нужно было достать.

Ночной отдых стоил двух суток беспрерывной, воистину каторжной работы. Характер льда не допускал возможности подтянуть баркас по воде, и только в некоторых местах лед выдерживал большую тяжесть баркаса. При первой же попытке баркас провалился килем. Когда, наконец, его высвободили и протащили с десяток метров, лед опять не выдержал,— в воду провалились и баркас и тянувшие его. Почти весь первый день прошел в приключениях такого рода, а расстояние до „Фоки“ почти не уменьшилось.

Трудно пролезть канату в игольное ушко, но мы говорили: ежели придет крайность, пролезешь и в ушко. Работа с баркасом была только первым опытом пролезания в игольное ушко.

Команда „Фоки“, перепробовав множество способов и промокнув до нитки, добилась своего. Подложив под баркас длинные жерди, стали тянуть его с „Фоки“ при помощи лебедки. Попрежнему лед часто оседал, а трос рвался каждые 20 минут, но все-таки этим способом утром 23 сентября баркас был доставлен на борт. Ко времени, когда кончили эту работу, лед смерзся сильнее; более легкую шлюпку доставили без затруднений.

В это время за островами плескалось свободное море. Мы могли бы смело пуститься в путь, но... „нос вытащишь, хвост

увязнет",— едва успели шлюпки водвориться на свое место, снова поползли по небу тучи, югозападный ветер опять задул с силой шторма, а в пролив, как в завязанный мешок, набрались льды в таком количестве, что весь пролив оказался плотно закупоренным.

Нансен говорит, что величайшая полярная добродетель — терпение. На этот раз мы упражнялись в познании ее почти три дня, пока свирепствовал шторм. Под утро 25 сентября ветер стих, с вечера была оттепель, появились между льдинами прогалины, и, хотя лед был очень тесен, „Фока" перешел в наступление: весь этот день он пролезал из полыньи в полынью, ломал, крошил, давил, но сила вражья не сдавалась; до открытой воды оставалось еще больше половины,— тут он и застрял. За ночь „Фоку" вместе со льдом продвинуло к матерому берегу. На следующее утро нам как будто повезло: открылся канал, которым мы вышли в большую полынью у полуострова Панкратьева. К сожалению, из полыньи выхода не оказалось. Пришлось стать на якорь и утешаться надеждой, что когда-нибудь да разойдутся льды.

Увы! В этот же вечер, как бы в ответ на наши ожидания, последовал страшный шторм со снегом и вьюгой, полынью зажало. Через сутки шторм стих. Прояснило... Но что мы увидели!

Сплошной смерзшийся лед закрывал все проливы и бухты, лишь вдали за Крестовыми островами чернела полоска воды.

Мы затерты льдом. Мороз уже несколько дней держался стойко,— не выше 8 градусов. Потом повалил густой снег.

— Зимовка?

Все наши планы и предположения совершенно перепутались событиями последних недель! Но долго еще мы не теряли надежды вырваться из ловушки, поставленной судьбой. Хорошо помню, как на запорошенный снегом мостик часто выбегали люди из-под палубы; стоя вырезанным на белом фоне силуэтом, подолгу человек всматривался в узенькую полоску на горизонте: там маячило море. Одного сменял другой и также надолго замирал, как будто ожидая чуда, что вот придет ближе море, и мы поплывем дальше —

Через лед и туман
К дальним горам
Земли Петерман...

Лед не спаялся еще совсем, еще чернела вода в прогалинах между льдинами, ныряли какие-то птицы, не успевшие отрастить крыльев, молодой лед еще не выдерживал тяжести человека, а в воздухе уже носилась зима. Наши прекрасные надежды разлетались без остатка. Самым большим оптимистом на „Фоке" был Седов. Но всякой надежде приходит конец. 28 сентября Седов приказал выпустить пары из котлов.

Началась зимовка, о которой я столько мечтал.

Зимовка

26 сентября двое — я и геолог Павлов — довольно свободно прошли по смерзшемуся льду на берег Панкратьева полуострова и осмотрели окрестности нашей первой зимовки. Мы поднялись на плоскую вершину полуострова. Там торжественный покой. Снег улежался хорошо, нога не вязнет, а камни под коркой льда отдают синевой. Горизонт широк необычайно — совсем близкими кажутся Горбовые острова в 30 километрах и выступающие из ледяного покрова горы Новой Земли. И до берега, казалось, не больше сотни метров; однако, когда мы направились в глубину бухты, убедились, что расстояние не меньше километра.

Осматривая свои новые владения, мы прошли до замерзшей речки в юговосточном углу бухты. Какое открытие! Берега бухты усеяны плавником. Значит на „Фоке" будет тепло в эту зиму. Каких только кусков дерева не было тут! Части кораблей, разбитых, может быть, сотни лет назад за тысячи километров отсюда или у этих же негостеприимных берегов, бревна, хорошо распиленные доски, стволы деревьев с корнями, целые и расщепленные о прибрежные камни, все истертые и поцарапанные льдом. Пологий песчаный берег с плавником тянулся около километра и загибался к южному мысу с высоким черным столбом, который, словно палец самого дьявола, высунулся из моря. Мы прозвали этот мыс Столбовым.

В свое время много писалось о плохом снаряжении седовской экспедиции. В самом деле, снаряжены мы были не роскошно. Провианта на „Фоке" имелось на три года, но с топливом обстояло не столь благополучно. После месячного плавания под парами каменного угля осталось только двадцать пять тонн — на пять суток хода. К счастью, мы могли не расходовать угля на отопление, находка плавника избавила нас от этого.

На „Фоке", кроме жилых кают, каждый из членов нашей экспедиции имел еще и кабинет для работ, а с находкой такого количества дерева на берегу можно быть покойным, что не придется мерзнуть, подобно несчастному Кэну. Пища наша, быть может, не столь разнообразная, как у других, отличалась обилием и питательностью.



Место зимовки „Фоки“ у Панкратьева полуострова на Новой Земле

С одеждой дело обстояло довольно благополучно. Из разнородной одежды, применяющейся на севере, Седов выбрал русские полушубки, валенки, ненецкие малицы и совики Кроме того, было несколько пар костюмов, сшитых по образцу эскимосских.

В каютах почувствовалась некоторая прохлада, как только прекратилась подача пара в трубы отопления. Первое, с чем пришлось поспешить, это установить печи. У нас были с собой хорошие чугунные печи, приспособленные и для угля и для дров. Борта „Фоки" казались надежными, но верхняя палуба должна была пропускать холод. Поверх палубы насыпали толстый слой земли и закрыли досками. Одну из дверей, ведущих на палубу, плотно законопатили и запечатали, прибив сверх войлока доски; другую обили войлоком. Трубы и вентиляторы накрыли брезентом, над трюмами возвели надстроечки, чтобы, доставая нужное, не открывать каждый раз тяжелых люков. Наконец, построили сходни на лед. После таких приготовлений „Фока" сразу приобрел вид бывалого полярного судна.

Разместившись окончательно по каютам и кабинетам, сообща принялись за устройство кают-компании. У наиболее сухой стены поставили пианино и граммофон, на самодельных полках разместили библиотеку, по стенам повесили эстампы и некоторые из сделанных мною фотографий и этюдов. 3 октября общие приготовления к зимовке закончились. По сему случаю состоялось даже празднество с чтением приказа начальника экспедиции и его речью. Приказом время распределялось по-новому. Некоторые получили к своим прямым обязанностям новые: Визе был назначен заведывать библиотекой, Кушаков — хозяйственной частью, я был назначен помощником Визе по метеорологической части и заместителем его во время отлучек. Зандер, вместе с обязанностями пожарного инспектора, получил заботу о печах.

Более изысканный обед, концертное отделение с солистами-исполнителями на пианино, пианоле и граммофоне. Карты и шахматы закончили этот первый наш полярный праздник.

4 октября мы отправились в путешествие по льду на остров Берха,— нужно было поставить там гурии — приметные точки для мензульной съемки всей группы островов и земель, окружавших нас. Впоследствии мы частенько смеялись над своим первым санным путешествием. Многие из вещей, необходимых для санного путешествия,— палатки и керосиновые кухни — не были еще распакованы и покоились в глубине трюмов, ни одна из собак еще не приучилась ходить в такой запряжке, которую собирался применить Седов, да и сбруя еще не была готова.

Вышли мы утром 4 октября. Был ясный солнечный день, слабый северный ветерок при 15°. С нами одни сани, груженые досками для большого знака на Берхе, и провизия. Лед вблизи „Фоки" оказался ровным, но только вблизи. Чем дальше, тем больше вставало на пути торосов и айсбергов.

К полудню мы забрались в почти непроходимые торосы. Нарта стала. Принялись за расчистку пути топорами. Один находил дорогу, другой орудовал топором, а остальные тащили сани. Сани перевертывались, шнуровка развязывалась, все вещи вываливались. Все это задерживало нас подолгу, а мы-то собирались в один день пройти все тридцать километров до Берха.

В половине пятого солнце зашло, начало темнеть, а мы были не дальше 5—6 километров от корабля. Впереди новые ледяные горы, бесконечные торосы без метра ровной поверхности. Надеясь воспользоваться куском земли между двумя ледниками, мы свернули к берегу Новой Земли.

В семь часов стемнело совсем; до берега не дошли. Расположились на ночлег. Под высокой льдиной выкопали яму, обложили ее по бокам снегом в защиту от ветра.

На ходу, в работе было скорее жарко, чем холодно. На остановке же сразу почувствовалось, что мороз велик, а нужно еще отдохнуть и поесть. Открыли несколько банок консервов. Они обратились в камень. Достали сухари и масло. Сухари, как сухари, а масло — тоже нечто геологическое,— нож не берет. Пожертвовали одной доской, развели огонь и разогрели на нем свой закаменевший ужин, потом улеглись спать, надев поверх своих курток оленьи малицы.

Весь следующий день шли около ледника профессора Попова, вдоль которого плыл „Фока" 18 сентября. Чем ближе, тем красивее этот гигант. Я приблизился к нему метров на тридцать. Как раз мороз усилился, и гигант, сжимаясь от холода, хрустел и трещал, как живой. Налюбовавшись картиной голубой стены, я побежал было догонять ушедшие вперед сани. Внезапно у моих ног протянулся черный змей. Трещина! Быстро обернувшись, я увидел метрах в четырехстах от себя облако, туманом охватившее пройденную часть ледника. Спустя секунду раздался грохот, как пушечный залп. Какая-то глыба в несколько десятков тонн сорвалась с сорокаметровой высоты и, грохнувшись в море, разбила лед и подняла это облако из мелкой ледяной пыли. Вокруг меня с треском и шипением ломался лед, стреляли трещины и на глазах превращались в каналы.

Вторую ночь мы провели на морене ледника. Утром 6 октября, истратив последнее топливо, решили возвратиться на судно: провизия была на исходе, а мы не сделали и половины пути, дорога же не обещала быть лучшей. Пришлось сознаться, что снарядились торопливо и легкомысленно. А что, если бы поднялась вьюга? К счастью, погода стояла ясная, почти безветрие, но мороз увеличивался с каждым днем. Одежда успела пропитаться испарениями тела и оледенела; впрочем, это не очень беспокоило. Рукам, например, на ходу тепло, но, стоит снять рукавицу, чтобы поправить ремни на лыжах, чувствуется, когда ее наденешь вновь, что мех внутри успел смерзнуться в комок.

Вечером того же дня вернулись на „Фоку“: по проторенному пути дорога оказалась легче. Пришли как раз во-время: ночью поднялась вьюга, ветер доходил до 20 метров в секунду. Хороши бы мы были без палатки и горячей пищи в такую погоду!

На „Фоке“ за время нашего трехдневного скитания по льдам установился новый, зимовочный порядок жизни. Мне тогда казалось, что мы действительно вернулись „домой“. Жизнь установилась. Каждое утро, просыпаясь, всякий принимается за свою работу. Много страниц моего дневника посвящено совершенно новым условиям работы и усилиям, какие приходилось затрачивать, чтобы добиться удовлетворительных результатов,— всякий успех здесь труден. Нахожу описания, каких хлопот потребовала установка метеорологической станции согласно требованиям науки, сколько забот доставили нам первые наблюдения, как упрямо и настойчиво боролись наблюдатели со снежной пылью, раздробленной на мельчайшие частицы и проникавшей, казалось бы, в совершенно закрытые части самопишущих приборов — термографов и гигрографов, как трудно было наладить правильную работу этих инструментов и приспособиться к перемене лент на морозе и в бурю. Обыкновенный дождемер — измеритель атмосферных осадков, простой до смешного прибор, и тот доставил хлопот на несколько месяцев. По его милости выросли сложные постройки на льду, сначала из дерева, потом из снега и все для того, чтобы помешать ветру выдувать из дождемера его содержимое. Всякая работа на холоде и ветрах вырастала в сложное предприятие.

Просматривая свой дневник за первый месяц зимовки, нахожу там чаще всего очень обычные записи, но обыденность не похожа на прежнюю.

„*11 октября.*— 14,8° Ц. Умеренный северный ветер. Вчера Седов и я пробовали на собаках новую упряжь. Седов боялся, что собаки, приученные к ненецкой упряжи, не пойдут в нашей, похожей на восточносибирскую. Но при первой же пробе начало выясняться нечто совершенно неожиданное. Взятые в Архангельске собаки оказались негодными никуда. Все эти Шарики и Жучки не только сами не тянули саней, но и просто мешали. С полным непониманием, что мы хотим с ними делать, псы покорно позволяли запрячь себя, даже с некоторым любопытством обнюхивали шлейки, недоуменно помахивая хвостами. Но, как только дело коснулось того, чтобы везти, началась потеха. В упряжке стояли белые сибирские собаки и пестрые архангельские. Седов сел на нарту и закричал:

— Пр-р-р-р!

„Большинство белых собак при этом звуке поднялось, а некоторые даже сделали попытку тронуть сани с места. Но все остальные, как и раньше, лежали на снегу в полной безмятежности, очевидно, полагая, что ежели привязана, так и лежи, не сходи с места, покуда хозяин не отвяжет. Я пробовал тянуть

передних сибирских, чтобы сдвинуть с места остальных. Мы думали: может быть, собаки в незнакомой упряжи не понимают, чего от них хотят, но как только заметят, что другие работают, вспомнят и они. Но не тут-то было. Я тянул, как паровоз, тянули и белые, но все эти дворняги и не думали помочь. Они просто улеглись, как будто бы вся суматоха их совсем не касалась, и бороздили снег, отнюдь не понимая, что такое происходит. Иные, впрочем, проявили некоторую самодеятельность: изо всех сил упирались. Мы до тех пор не добились движения нарты вперед, пока не выпрягли всех этих саботажников. Пока что избегаем думать, что все это значит. Одно не оставляет места сомнению: эти собаки никогда не ходили в упряжке".

„*13 октября*. Успех в дрессировке собак. Вместе с Седовым прокатились от берега до „Фоки". Расстояние около километра. Или мы не умеем выбирать хорошего передового, или такого нет вообще, но управлять запряжкой мы еще не можем. От судна собаки не бегут иначе, как на поводу. Но обратно — полным ходом. В один из таких рейсов нарта налетела с полного хода на льдину, пассажиры посыпались с нее, запряжка же, сопровождаемая стаей свободных собак, подвывавших всеми голосами, понеслась дальше, как будто ничего не случилось. У судна всю эту компанию встретила стайка драчунов. Поднялись грызня и свалка такие, что, добежав, мы не знали, с какого конца подойти разнимать. Пока колотили с края самых озверелых, псы успели разорвать какую-то слабенькую. Отняли еле живой".



Метеорологическая станция в бухте „Фоки" на Новой Земле

„*15 октября.* Вчера Седов ездил в первый раз на собаках далеко на съемку. Сегодня прекрасная погода, легкий морозец 20—22° Ц. Солнце в кругах. Утром я вышел на работу. Солнце и в полдень стоит уже низко, его косые лучи могут только освещать, но не греть. И освещают-то не все. Только отвесные берега и склоны получают прямые лучи, вся же площадь льда в заливе подернута скользящим светом. В десятом часу в это время года первые лучи солнца. Такелаж, паруса, вывешенные на просушку, мачты „Фоки“ — все горело оранжевым огнем и бросало резкую тень на береговой откос, когда я начал подниматься в гору.

„Подъем стал не легок; снег крепко прибит последними бурями; приходится выбивать ступени лыжной палкой, если не хочешь съехать вниз. На верху обрыва дорогу преграждает лавина снега, нависшая грибом,— нужно, как кроту, прокапывать лаз. Как хорошо вверху! Вся бухта с „Фокой“ как на ладони. Люди копошатся. У метеорологической станции, в двухстах метрах от „Фоки“, наблюдатель обходит будки. Черной ниточкой ползет по снегу нарта Седова, и крошкой-мушкой движется у Столбового наш геолог,— пошел добывать ископаемых.

„С пяти часов прекрасное северное сияние; его увидел Седов, вышедший взять секстантом несколько высот Марса.

„Началось оно серебристо-голубой полосой на северо-западе. Полоса поплыла по небу, поднимаясь, разгораясь и вырастая в огромный тончайший занавес из света. Он торжественно плывет, пересекая звездные пути, то растет, то тает, то загорится на сгибе зеленым лучом, то сверкнет тонкими, яркими нитями на несколько мгновений, то соберется частыми складками в самый зенит и развернется от горизонта до горизонта. Следишь за всеми его превращениями и не заметишь сразу: в другой части неба — новое пятно. Оно быстро растет и пухнет и как-то сразу оказывается не пятном, а новым таким же занавесом. Плывут рядом. За ним новое пятно и новый занавес.

„Сияние длилось часы. Я долго стоял, мерз, рисовал. Только собрался уходить,— небо опять загорелось. Одна из занавесей стала вбирать в себя все остальные,— так речная стрежь тянет к себе береговые струи. Собрав свет воедино, занавес начал пляску между звезд. В голубом эфире, казалось, кто-то невидимый трясет огромную ленту или вымпел, а тот, дрожа и играя, мнется, расправляется и сверкает разноцветно. Только верхняя часть попрежнему серебряно-голуба, вся остальная ткань — из золота, а нижний край оторочен пурпуром. Еще мгновение — и вымпела нет, он собрался в зените густыми складками и брызнул книзу снопами огней, оранжевых, красных, зеленых. Чудесный, волшебный фейерверк! Потом потухло все. И снова загорелась лента, другая, третья. Всю долгую ночь играли сполохи, небо то потухало, то разгоралось. Лед и снег отражали свет, темнели, светлели, потухали совсем, как будто кто-то неведомый навел прожектор и убрал прочь, не находя ничего в этой пустыне“.

Сразу после начала зимовки Седов принялся за подробную (мензульную) съемку окрестностей, а для определения широты и долготы произвел совместно с Визе ряд астрономических наблюдений. К началу октября на планшете стали вырисовываться общие очертания берегов и выдающихся гор; астрономические же наблюдения показали местонахождение „Фоки" с точностью до нескольких секунд. Вот тут и оказалось нечто, заставившее наших картографов призадуматься. С прежними картами новая совсем не вязалась: очевидно, прежние карты этой части Новой Земли были неправильны.

Желая выяснить, как далеко к югу берег нанесен на карту неправильно, Седов попросил Визе определить астрономически несколько точек между нашим становищем и полуостровом Адмиралтейства. Визе вышел 17 октября с неразлучным другом Павловым и матросом Шестаковым.

Задача, возложенная на Визе, оказалась очень трудной. Экскурсанты прошли на юг всего сорок два километра. Дорога оказалась худшей, чем в первую экскурсию. Недалеко от Архангельской губы путешественников застала в пути вьюга. Короткий день кончился, было совсем темно. Выбрав ровное место, поставив палатку, поужинали и уснули. Среди ночи почувствовалась какая-то влажность. Сначала на нее не обратили внимания. Однако наступил момент, когда стало очевидным, что молодой лед не выдержал тяжести и прогнулся. Палатка стояла у самого берега, пологого и песчаного, глубина в том месте была ничтожна, но достаточна, чтобы все вещи подмокли. Берег изобиловал плавником, одежду скоро высушили, но с провизией ничего сделать было нельзя: бедняги всю дорогу питались солеными сухарями, солененьким шоколадом, пили чай с солено-сладкой массой, заедали его соленым же раскрошенным печеньем.

Визе с товарищами вернулись 28 октября, а 1 ноября солнце покинуло нас надолго. Надвигалась полярная ночь. Почти сто дней сплошной ночи, трескучих морозов и бурь. Бури, действительно, как будто поджидали исчезновения солнца, чтобы со всею силой обрушиться на беззащитные пустыни. С первым из зимних штормов со свирепым ураганом мне, Павлову, Пустошному и Шестакову пришлось познакомиться очень близко. Мы были застигнуты бурей всего в шести километрах от „Фоки".

В это время продолжительность „дня", вернее — рассвета, равнялась четырем часам. К счастью, у нас были с собой палатка и четырехдневный запас продовольствия.

Внезапно застигнутые ужасаым новоземельским встоком, мы укрылись в палатке. Мы лежали в малицах, ожидая конца бури, как мелкие насекомые под листом. Во вторую ночь ветер, по мнению Пустошного, „одичал". Творилось нечто невообразимое, не укладывающееся в понятие „ветер". Иногда, после сравнительного затишья, он рвал с такой внезапностью и силой, что мы

в палатке чувствовали как бы удар. Непривычный никак не мирится мыслью, что такие удары может наносить ветер.

Среди ночи ужасный порыв ветра вырвал несколько кольев, державших палатку. Прежде чем все успели повскакать, палатка была уже повалена. Мы держали ее изо всех сил, а буря прилагала все усилия вырвать ее у нас из рук. Борьба длилась долго. Из нас то тот, то другой валились с ног, мы незаметно очутились поверх палатки. Падая и вставая, каждый цепко — руками и зубами — держал оледеневшее полотно так, как будто бы в нем заключалась вся наша жизнь. Падая и вставая, как истые муравьи, спасающие свое жилище в ливень, работали мы долго и неустанно, не обращая внимания на такие пустяки, как отмороженные кончики пальцев.

Прошел по крайней мере час до той поры, когда мы забили несколько кольев и могли уже думать, что палатки не отпустим. Мне приходилось тяжелее других: с самого начала катастрофы вихрь сорвал с головы шапку, а с руки — одну из рукавиц. Прекрасная оленья шапка унеслась со снежными смерчами, а голова в несколько минут покрылась коркой льда.

Наконец назло всем стихиям, палатка стояла. Как оказалось, колья не выдернуло, но согнулось в дугу толстое треугольное железо, из которого они были сделаны.

Забравшись в палатку, расположились отдыхать. Нельзя сказать, что мы были уверены в невозможности повторения приключения. На подветренном крае палатки теперь стояла нарта, загруженная большими льдинами, но ветер как будто еще свирепел, палатка качалась, в нее проникала мельчайшая ледяная пыль. Снаружи казалось, что находишься не в привычной сфере воздуха, а в стремнине могучего течения: простое движение рукой так же трудно, как если бы находился в текучей воде. Стоять на ногах, не держась за что-нибудь руками, — невозможно.

Мы ждали, когда же ветер утихнет. А он как бы смеялся над нами, лежавшими в мокрых малицах без движения, отупевшими от безделья и невозможности размять свои члены. Только к полудню третьих суток чуть потихло.

Провиант подходил к концу, свечей не было совсем. Сытые по горло трехсуточным лежанием, мы решили попытаться дойти до „Фоки". Нелегко собрать вещи во время вьюги. Когда вышли из палатки, собак не было видно: несчастные, — они лежали в глубине сугробов. Одну за другой откопали всех. Пробовали покормить, — почти все отказались от пищи. В то время, как их запрягали, некоторые качались от слабости.

Продолжалась сильная вьюга, мы тронулись в путь, держа курс по компасу. После нескольких часов блуждания мы наткнулись на берег полуострова и решили: „пришли домой".

На „Фоке" нашим отсутствием сильно беспокоились. Буря наделала бед: „Фоку" прижало ближе к берегу, баня, выстроенная на льду, провалилась в воду на пять венцов.

Полярная ночь

„Давно, в юности, мечтал ты, читая Нансена, Кэна и Норденшельда, о далеком чудесном Севере, о льдах, о молчании зимней ночи, усеянной звездами... Пусть кратка наша жизнь, пусть наше существование—жизнь однодневки,— но можно отдать даже это непродолжительное бытие все без остатка, лишь бы видеть край, где не закончены еще дни творения, край, ждущий разумной воли для размещения стихий.

„То были расплывчатые мечтания ранней юности. А теперь в зрелом возрасте ты сидишь и пишешь эти строки в каюте с замерзшим иллюминатором, вспоминаешь мечтания, капризом судьбы превратившиеся в действительность. После кипучей жизни огромного города, ты теперь в крошечной каютке, одной из таких же других на борту корабля, затертого льдом.

„Пробивается в иллюминатор слабый рассвет и спорит со светом керосиновой лампы, но не может пересилить. А в коридоре уж совсем темно,— где-то в самом конце его горит тусклая свеча. В кают-компании три-четыре человека. Один склонился над чертежной доской и что-то тщательно перерисовывает из своей записной книжки на новую карту. Другой читает. Еще один сидит над вычислениями, бормоча: „Прямое восхождение... ноль, ноль, два, семь, три... девять, ноль, один... Как девятая высота, так и заест, якорь ее раздери!.. Два, пять, косинус...“ Это — труженики. А вот еще двое с шахматной доской пристроились на углу стола—сегодня уже одиннадцатая партия... Открыта дверь в каюту Седова. Он там. На столике — раскрытая книга, но сидящий смотрит не на страницы. Рядом с книгой карандаш и бумага, там колонка цифр — расчеты путешествия к полюсу, его неотступная мысль. Откуда-то из каюты вдруг доносится через распахнутую дверь отрывок спора: „...Работать, как англичане, устраивая склад за складом, или обладать нансеновским счастьем и его же энергией...“ Потом заходит в каюту весь заиндевелый боцман и спрашивает:

— А что шлейки-то для собак будем еще шить, али нет? Нужно бы прозапас, а то вчерась опять какая-то голодная постромку съела!

„Среди ощущений нового порядка одно чувство проявляется яснее других,— это интерес к науке и к научной деятельности.

Жалко, что так слабо подготовлен к ней. Вижу, как товарищи по экспедиции отдают делу науки все свои знания и способности. Это заражает. Даже у Седова под его страстным стремлением к полюсу заложена глубокая любовь к своей специальности гидрографа и астронома. И я невольно втягиваюсь в орбиту притяжения науки, с интересом читаю в нашей библиотеке научные книги, особенно по географии полярных стран, и состою в числе усердных слушателей лекций по астрономии и навигации, которые начал читать Седов".

Такова одна из страниц дневника вскоре после исчезновения солнца: оно, казалось, унесло с собой старый порядок мыслей, а ночь приближала к другим, еще не додуманным до конца.

А солнце уходило. 7 ноября я писал: „Как темнеет с каждым днем. Около восьми, когда просыпаюсь,— ночь еще глубока. Только в десять начинает немного светать. Удивительный рассвет! Весь воздух насыщен темнотой. Рассвет силится прогнать ее и не может. Окрашиваются торосы с южной стороны, но в угрюмой тени отражено ночное небо. Даже затмение радостнее такого бессильного рассвета".

8 ноября. Вчера и сегодня провел время рассвета на воздухе. О, какая симфония красок лилась в глаза! Вся красота ее в неопределенности. Нет ни одного кричащего или яркого пятна, все тонет в нежном полусвете-полумгле. Синий купол ночного неба с крупными звездами и луной. Одновременно свет зари на выдающихся льдинах и отсвет оранжевой луны в тенях. Когда хочешь передать красками это освещение, не знаешь, за что принять свет луны, за свет или за тень? Где граница света и тени,— она неуловима, но существует, как переход смычка гениального музыканта...

14 ноября. Стоит тепло. Температура совсем не полярная. Только ночь да постоянные вьюги напоминают, как далеко все, чем жил раньше. Уходит, уходит свет. Скоро я должен буду прекратить работу на воздухе. Тьма побеждает. Мало-помалу мы сгруживаемся на корабле и уходим далеко только на прогулки.

15 ноября. Тепло. Утром —5° Ц. Юговосточный ветер. Рассвет слишком пасмурен, работать невозможно. Я даже рад передохнуть, просто побродить и взглянуть на место зимовки при рассвете. А то я так дорожу каждой секундой света, что смотрю на все с точки зрения: где выгоднее начать работу? Сегодня принимаюсь за пилку дров, потом помогаю штурману распутать какую-то снасть, смотрю, как возят собаки: одна запряжка — дрова из бухты, другая — лед на кухню. Захожу и туда, к повару Ване. Он в клубах пара, выпускает из бака воду, чтобы зарядить его новой порцией льда для воды. Потом опять иду разгружать дрова и отправлять сани за новым грузом.

После экскурсий собаки совсем привыкли к упряжи. Нет приятнее зрелища — видеть дружную запряжку в работе и следить, как белые комочки сразу наваливаются на хомутики

и принимаются перебирать ногами. Издали кажется — сороколапый червяк ползет по волнам снежной пелены, ныряет и прячется в складки — пестрый и шустрый червяк.

Около десятка архангельских собак начинают приучаться к работе, еще две-три везут сносно; остальные — безнадежны. Не потому, что их нельзя приучить к упряжи, нет, иное: почти все архангельские собаки совсем не приспособлены к холоду, они не умеют спать, зарывшись в снег, их мех без подшерстка; они мерзнут даже при теперешних слабых холодах, худеют от мороза, не умеют защитить своего куска от чужих посягательств, — это не собаки севера. Они погибнут.

Теперь-то с полной уже очевидностью выяснилось, что такое вообще эти „архангельские лайки". Поставлял их некто фон-Вышемирский. Учитывая невозможность испробовать собак до отплытия, он продал нам по 50 рублей за штуку обыкновенных дворняжек, собранных где-нибудь в окрестностях города, а может быть и просто купленных у фурманов по полтиннику. Недаром поставщик привел нам собак только перед самым отплытием. Все это стало понятным здесь: он боялся, как бы обман не раскрылся до уплаты. Мы же обнаружили наглое надувательство только сейчас, когда нет никаких средств исправить зло, сделанное этим человеком всему нашему делу. В то же время Тронгейм из Тобольска доставил для нас 45 настоящих сибирских, прекрасно выезженных лаек, перевезя их за свой счет по железной дороге, а когда сдавал, то просил Седова, чтобы он по окончании экспедиции удостоверил качество собак. Эти собаки обошлись нам всего лишь по 45 рублей.

24 ноября. Третий день шторм. Около полудня наблюдалось некоторое затишье, но вечером снова завыло, снова потянулись бесконечные мелодии вьюги.

Вчера наблюдалось странное явление в проруби, где производятся наблюдения над приливами. Вода там поднималась и опускалась, как бы от волнения, настолько высоко, что трудно было сделать отчет: колебания достигали 25 сантиметров. Ничтожное обстоятельство вызвало ожесточеннейшие прения в кают-компании. Некоторые думали, что морская волна доходит до нашего зимовья, и считали возможным, что в один прекрасный день лед вынесется в море, как это часто случается в южных бухтах Новой Земли. Другие с цифрами в руках и с пеной на устах утверждали, что большое ледяное поле может зыбиться, как лист бумаги, положенный на воду. Ведь по отношению к величине ледяного поля, держащего „Фоку", слой льда не толще папиросной бумаги, — колебанию льда удивляться не приходится. Не думаю, что наши рассуждения открывают Америку. Явление же заслуживает внимания... особенно для нас, когда носа нельзя показать из-за борта.

28 ноября. Опять свирепая вьюга. Уже неделю, с малыми перерывами, воет она; затихнет на несколько часов, а потом еще

хуже. Сегодня во время такого затишья совершили прогулку к мысу Столбовому. Пятнадцатиметровый отвес его выглядит во тьме особенно внушительно. Если с окружающих мыс сугробов спуститься в котловину, то с одной стороны видишь черную каменную стену с гротами, пещерами и кристальными орнаментами при входе, а с другой — вертикальную же шести-восьмиметровую стену снега, плотного, как земля. Мы долго бродили по коридору, образованному сугробом,— там хорошо укрываться от вьюги. Потом поднялись на мыс и поставили несколько капканов на песцов, — следы их видели в этом месте, когда было еще светло.

29 ноября. Ночью, делая измерения температуры в проруби, я заметил, что вода загорается фосфорическим блеском всякий раз, как подносишь фонарик. Приглядевшись, заметил множество маленьких рачков-креветок — „капшаков", вода кишела ими. Они, как бабочки ночью, жадно стремятся к огню, превращая темную воду проруби в клубок спутанных нитей серебряного фосфорического блеска, вызванного их быстрым движением. Сегодня наловили драгой порядочное количество и пробовали сварить. Увы, в этих рачках почти нет мяса. Их можно сосать и воображать, что ешь настоящих креветок: вкусом они не отличаются от больших.

Скоро будет месяц, как солнце покинуло нас. В полдень борются два источника света — луна и отсвет зари. Но луна побеждает, прогоняет зарю и, торжествуя, заливает снежные равнины и горы холодным, мертвым пепельным светом.

3 декабря. Вьюга и ветры — вот чем угощает нас изо дня в день полярная ночь. Сегодня ночью во время метеорологических наблюдений я отбился от каната, предусмотрительно протянутого Лебедевым на случай сильных бурь. Больше получаса, с залепленными снегом глазами, блуждал я по сугробам, пока случайно не наткнулся на собачьи будки.

6 декабря. Тепло, слабый юго-западный ветер. 5 декабря кают-компания огласилась хоровым пением. Дирижировал Лебедев. Его разносторонние способности не имеют предела. Он прекрасный наблюдатель-метеоролог. На него можно положиться. На метеостанции его заботы создали нечто уютное. Теперь он был занят усовершенствованием снежного домика для перемены лент самопишущих приборов и сооружает какие-то сложные снежные коридоры, соединяющие новую постройку с многострадальным дождемером.

Сегодня в числе обеденных блюд — собачьи котлеты — „для любителей".

Юган и Линник давно уже по собственному почину стали готовить котлеты из собачины (Седов, убедившись в полной негодности некоторых архангельских дворняжек, приказал убить их: бессмысленно расходовать провизию на собак, негодных и обреченных на гибель из-за неприспособленности

к климату). Оба собакоеда уверяли, что мясо очень вкусно. Сегодня желающие могли убедиться. Заведующий хозяйством уверял:

— Все его кушали, будьте покойны, все, кто петербургскую колбасу покупал, смею вас уверить!

В конце концов попробовали все. Если бы не было доподлинно известно, что едим мясо вертлявого Волчка, котлеты можно бы принять за обыкновенные. Что касается меня — собачиной питаться, пока нет крайности, не собираюсь: остается в силе брезгливое чувство, хотя организм и просит мясной пищи. Вот „великие события" последних дней. Если бы к ним прибавить „великое истребление клопов", оставленных на память прежними обитателями „Фоки", да еще бесконечный преферанс, то наша жизнь в эту темную пору была бы исчерпана во всем ее разнообразии.

7 декабря. Днем хорошая, мягкая погода при —9°Ц. Долго гуляли у мыса Столбового. Наши прогулки получили прозвище: „ходить за песцами". Первое время мы действительно осматривали капканы, — увы, даже песцовых следов не стало с темнотой, скоро и капканы убрали; но „за песцами" продолжаем ходить: все стараются гулять возможно больше. Отсутствие солнца и недостаток мясной пищи начинают сказываться, — все чувствуют слабое недомогание.

10 декабря. Метель с ЗЮЗ ветром. Время тихо тянется и при хорошей погоде, а во время штормов — угнетающе.



У борта „Фоки"

Круглые сутки сидим на „Фоке“, наш день отличается от ночи тем, что днем горят керосиновые лампы.

Признаюсь: раньше, читая отчеты разных полярных экспедиций, я подозрительно относился к описаниям гнета полярной ночи. Мне казалось, что авторы бессознательно сгущают краски. А в криках восторга, раздававшихся при первом появлении солнца, чудилась некоторая театральность или, по крайней мере, самовнушение.

Но прошло всего полтора месяца, как ушло солнце, а я уже почти способен понять, что можно закричать от радости, когда солнце, милое солнышко, пошлет приветный луч просидевшему три месяца в тюрьме-берлоге на корабле, совсем неприспособленном к зимовке.

Мы-то находимся в условиях несравненно лучших, чем какие-нибудь из искавших Франклина. На „Фоке“ изобилие провианта, тепло, сухо, каждый имеет определенную систематическую работу, есть библиотека, музыкальные инструменты, можно развлекаться на разные лады. А самое главное — все здесь по доброй воле. И все-таки... С каждым днем слышишь больше и больше вздохов о солнце. Мы становимся солнцепоклонниками. Заедает тоска. Участники экспедиции стали бледнеть, худеть.

16 декабря. Седов, замечая эти явления, решил поднять дух весельем. Готовимся полным ходом к морскому празднику 19 декабря. На мою долю досталась декоративная часть. Теперь моя келья завалена холстом, париками, бородами из раздерганного манильского троса и подобной дребеденью. Хлопоты по бутафории, приготовление костюмов и тайные репетиции — чуть не единственная работа экспедиции в этот момент. Но они занимают время и развлекают всех,— что и требовалось.

19 декабря. Штиль, —18°Ц. Совсем слабый отблеск зелено-желтой зари. Вступаем в ряд праздников. Сегодня первый праздник моряков. Программа дня: иллюминация, салют из китобойных пушек, завтрак, сон и обед. Кают-компания разукрашена до неузнаваемости гирляндами бумажных флажков и фонариков. Книжные полки и станки для ружей затянуты флагами.

После завтрака под гром пушек зажгли на палубе огни. Горящие плошки (консервные жестянки, наполненные медвежьим жиром) везде: по бортам, на мачтах и вантах. У сходней пылающие бочки из-под керосина. Отблески огней скользили по снегу, изборожденному бурями, играли на мертвенно-белых берегах и слабо замирали на отдаленных торосах. Если какой-нибудь бродяга-медведь наблюдал издали наше празднество крещения, он, вероятно, составил о человечестве представление как о породе, производящей страшный шум и склонной к чудачествам.

Меню обеда в этот день отличалось изысканностью: водка и закуски; бульон с пирожками; пельмени из сушеного мяса; солянка с капустой и малороссийским салом; компот; кофе, какао и конфеты.

После обеда музыка и попытки танцовать. День закончился прогулкой „за песцами“.

21 декабря. Шквалы и вьюга. Подвижная и кипучая натура Седова не выносит навязанной бездеятельности. Он решил предпринять небольшое путешествие на север.

Уже сейчас намечаются планы весенних работ. После Баренца мы — первые, зимующие так далеко на севере Новой Земли. Имея все необходимое для далеких санных экскурсий и усовершенствованные инструменты, мы не можем отказаться от крупнейшей задачи: привести в порядок карту новоземельского берега и противопоставить фантастическим представлениям о внутренней части Новой Земли точные наблюдения. В короткий промежуток времени до навигации необходимо сделать очень большую работу.

Предполагается, что Павлов пересечет Новую Землю, исследует ее ледяной покров и постарается сомкнуть съемку восточного берега с самой северной точкой, достигнутой Пахтусовым. Визе берет на себя задачу пересечь Новую Землю и исследовать северовосточную часть Карского берега. В своем путешествии Визе должен встретиться у мыса Желания с Седовым, который отправится туда же по западному берегу. Задача Седова самая трудная. Теперешняя экскурсия — небольшая разведка пути. Седов боится, что весной его подолгу будут задерживать необходимые для точности съемки астрономические определения выдающихся мысов. Теперь он хочет с возможной тщательностью произвести определение мыса Литке, первого по пути на север, чтобы весной начать хронометрический рейс оттуда.

Ночные путешествия — предприятие рискованное. На луну надеяться трудно: луна — коварное светило. При отправлении Седова было светло, тишина. Но несколько часов прошло, и снова подул ветер, теперь свирепствует вьюга.

1 января. Долгое отсутствие Седова беспокоит всех. С тех пор, как он ушел, все время сильные ветры. Постоит один тихий день, а три — метель. Со вчерашнего вечера начался страшный шторм. Ночью я отправился на метеорологическую станцию с двумя фонарями, боясь, что один может потухнуть раньше, чем я успею сделать наблюдения, и тогда будет пропуск. А мы гордимся, что до сих пор ничто не могло заставить нас пропустить наблюдения или опоздать хоть на минуту.

С одним фонарем в руках и с другим — за пазухой я спустился со сходней. Ударом встретил меня ветер. Цепляясь за поручни, я кое-как спустился, добрался ощупью до каната и, еле удерживаясь на ногах, добрался до станции. Фонарь погас на полдороге. Второй я сумел сохранить и сделал отсчеты в будках, но по дороге к флюгеру буря сбила меня с ног, погас и второй фонарь. Я не мог записать наблюдений. К счастью, записывать, кроме направления ветра, было нечего: доска, показывающая силу ветра, прыгала выше верхнего деления.

Тут же около флюгера я заблудился, не мог найти даже будок, а канат начинался от них. Словно брошенный в пучину водопада, ничего не видя залепленными глазами, я долго не мог определить: где же я — между „Фокой“ и станцией, или... Принялся бродить зигзагами, подбрасываемый ветром, меняющим свое направление. Но я держал в уме, что общее-то направление ветра постоянно, и поисков не оставлял. Через полчаса нашел канат. Вернулся с плотной снежной маской на лице, снег проник до нижнего белья и тела.

В такую погоду где-то во тьме странствует Седов. Луна сильно ущерблена, а во тьме бури она не видна совсем.

2 января. Седов вернулся вчера вечером. Он привез с собой серию астрономических наблюдений и — о сюрприз! — убитого медведя.

На мысе Литке Седов построил снежный домик для магнитных наблюдений, но пользоваться им пришлось недолго: разрушил какой-то любознательный медведь. Палатка Седова оказалась в зимней резиденции медвежьего царства. Первый медведь подошел во время сильной метели. Варнак и несколько сибирских собак смело атаковали незваного гостя. Пока медведь бросался то на одну, то на другую собаку, Седов подошел совсем близко и быстро прикончил бродягу. Но этим дело не кончилось. Седов почти каждый день оказывался лицом к лицу с новыми посетителями медвежьей породы. Один какой-то особенно предприимчивый забрался в снежную хижину, где были сложены мясо и шкура убитого медведя. Разломав хижину, грабитель вытащил мясо наружу и собрался было предаться пиршеству. Помешали собаки. Когда приходил первый медведь, на того нападали три-четыре собаки, остальные проявили преступное равнодушие или трусость. На этот раз наглость проходимца-полунощника вывела из нейтралитета всех. Даже наиболее робкие вступились за попранное „право собственности“ и напали на грабителя мясной кладовой дружно. Полетели клочья шерсти.

Седов тяжело ранил и этого, но зверь был крупный. Собрав остатки сил, он пробил себе дорогу до воды и уплыл. Если бы наши путешественники догадались захватить с собой побольше патронов, и этот не ушел бы. Седов не хотел стрелять не наверняка, боясь остаться безоружным в этом „медвежьем лагере“

Солнце приближается. Сегодняшний рассвет в полдень показал зарю слегка окрашенной у горизонта в оранжевый оттенок. Приподнимается темная завеса, и будет время, — она подымется совсем! Тогда покажется светило — источник жизни. Оно своим сиянием осветит берега, высокие мачты, а потом и всего заброшенного „Фоку“.

Новогодние праздники встретили по-русски: обильной едой, сумбурным весельем. После пушечного салюта объедались всем, что было лучшего в кладовых и трюмах. Но „праздничным гу-

сем“ оказался все-таки медвежий бифштекс. Пока шли разные закуски, орошаемые вином, компания весело гомонила. Разговоры даже усиливались по мере опорожнения бутылок. Но вот появился бифштекс — и все умолкло.

После трехмесячного воздержания все пожирали медвежье мясо, подобно дикарям. Куски таяли, как масло на сковородке. Подчистив тарелки, обменялись впечатлениями:

— Хорошо мяско?

— Спасибо охотничку. Хорошо!

Вышел срочный номер журнала „Кают-компания“. Основался он еще при свете дня, но тогда влачил довольно жалкое существование. Теперь журнал вышел в объеме большой газеты со всеми отделами, за подписью редактора Визе.

23 января. Вчера мороз достиг 44,5°. „Фока“ потрескивает на холоду, как жилой дом. Мы не думаем, чтобы мороз мог усилить течь: корпус достаточно защищен снегом,— треснуть могут только верхние части наружной обшивки.

Сегодня ушли на охоту к мысу Литке Кушаков с Максимычем и Линником. С охотниками — шестнадцать собак.

28 января. Вчера мороз достиг 50,2°. Никто из нас не предполагал, что температура может опуститься так низко: до сих пор таких температур на Новой Земле еще не наблюдалось. Ртуть давно замерзла. При неосторожном встряхивании термометра шарик пробивает стекло и падает пулькой. Керосин превратился в густую маслянистую массу. В воздухе висит непроницаемый ледяной туман. Мы боимся: не слишком ли легко снарядились ушедшие?

Около судна залаяли собаки. Кто-то из игравших в преферанс сказал: „Уж не наши ли охотнички?“ Лай стал затихать.



Штурман Н. М. Сахаров

И вдруг в самый горячий момент игры послышался стон, будто кто-то невнятно произнес:

— Братцы!

Все, вздрогнув, обернулись. В дверях стоял штурман Сахаров. Он сильно дрожал и силился что-то сказать, но не было возможности разобрать ни слова. Сплошной кусок льда закрывал рот. Усы, смерзшись с одеждой и шапкой, спускались книзу, как моржовые клыки. Из страшной ледяной маски выставлялись только часть почернелых щек и конец багрово-красного носа.

Засыпав Максимыча вопросами, почему он один, где остальные, живы ли, не нужно ли помощи, мы с трудом добились ответа: штурман почти не мог говорить, казалось, он был в состоянии сильного опьянения. Мы узнаем, что остальные — в палатке, километрах в двенадцати. Несчастный поморозил руки и ноги. Опасаясь вовсе лишиться конечностей, он не остался на ночлег,— боль мешала уснуть,— а вышел к кораблю в сопровождении своего фаворита — собаки Штурки.

Последние километры Максимыч почти полз. Потерявшие чувствительность ноги не держали усталого тела, бессонные ночи вовсе отняли силы. Несколько раз он ложился на снег в полном изнеможении и начинал дремать. Его любимец Штурка в такие минуты садился поблизости и начинал выть по-волчьи, как-будто понимая опасность, какой подвергался хозяин, оставаясь без движения. Тоскливый вой будил замерзавшего. Он напрягал всю волю и поднимался. Когда до судна осталось уже небольшое расстояние, Штурка прибежал на „Фоку“,— тогда-то мы и услышали лай собак. Один из матросов видел Штурку, но не обратил на него внимания, совершенно позабыв, что Штурка был в числе ушедших с охотничьей партией.

Побегав около судна, Штурка вернулся к Максимычу и принялся лаять и теребить зубами замерзавшего хозяина. И на этот раз Максимыч имел достаточно воли, чтобы подняться и пройти оставшиеся полтора-два километра. Неподалеку от метеорологической станции он обессилел окончательно. К счастью, в это время вышел наблюдатель Пустошный и помог ему подняться.

Мы принялись оттирать пострадавшего. Более всего были отморожены правые рука и нога, левые — сравнительно слабо. После часовых стараний удалось восстановить кровообращение везде, кроме пальцев правой ноги и ступни: они оставались такими же белыми, твердыми кусками, как и раньше.

29 января. С утра Седов отправился на помощь охотничьей партии. Кушаков заблудился; Седов отыскал его недалеко от перешейка Панкратьева полуострова. Температура воздуха −49,9°.

2 февраля. Штиль, —37 Ц. Бедный Максимыч в постели. Отмороженные места превратились в пузыри, как от ожогов. Правая ступня покрыта сплошным пузырем, доставляющим большие мучения.

9 февраля. Сегодня солнце перешло нам горизонт. Праздник. В 11 часов с флагами, плакатами и знаменами отправились на гору встречать восход.

Процессия прошла к заранее раскинутой палатке с яствами. В полдень 17° мороза, горела яркая заря, небосклон был чист. Всех манила надежда увидеть солнце. Около 12 часов поднялся на небе красный столб — отблеск восходящего солнца, но оно не поднялось настолько высоко, чтобы показаться из-за новоземельских гор. Впрочем, несколько праздничных рюмок в палатке-буфете настроили всех нас достаточно празднично.

18 февраля. С десятого по нынешний день почти беспрерывно свирепствовала вьюга. Сегодня к полудню поутихло, небо очистилось совершенно. Только поземка мела струи снега по бухте и закрывала горизонт низким туманом.

И вдруг неожиданно снеговой туман прорвался нежным лучом. Осветив текучую реку снега, блеснуло солнце.

— Солнце, солнце!—закричали на палубе.

Все бросили работу, закричали: „Ура! ура!“—без конца, как будто совершилось особо радостное событие. Кто-то выстрелил из ружья, потом ударила пушка. Без слов мы стояли небольшой кучкой и смотрели на солнце, медленно высвобождавшееся из снежного тумана. Наконец-то дождались настоящего дня!

Состоялся экспромптом праздник в честь восхода солнца.

По белым берегам

Солнце принесло с собой радостную перемену и в природе и в нашей жизни. При свете дня выступили почти забытые подробности окружающего пейзажа. Все казалось новым. На горах почти не осталось темных пятен,— они поднимались к небу белыми привидениями. На льду, там, где раньше стояли высокие торосы, расстилалась ровная волнистая пелена снега, изрытого застругами. На скалистых обрывах гор повисли узорами лавины, а у подошвы каменных стен образовались глубокие снежные коридоры. „Фока" тоже закутался: из снежной одежды видны только стройные мачты. Нет необходимости пользоваться сходнями,— прямо с борта шагаем на снежную равнину.

Все сияло белизной и радостью. Но наши жилые помещения при свете дня казались еще мрачнее. Когда в первый раз золотой солнечный луч ворвался в иллюминатор и заиграл в темноте кают, стало заметно, сколько копоти накопилось за зиму: при искусственном свете мы не замечали, что стены из белых стали серыми от табачного дыма и копоти сутками горящих ламп.

Но теперь не было необходимости сидеть в каютах целыми днями.

Каюты пустели в каждый хороший день. Мы разбредались на работу по съемке окрестностей, по исследованию ледников, или занимались очередной работой у корабля. Медведь, посетивший „Фоку" 12 марта, мог хорошо рассмотреть все наши занятия. Был ясный день с одиннадцатиградусным морозом. Часть матросов пилила дрова, другие примеряли шлейки и кололи лед на айсберге; оба наблюдателя хлопотали над чем-то у будок, Седов делал астрономические наблюдения для поправки времени, я проверял работу кинематографического аппарата. Порядок мирной работы был нарушен незнакомцем. Он, не торопясь, направлялся прямо к „Фоке", обнюхивая по дороге все заслуживающее медвежьего внимания. Седов заметил гостя в двух десятках шагов от пиливших дрова. Я принес винтовку раньше других. На мой маневр обхода с целью отрезать отступление медведь не обратил внимания, но обхода я не выполнил: зверя заметила собака Варнак. Медведь, завидев несущийся жел-

тый клубок, струсил и быстрым галопом побежал прочь. Тем временем и остальные собаки заметили зверя. Началась погоня. Медвежий галоп на вид очень неуклюж и медлен, на самом же деле собаки его с трудом догоняют. Видя, что расстояние увеличивается, я подумал, что состязание в беге выиграет медведь, и попытался остановить зверя выстрелом с большого расстояния, но, конечно, не попал. Мишке, к его несчастью, вздумалось отдохнуть; он взобрался на высокий торос. Тут беглецу пришлось плохо: наши псы, оцепив медведя, задержали его до прихода охотников. Медведь рад бы выбраться из западни, но поздно. Собаки кидались на пленника единодушно при первой же попытке прорвать кольцо. Едва медведь делал движение, дорогу заступал Варнак. Обозленный зверь кидался в его сторону, но Варнака и след простыл. В то же самое время Разбойник и Весельчак вцеплялись сзади; мишка оборачивается, но те далеко, а на шее сидит Ободрыш, снизу же подоспевший Варнак рвет и теребит живот. Наконец, медведю удается стряхнуть с себя всех. Он прыгает на пять метров и подминает зазевавшегося Весельчака. Можно подумать,—Весельчаку конец. Нет,—другие не зевают: тотчас же после прыжка — на спине и на шее медведя вся компания; ему уже не до подмятой. А та, отделавшись царапинами, с еще бо́льшим ожесточением кидается в бой.

Это была первая охота с собаками. Я не был уверен, что собаки долго задержат зверя, и потому, подбежав на сотню шагов и выждав, когда поблизости не было собак, выстрелил и убил медведя наповал. Пуля попала в висок. Медведь рухнул, и вся свора набросилась теребить и рвать убитого. Это был самец с прекрасной шкурой.

13 марта. Седов возвратился с прогулки с прелестным пушистым медвежонком за спиной. На Южно-Крестовом острове Варнак с Разбойником отыскали на склоне берлогу и выгнали из нее медведицу с двумя медвежатами. Седов застрелил мать на расстоянии пятнадцати шагов. Одного медвежонка загрызли собаки. Варнак перервал ему горло одним ударом зубов, волчьей хваткой закинул детеныша на спину и понесся прочь рвать и терзать свою добычу. Седов едва спас другого.

Звереныш за дорогу от берлоги превратил в лохмотья пиджак Седова. И на корабле он успел покусать и исцарапать всех. Его укус посерьезнее собачьего, а удар лапки такого полутора-двухнедельного детеныша дает понятие, что за сила должна быть у взрослого.

На следующий день Линник, ездивший с Кушаковым за матерью этого медвежонка, убив рогатиной еще одну медведицу, привез на „Фоку“ ее детеныша. У нас два питомца.

Медвежонок, принесенный Седовым, стал привыкать к людям. Сначала наш питомец упорно отказывался от еды и на приближавшихся к нему людей немилосердно шипел и ворчал.

Вместо того, чтобы брать соску, наскоро состряпанную местными химиками из лабораторной пипетки, он норовил вцепиться в руку. Кому-то пришла мысль просунуть соску в кусок медвежьей шкуры и уже в таком виде преподнести ее нашему младенцу. Дело пошло на лад: Мишка стал хорошо тянуть из соски разведенное молоко Нестле, уминая, как котенок, лапами шкуру и издавая звуки удовольствия, напоминающие пыхтенье автомобиля на тихом ходу. Питомец был окружен нежностью людей, которую им, видно, некуда было девать. Усердные няньки, не обращая внимания на исцарапанные руки и порванные брюки, окружали Мишеньку неслыханным для медведя комфортом. Другой питомец—Васька—пользовался меньшим вниманием из-за своего тяжелого характера. Это был злющий звереныш.

В половине марта начались санные экспедиции. Первой партией ушли Визе и Павлов 18 марта на разведку подъема на ледяной покров. Другая партия отправилась на Южно-Крестовые острова,—поехали Седов и я.

При посещении острова Пинегина я отделился от саней, чтобы измерить анероидом высоту горы. В это время сопровождавшие меня собаки Варнак и Разбойник вдруг что-то почуяли и во весь опор побежали к склону горы шагах в двустах. Собаки в упряжи тоже взбесились и, завывая, понесли перевернувшуюся нарту. С трудом остановив упряжку, мы взялись за ружья.

Под самым обрывом чернело отверстие, дымящееся паром, а оттуда, свирепо щелкая зубами, ревела и шипела огромная медвежья морда. Собаки рвались в берлогу, но вход заграждали страшная лапа и могучая пасть.

Мы, не торопясь заканчивать охоту, с пяти шагов долго рассматривали медвежий дом и его хозяина, а в это время ярый охотник Фрам, вырвавшись из оставленной позади упряжки, стрелой пронесся мимо нас и с разбегу нырнул прямо в берлогу. Медвежья морда исчезла, из берлоги донеслись глухой рев, рычанье, дикий визг собаки. Мы считали, что с Фрамом уже покончено. Но вот прошло секунд пять-десять, показалась в отверстии Фрамова голова, опять исчезла задним ходом, а в следующее мгновение весь Фрам вылетел в виде сильно помятом, но живой. Двумя выстрелами почти в упор мы окончили охоту. Еле-еле вытащили матерую медведицу. Я отправился исследовать берлогу.

В логовище вел тесный полутемный коридор, длиною метров шесть. Сама берлога — просторная пещера в рост человека вышиной и диаметром метра в три. При голубоватом свете, проникавшем через тонкий потолок, мохнатый от кристаллов замерзших испарений, я заметил двух медвежат, притаившихся в углу. Бедняги! Они видели в образе моем нечто неизмеримо страшное своей чернотой,— с таким ужасом смотрели на вторгшегося!

На Крестовых островах мы пробыли шесть дней. Седов по подошедшему ледяному полю пытался достичь Северо-Крестового острова, но потерпел неудачу.

30 марта отправились одновременно в санные экспедиции Павлов и Визе, рассчитывая пробыть около месяца.

1 апреля ушел на север Седов с Инютиным для описи всего северозападного берега Новой Земли от Панкратьева полуострова до мыса Желания.

Время шло. Медленно, неуловимо для глаза, солнце поднималось выше. Все дольше становился день, а ночь, быстро укорачиваясь, светлела. Одни погоды, казалось, оставались прежними: те же холода, вьюги, морозные туманы. Однако 18 апреля почувствовался перелом. Нахожу в дневнике под этим числом:

„—8°Ц. Штиль. Наконец-то теплее! С утра до обеда просидел за этюдом у мыса Столбового, нисколько не озяб. На „Фоке“ узнал, что максимальный термометр показал +3°. Под вечер принес еще этюд, а днем сделал рисунок. Солнце ослепляет, а синева в тенях невероятна. По горам, не тая, но медленно испаряясь, с черных камней сходит снег. Около полудня пролетели над „Фокой“ две чайки — первые вестницы с юга, куда в эту пору невольно уносишься воспоминаниями. Чайки весело кричали. Вся команда с детской радостью следила за полетом: „Это наши, беломорские!“ Медвежата тоже целый день на солнышке. Они совсем привыкли к людям. Наш первый питомец — Мишка, надоедая всем, тянется лизать руки и сосать палец: ко-ко-ко-ко-ко — „кокает“, как говорят матросы. В свободные минуты, бывает, сажусь на снег и подзываю медвежат. И Мишка и другой — сердитый Васька свои клички знают хорошо. Мои — Полынья с Торосиком — моложе всех и еще плохо усвоили имена, но на руки забираются: гладишь зверушек, а они, шутя, кусают пальцы, ласково ворчат и „кокают“. На ночь заваливаются в собственную конурку и спят вповалку друг на друге“.

28 апреля почти одновременно вернулись Визе и Павлов. Они, чтобы помогать друг другу, не разделялись до самого Карского моря. Только там разошлись в противоположные стороны.

Подъем на Новую Землю с западной стороны не особенно труден: начало его облегчается моренами. Дальше подъем также не крут, но очень опасен бесчисленным количеством трещин и провалов, закрытых ровным слоем хорошо слежавшегося и прибитого ветрами снега. Несколько раз караван останавливался, чтоб обойти ту или другую трещину, и, наконец, случилось: Павлов, шедший впереди, внезапно исчез. Визе так описывает это происшествие:

„С утра я и Павлов пошли вперед, чтобы проложить путь. Павлову начало казаться, что мы идем не по леднику, а по снежнику, мы поспорили об этом. За спором мы совершенно

забыли о трещинах. В это время я обернулся, чтобы взглянуть, далеко ли мы отошли от нарт. Убедившись, что мы отошли еще недостаточно, я хотел продолжать путь, но, к моему удивлению, я не увидел Павлова. На том месте, где он стоял, виднелось в снегу круглое отверстие. С большим беспокойством я подошел к трещине, заглянул в отверстие и увидел казавшуюся бездонной синюю пропасть шириной около полутора метра.

— Михаил, ты ушибся? — крикнул я в трещину, в которой должен был находиться Павлов, но которого я не мог видеть в глубоком мраке трещины.

— Нет! — донесся до меня глухой, точно из подземелья, голос.

„На сердце у меня сразу отлегло: жив!

— Ты глубоко упал?

— Да! И теперь я убедился, что это не снежник, а глетчер!"

Вверху подвели к трещине обе нарты и спустили веревку. Она не достала. Вытащив ее, связали с другой — от укупорки нарты.

Только связав три конца, получили надлежащую длину: Павлов висел на глубине 16 метров. Обрушив своим паденьем часть моста и пробив его одной ногой, геолог другой ногой и спиной упирался в стены скользкого ледяного ущелья,— положение ненадежное. Более получаса понадобилось Павлову на разрешение трудной задачи: как поймать конец веревки, не двигая корпусом, и обвязать себя достаточно прочно одной рукой. Все приключение отняло около четырех часов. Бедный геолог отделался только ушибами, но уверяет, что минуту падения он не забудет до самой смерти.

Когда Павлов был наверху, решили поставить палатку недалеко от злополучного места. Распрягая собак, Коноплев вдруг заметил: „Тут место поло!" Визе ударил в снег палкой и обнаружил тотчас же большую трещину. Несколько шагов вправо — тоже трещина, влево — тоже: друзья попали в лабиринт.

Убедившись, что под самой палаткой трещин нет, решили другого места для лагеря не искать.

Визе сделал подробную съемку всего пути. Ширина Новой Земли под 76° около 75 километров. Вся средняя часть ее завалена льдом, скрывающим даже вершины гор. Высшая точка ледяного покрова — 900 метров.

Перевал выглядит ровным, бесконечно белым плоскогорьем с поверхностью снега, сильно изрытой заиругами. Белая равнина, слабые очертания гор на самом горизонте, струйки вечно курящегося под ногами снега — вот, по описаниям Павлова, пейзаж этого ледяного царства.

Весь переход на Карскую сторону, включая и дни, проведенные в палатке из-за свирепых бурь, длился две недели. Визе был в отчаянии: с оставшимся запасом провианта на две недели невозможно было дойти до мыса Желания. Визе прошел

40 километров к северу по восточному берегу, чтобы определить астрономически его положение и снять на карту виденное. Из-за долго длившегося перехода через ледяной покров и Павлов не мог пройти далеко на юг, но его главная цель — разведка внутренней части острова — была уже достигнута.

Обратный путь дался Павлову не легко. Три дня просидел он на перевале, осажденный бурей. Одна собака замерзла в эти дни. Визе потерял трех собак.

С 5 до 18 мая я совершил санное путешествие, обойдя морскую сторону островов Панкратьева, Назимова, Пинегина, Берха и Большого Заячьего. Эта экскурсия была сильно стеснена малым количеством провианта для собак. Обходя остров Панкратьева, я нашел громадные залежи плавника, а на морском берегу острова Берха открыл несколько пещер. Несчастье, случившееся при осмотре одной пещеры с моим спутником Линником (он сильно расшибся, скатившись на камни по обледенелому откосу), заставило меня преждевременно вернуться на „Фоку“, не закончив путешествия обследованием острова Вильяма и берега за мысом Черным.

Мы ждали Седова к половине мая. Идя к бухте „Фоки“ после двухнедельной отлучки, я ожидал услышать свежие новости с мыса Желания, но Седова еще не было. Мы знали хорошо, что его провиант рассчитан только до половины мая. Следовательно, в мае он мог жить исключительно за счет удачной охоты. Эта пора — лучшая для охоты на медведя. Наконец, птицы прилетели,— ими можно пропитаться. Так успокаивали мы себя, обсуждая долгое отсутствие нашего вождя. Однако было решено, что после 1 июня я с большим запасом провианта отправлюсь навстречу.

Седов вернулся в ночь на 27 мая.

Мы не узнали своих товарищей,— так изменились они за два месяца. В прокопченной одежде, с заросшими бородой, черными, как у мулатов, лицами, настолько похудевшими, что блестящие зубы обтягивались губами, Седов и Инютин выглядели настоящими дикарями. Сильный запах ворвани обдал меня при встречном поцелуе.

Седов исследовал весь западный берег до мыса Желания, план исполнил целиком. Даже больше: не найдя в условленном месте Визе, Седов, обогнув северную оконечность Новой Земли, направился дальше на юг и дошел до мыса Виссингер-Гофт.

Выяснилось, что очертания северной части Новой Земли совсем не таковы, какими мы привыкли их видеть на картах. Изгибы берега нигде не совпадают с изображавшимися до сих пор. Карта Седова почти не похожа на прежние. Съемка однообразных ледяных берегов очень трудна. Половина времени ушла на астрономические определения, остальное — на преодоление трудностей пути. Много пришлось идти по торосам, по моло-

дому льду, тонкому, всегда покрытому слоем выкристаллизовавшихся морских солей. Сани и лыжи по такому льду скользят не лучше, чем по песку.

Можно представить, что путешествие по льду, обладающему такими свойствами, особенного удовольствия не доставляет. Но что же делать, если с одной стороны высится неприступный ледяной обрыв, а с другой — открытое море? Седов, не имея выбора, несколько раз шел по узенькой полоске припая подле самой ледяной стены.

Неоднократно нарта оседала, но удавалось каждый раз находить куски более плотного льда. У мыса Малого Ледяного сани, попав на особенно тонкий лед, внезапно оказались в воде вместе с людьми и собаками. Положение казалось безвыходным: при попытках вытащить нарту лед не выдерживал ее тяжести и обламывался.

На месте крушения образовалась широкая полынья,— в ней плавали сани. Люди и собаки то выбирались на лед, то снова проваливались. Путешественники пробыли в воде более часа. Все подмокло, исключая ящик с хронометрами, привязанный на верху саней; погибли все фотографические снимки, растаял последний сахар.

Окрестности Малого Ледяного мыса вообще памятны нашим путешественникам. На той же узкой полоске прибрежного льда случалось часто приближаться к страшным ледяным стенам. Миновав один выступ ледника, сильно нависшего над морем, Седов и Инютин услышали страшный грохот. Обернувшись, они увидели, что выступа больше не существует: он рухнул в море, уничтожив бесследно полоску льда, по которой только что они прошли. В том месте бурно вздымались волны, из моря, сталкиваясь, выныривали громадные айсберги. Лед ломался вокруг по всем направлениям. Еле управляя обезумевшей запряжкой собак и тревожно оглядываясь, путники спешили убраться подальше.

По пути вперед открытое море виднелось только вдали. На обратном — оказалось, что лед успел оторваться от берегов. На месте старого образовалась та самая полоска припая, которая доставила столько приключений. И эта полоска в конце концов прервалась. По счастью, в том месте подъем на береговой лед оказался возможен. Седов обошел полосу открытого моря по леднику. Две собаки — Черный Медведь и Штурка — при восхождении на ледник провалились в трещину. Медведь погиб, Штурка же какими-то загадочными путями выбрался из глубокой трещины. Через сутки, израненный, с разбитым боком он догнал сани.

Открытая вода принесла не одни неприятности: стали встречаться медведи. За все путешествие Седов убил трех. Не будь медведей, положение его оказалось бы трагическим: главные запасы провианта иссякли еще до 15 мая. Последние две недели

путники питались исключительно мясом, варя и жаря его на медвежьем жиру. Кухню заменила порожняя жестянка. Первобытный очаг действовал исправно, но имел склонность немилосердно коптить. Этим обстоятельством и объяснился „прекрасный негрский цвет лица“, так поразивший всех нас при первой встрече.

На мысе Желания Седов нашел каменные гурии и старинный русский крест. Возможно,— то знак полулегендарного олончанина Саввы Ложкина, который, будто бы, в семнадцатом веке за три года обошел на карбасе всю Новую Землю. Подобный же крест Седов нашел поблизости мыса Медвежьего. Кресты— русские. Кто бы их ни поставил, они остаются памятниками отваги и предприимчивости безвестных русских мореходов из народа.

Глава экспедиции набросился на еду голодным волком. Борщ, консервы и больше всего хлеб исчезали к удовольствию нашего буфетчика Кизино в количествах невероятных. Мы не спали всю ночь, разошлись по каютам около полудня. Рассказывал Седов, рассказывали и мы о своих делах и приключениях. О чем не говорилось только!

За время путешествия Седов потерял пуд веса. Отмыв смываемые слои копоти и грязи, вождь наш возвратил отчасти прежний облик. Только худоба осталась на некоторое время да что-то новое в лице — навсегда.

Лето под 76 градусом

Вскоре по возвращении Седова погода изменилась. Холода ослабли, все чаще наползали низкие, сырые туманы; когда их пробивало солнце, становилось теплей. Походило, что не воображаемая, а настоящая весна наступила и здесь. Мы скоро разочаровались в полярной весне: не радостную игру солнца, а слизь постоянных густых туманов видели мы, не шум быстрых ручьев, а вой ветров, не новые проталинки являлись каждый день,— шло медленное разрыхление и оседание снегов. Меня, Павлова, Линника и Коноплева эта пора застала на Горбовых островах. Там, на Большом Заячьем острове, стоит избушка, построенная некогда норвежскими промышленниками; мы переселились в нее на некоторое время, чтобы приблизиться к острову Берха, который мы исследовали. Очистив избушку от снега, мы привели ее в порядок, вставили стекло в разбитое окошечко, устроили нары, умывальник и полочки, поправили трубу и печь. Просматривая путевую книжечку, в отделе метеорологических наблюдений, всегда аккуратно веденных в экскурсиях, я нахожу записи погод от 1 до 19 июня. За это время мною отмечены только три дня без тумана, все остальное время — сырая мгла, ветер, густой туман, изредка вьюга и дожди!

Павлов, закончив свои наблюдения, уехал 13 июня на „Фоку". Я предполагал остаться на Заячьем до конца июня. 18-го неожиданно приехали две нарты с „Фоки", с ними пришли Линник и Коршунов. Они привезли важные новости и письмо Седова.

Седов решил послать на юг в Крестовую губу партию, которая доставит к первому пароходу копии всех работ, исполненных экспедицией. Во главе партии Седов решил поставить капитана Захарова. Главная задача — сообщить в Петербург, что в прошлом году „Фока" не достиг Земли Франца-Иосифа, что более половины собак оказались негодными и погибли, что угля осталось ничтожное количество. С такими средствами достижение полюса становится маловероятным. Необходима помощь в виде присылки судна с углем и хорошими собаками. В письме Седова, адресованном мне, была просьба поместить привезенную на санях провизию в сухом и безопасном от медведей месте: партия Захарова вскоре приедет и будет на

острове Заячьем дожидаться возможности тронуться в путь на шлюпке. Меня Седов просил вернуться, чтобы принять участие в составлении отчетов и успеть до отъезда отпечатать копии всех фотографий.

Я вернулся к нашему зимовью 20 июня. Не узнал „Фоки". Он покрашен и прибран. Сугробов, закрывающих борта, как не бывало. На палубе сновали люди в легких одеждах, кипела жизнь. А давно ли вылезали из-под снега угрюмые, бледные люди, торопливо бежали куда-то и опять ныряли под палубу-сугроб!

Весь откос полуострова обнажился. Там—веселые ручейки. Давно ли он высился белочеканной стеной, а отблеск северного сияния серебрил затянутые льдом камни? Где навесы лавин? Где наша анемия и сумрачные мысли, где вялость и нерешительность осенней поры?

Весь июнь стояла сырая погода с туманами и дождями. Мы почти не покидали „Фоку". Все спешили закончить научные отчеты и написать письма на родину. Вычерчивались карты и диаграммы; спешная работа закончилась только в первых числах июля. Наконец, 4 июля капитан Захаров уехал на остров Заячий. Копии всех работ экспедиции и кинематографические ленты были вручены ему запаянными в два цинковых ящика. Шлюпку поставили на двое саней. Тридцать собак неожиданно легко повезли ее. С Захаровым отправились помощник механика М. Зандер, плотник Карзин и матросы Катарин и Юган Томиссар, Выбор спутников Захарова был сделан Седовым. Партию снарядили очень заботливо, снабдив тщательно подобранным провиантом, картами, компасом, секстантом, инструментами, оружием и патронами... даже теплой одеждой на случай непредвиденного несчастья, которое заставило бы задержаться на зиму в необитаемой местности.

Первые две декады июля стояла, как в июне, туманная погода: дожди, слякоть на берегу и на морском льду. Только в конце месяца наступили чудесные, ясные дни, которыми так дорожит каждый полярник. Было почти безветренно. Забываясь за работой, мы не делали различия между днем и ночью, забывали об обеде и ужине, забывали о сне.

Какое действие производят горячие солнечные ласки! С удивлением мы убеждались, что и этой промерзлой земле возможно немного оттаять. Из-под каждого снежного пласта шумели веселые струйки. Они растут, прыгают по камням, образуют речки и озера. Лед в бухтах затоплен водой. Куда ни посмотришь — озера и лужи. И горы освобождаются: более низкие océолосованы длинными лентами снегов по оврагам. Дрожа в дальнем мареве, ленты переливаются каким-то странным колебанием,— чудится, что по горным склонам ползут живые белые змеи и свертываются на вершинах в плотный клубок. Но там, за прибрежными горами, на отдаленном ледяном покрове убежище белых снегов ненарушимо. В прозрачном воздухе теперь ясно

видна главная линия могучего льда. Она так же чиста, как зимой, и всегда—из года в год, из столетия в столетие. Накопляются новые массы снегов, расплываются, но верхняя линия от того не меняется. Она слишком глубоко похоронила все живое.

Кругом „Фоки“ лужи и озера. По ним плавают бесчисленные консервные жестянки и все, что бросалось за борт зимой. Среди всей этой грязи снуют собаки и медвежата,— роются в грудах отбросов, нет ли чего съедобного. Наши питомцы-медвежата невероятно грязны, трудно поверить, что они детеныши белого полярного медведя. Я часто наблюдаю повадки славных зверьков. Какая своеобразная грация в каждом движении! Они не помнят матери, не знают свободы ледяных просторов, все их впечатления—„Фока“ с его двуногими и четвероногими. Но все движения зверьков—точное повторение повадок взрослого медведя.

Наши питомцы становятся очень сообразительными. Час еды и своего благодетеля Ваню-повара знают прекрасно. Еще задолго до обеда они все в сборе перед дверью камбуза. В это время с палубы их не прогнать. Для штурмана Максимыча палуба — священное место. Он частенько пошвыривает нечистоплотных медвежат прямо за борт с достаточной бесцеремонностью. Но предобеденное состязание в упрямстве всегда и неизменно оканчивается победой нарушителей чистоты и порядка.

Беда собаке, подошедшей к корыту медвежат. Удар лапы, быстрый, как пуля, оглушает дерзкую. Нередко тотчас же в ход пускаются и зубы. Медвежьи же зубы — серьезная вещь.

Ночью, когда все отдыхают от трудового дня, и палуба пустеет, наши проказники обыкновенно отправляются к излюбленному айсбергу—„Колодцу“. Там начинаются возня, катание по снегу, повертывание, бесцельные как будто бы прыжки, мытье шерсти,— особенно передних лап и ушей.

Мирная жизнь медвежьего питомника в последнее время нарушена. Заметив их понятливость, я как-то дал Седову мысль приучить их к упряжке. Седов за эту мысль ухватился горячо:

— Великолепно! Что они дармоедствуют, в самом деле? На „Фоке“ не должно быть дармоедов. Будут они у меня дрова возить!

Взялся за дело рьяно.

Бедные медведи сначала ничего не поняли. Тогда Седов пустил в дело кнут. Достаточно поревев во всю силу медвежьих легких, все же сообразили, что нужно делать для избежания ударов плетки. В конце первого урока Полынья и Торос уже не упирались, а тянули нарту, но только по направлению судна. Однако уроки упряжной езды очень напугали их. На человека смотрят подозрительно, не бегут сломя голову при первых же звуках „ко-ко-ко“,— так подзываем их, когда хотим дать съедобного. Но в беде держатся скопом. Когда одного запрягают, остальные идут рядом. Когда бьют запряженного, ревут все три

медвежьих горла: один медвежонок кричит от боли, спутники же — по сочувствию беде товарища.

Трудно надеяться, что лед, заковавший „Фоку“, может растаять. Все-таки дожди несколько разъедают льдины с поверхности и — главным образом — в местах спайки старых пластин. Там лед сравнительно тонок и пропитан кристаллами солей. Дожди и талая вода быстро растворяют их. Лед, лишенный солей, становясь рыхлым и пористым, легко распадается.

Таким образом, мало-помалу распаивается лед, набившийся в бухту „Фоки“ осенью прошлого года. Теперь окошечки морской воды темнеют по всей бухте.

Солнечные дни простояли почти до второй декады августа, потом начались бесконечные дожди. Такая погода, очевидно, нравится нерпам. Всякий раз во время туманов и дождя мы видели по бухте много нерп, неподвижно лежащих на льду. Не находят ли жители мокрой сферы, что без дождя в воздухе слишком сухо? Мы испробовали много способов охоты на них. Нерпы очень чутки, редко подпустят ближе 250—300 шагов, убить же нужно наповал, иначе раненая в секунду соскользнет в свою лунку — отверстие во льду. Для подобной охоты нужно обладать терпением и верностью глаза, чтобы сначала часами подкрадываться под прикрытием торосов и по открытому месту в то время, когда нерпа, опуская голову, засыпает, и потом сделать точный выстрел в голову,— иначе случается, что в агонии убитая скатывается в море. Отправляясь на охоту, некото-



Медвежата-питомцы седовской экспедиции

рые из нас надевали белые халаты, другие предпочитали быть похожими на тюленя, особенно в то время, когда приходится ползти по открытому месту, и одевались соответственным образом — в тесные куртки и шапки, обтягивающие всю голову. 7 августа было убито шесть нерп.

На мысе Столбовом оказалось много гнезд чистиков. Нередко по ночам лежал я на краю обрыва с сильным биноклем в руках, подолгу смотря в расщелины, где спрятаны гнезда. Оттуда доносятся веселые, тонкие писки: птенцы вылупились. Но гнезда совсем неприступны: вверху — отвесный каменный обрыв, внизу — вода, огражденная со всех сторон высоким ледяным валом — остатком когда-то бывшего здесь огромного сугроба, любимого места наших зимних прогулок. В августе я жестоко поплатился за попытку достать птенца для фотографии. Поскользнувшись в том месте, где ледяной вал примыкал к каменной стене, я скатился вниз и попал в глубокую воду. Что-то около получаса плавал я, отыскивая выход из ледяной ловушки. Пришлось прикладом ружья выбивать ступени во льду.

Пока я плавал, чистики не обращали на меня внимания: может быть, принимали меня за тюленя?.. Но переполошились не на шутку, увидев веселого человека — без сапог, бешено носящегося по льду кругами в клубах пара и брызг!

Если посмотреть с палубы, то по окошечкам морской воды замечаешь подвижные черные точки, иногда они показываются у самого судна. Это нерпы выставляют головы, чтобы набрать воздуха. Вблизи — любопытное зрелище. Из воды выскакивают, как китайские болванчики, черные головки, похожие на человеческий череп, обтянутый кожей, одна подле другой, часто до дюжины. Они смотрят на человека с явным любопытством. Чтоб рассмотреть такую диковину — торчмя стоящего „тюленя“, они высовывают туловище наполовину, раскачиваясь блестящим телом. То одна, то другая вырывается ластом на воздух и невольно погружается в воду, чтобы сейчас же высунуть еще более блестящую мордочку. Пляска длится, пока не подойдешь близко. Вдруг наиболее пугливая нерпа с шумом ныряет, а за ней другие, как по сигналу вспенивая добела зеленое море. Если поблизости есть другое отверстие, нерпы перекочевывают туда, и пляска продолжается. Если же продушины поблизости нет, спустя несколько минут в старом месте показывается головка первого смельчака.

Мы бы оставили милых зверьков в покое, если бы они не были так жирны. В каждой нерпе десятки килограммов сала, иначе говоря,— топлива для будущего пути на Землю Франца-Иосифа. Поэтому, позабыв жалость, мы старались убить нерп побольше. Охотились несколькими способами, один из них — с гарпуном — „по головкам“. Один охотник стреляет, другой — наготове с гарпуном, чтобы сразу после выстрела, пробежав 20—30 шагов, успеть бросить оружие в тонущую нерпу. Попасть



Лето на Панкратьевском полуострове Новой Земли

пулей за 30—40 шагов не трудно. Но всадить гарпун удается из трех раз один. То стрелять пришлось издалека, то лед по пути непроходим, то лунка широка, а главное — гарпунеры мы плохие,— это большое искусство метко попасть в небольшую точку. Иногда случается, нерпа тонет, как ключ. Охотник, подбежав, видит кровавый столб, спущенный в морскую глубину. Как все трудно достижимое, эта охота имеет своих приверженцев. Я постоянно приходил на „Фоку" мокрым с головы до ног после внезапной ледяной ванны, когда в горячке охоты ступишь на разъеденный лед.

Седов, вернувшись с Горбовых островов, где он производил съемку берегов, привез неприятную новость. Капитан Захаров, оказалось, никак не мог решиться начать свой поход, в то время как открытая вода была всего в шести километрах. Наша почта к первому пароходу не попала. На другой же день Павлов отправился на остров Заячий с дополнительным провиантом для капитана и с поручением характера „дипломатического"... поторопить.

Павлов вернулся 17 августа. Капитан еще на острове. Седов, опасаясь, что капитан, в ожидании особенно благоприятных условий для плавания, пропустит и второй рейс парохода, передал команду над партией штурману Николаю Максимовичу с тем, чтобы он немедленно отправился в путь. *

20 августа. Сегодня Седов, заметя особенно большого тюленя, послал за мной. Я, польщенный признанием меткости моего глаза, не ударил в грязь лицом и застрелил зверя одной пулей. Он оказался самкой морского зайца длиной 2 метра 67 сантиметров. Заметны ночи. Полночное солнце 15 августа светило последний раз. Крепчают утренники, и иней на горах днем сходит не сразу.

24 августа. Медвежий день. В шесть часов утра Лебедев поднял тревогу. Прекрасное солнечное утро. Медведя заметил Коноплев. Мишка не удостаивал взглядом „Фоку". Свернувшись пружиной у лунки, он поджидал тюленей. Коноплев, наблюдая через бинокль желтый предмет, долго не решался будить охотников,— так неподвижно застыл у промоины во льду медведь. Наблюдавшему казалось — не желтая ли льдина там? Но вот в промоине появилась первая головка нерпы. Медведь, распластавшись в воздухе, прыгнул в воду, нырнул и через мгновение показался, держа в зубах добычу. Первым делом он раскусил нерпе затылок, потом отправился на высокий торос завтракать, таща крупную нерпу подобно коту, несущему крысу.

Легко ранив этого медведя, я долго кинематографировал охоту: как собаки держат зверя, не выпуская из круга. Во время съемки собаки загнали медведя в тюленью лунку; мы боялись,

* В самом деле, Захаров, проплыв до Маточкина шара на шлюпке, опоздал к первому пароходу. Весть о нашей экспедиции была получена глубокой осенью, когда было поздно оказать ей помощь.

не вздумал бы медведь нырять. Тогда Пустошный и Инютин накинули ему на голову петлю и с помощью остальных зрителей охоты потащили медведя из воды. Взбешенный медведь кинулся сначала на тянущих, потом на собак и оборвал веревку. Я этой игре мог уделить лишь несколько метров пленки: сто метров в кассете подходили к концу. Наконец Седов убил одним выстрелом медведя.

Довольные удачной съемкой и охотой, мы весело направились за нерпой, брошенной медведем. Вдруг заметили еще одного. Вместо заслуженного отдыха — опять бежать. Через полчаса догнали. Подбежали вплотную. Медведь, плавая в окошечке проеденного льда, еле вмещавшем огромную тушу, свирепо огрызался на собак. Мы постояли в нерешительности: как быть? Если застрелить его тут же — может потонуть, а у нас — ни веревки ни гарпуна. Решили попробовать выгнать мишку.

Я пустил пулю под самую кожу на лопатках. Несчастный взревел и поспешно вылез из полыньи. За пятнадцать шагов не трудно попасть под лопатку; однако пуля не задела сердца. Рассвирепевший до пределов зверь направился прямо на нас. В моем мозгу промелькнула мысль: дальнейшая забота о красивом виде будущего медвежьего ковра может принести коекакие неприятности мне и Седову, стоящему рядом с ружьем, но без патронов. Я поспешно выстрелил в голову, но промахнулся: пуля, скользнув по височной кости, впилась в плечо, медведь продолжал двигаться на нас; оставалось пять шагов. Только после



Трофеи охоты

третьего выстрела в ухо он свалился буквально к ногам, обдав водой с головы до ног и нас, и только что подбежавшего Пустошного со своим оружием — веревкой.

Третий медведь подошел к мысу Обсерватория, в то время как все отдыхали после беготни за медведями. Этого собаки загнали в продушину льда, оттуда Пустошный выгнал его покалыванием гарпуна. Мы быстро застрелили и этого.

25 августа. Судно наше живописно. На солнце светится свежая краска. Палуба залита тюленьей кровью, тут же в ожидании съемки шкур лежат и туши; собаки лижут их. На вантах освежеванные медведи и шкуры. Неободранный медведь лежит у борта. Наши медвежата с любопытством обнюхивают его. У Торосика проснулся инстинкт: он старательно роется носом в шерсти на груди и, не находя ничего, сердито ревет.

Теперь медвежата уже вполне освоились с упряжью; можно считать, мы неожиданно получили новый вид домашнего животного. Правда, при виде приготовлений к поездке за дровами они всегда стараются удрать подальше. Но, раз попав в руки, не пытаются освободиться и усердно тянут сани. Обычно на медвежью нарту кладется около 100 килограммов дров. Наши друзья без особенного напряжения справляются с таким грузом.

В награду за понятливость и за усердную работу в упряжи медвежатам дали под вечер наесться вволю тюленя, обгрызенного медведем. Еще раньше замечено, что наши лакомки предпочитают мясу сало, если есть возможность выбирать. В этот раз они наелись до того, что не могли ходить. Животы их в буквальном смысле волочились. Полынья еще кое-как передвигала ноги, но Торос после двух-трех шагов зацеплялся брюхом и падал, блаженно вытянув морду. Не надо думать, что, наевшись, они на некоторое время отказывались от пищи. Нет, нет! Первая цель их—как-нибудь добраться до недоеденного мяса! А там снова ели, пока окончательно не утрачивали способности не только двигаться, но даже поместить в горло хоть бы один кусочек.

28 августа. Седов предложил мне вчера пойти прогуляться, взглянуть с Панкратьева острова на состояние льдов. По дороге мы обращали внимание на каждую дырку и трещину во льду.

— Смотрите, весь лед разъеден. Стоит подуть крепкому встоку,— вынесет в море одним духом!

Так утешали мы друг друга, но чем дальше подвигались, тем мрачнее становились мысли. Лед разъеден, но не поломан. Плавучий лед начинался в том же месте, где и зимой была полынья. Но и там лед сплочен, пробиваться кораблем очень трудно.

Едва вернулись на „Фоку“, заметили возвращающихся штурмана и Визе. Свежие новости. Партия капитана вышла, наконец, 7 августа,— об этом гласит плакат в норвежской избушке!

29 августа. Годовщина нашего отплытия из Архангельска. По этому случаю — праздничный пирог с медвежатиной, медвежьи почки и прочие изысканные блюда.

Седов в большой речи благодарил всех, указывая, что и незаметная работа каждого в своем деле становится видной в общем результате. А результат работы этого года таков: попути к далекой еще цели мы за один год сделали работу, достойную специальной большой экспедиции. Именно: исследовав Северный остров Новой Земли, уничтожили почти все белые места ее карты и разрешили загадку внутренней части Земли.

Достал новую тетрадь для дневника. Предыдущую я начинал словами: Это — тетрадь солнца. На новой следовало бы написать: Тетрадь второй тьмы. Да, солнце уходит: эти строки пишутся уже при свете свечи. Как торопится притти сюда ночь! Ночи настоящей еще нет, но предчувствие ее ощущается. С каждым днем гаснут краски, что ни сутки — раньше замечаешь сгущение сумерек. Через два месяца ночь, торжествующая, вступит в свои чертоги. Будет рисовать узоры сугробов, петь бесконечные песни.

Неужели вторая ночь застанет нас на том же месте?

Все приготовлено к плаванию. Эти недели решат нашу судьбу. Жизнь в ожидании. Мы работаем, наблюдаем, думаем, сражаемся с медведями,— вот внешние формы жизни. У каждого есть своя мечта. Мы пытаемся делать все для нее. А природа смеется над нашими стремлениями.

И общая мечта всех — плыть дальше на север — зависит ныне от ветра: если будет „всток“ в течение ближайшей недели, мы поплывем. Нет — останемся еще на год здесь.



Медвежонок в упряжке

На северном курсе

3 сентября я был дежурным. Вахтенный Шестаков вошел в мою каюту задолго до срока наблюдений. Он разбудил меня и, стараясь сохранить солидный вид старого помора, которого ничем не удивишь, доложил:

— Лед в бухте ломаться зачал.

А с губ сорвалась улыбка. Перед тем насупленные брови заползли на половину лба, и раскололась безусая физиономия,— вместо баса юношеским тенорком вылетело:

— Ну, и занятно!

Не было еще четырех утра. В безветрии, просекая жидкий туман, моросил дождь. Из-за мыса мягким ворчанием несся ровный гул — нето совсем далекий гром, нето грохот прибоя. Гул усиливался и, близясь, окружал корабль. Со всех сторон, разрезая туман серыми и изумрудными штрихами, черкали трещины. Одна — выстрелом порвала лед под самым форштевнем „Фоки" и, сразу же превратившись в канал шире метра, дальним концом скрылась в мути тумана. Весь лед грузно колыхался,— тихий воздух все полней насыщался хряском и шуршанием льдин, трущихся своими краями. Две собаки, отрезанные от корабля, с испуганным лаем и визгом метались из стороны в сторону, отпрыгивая от расщелин, разверзавшихся всюду.

Пока я производил метеорологические наблюдения, картина зимовки резко изменилась. Трещины расширились, их пересекли новые. Некоторые льдины, развернувшись, поплыли, другие повернулись, и ледяная равнина вокруг „Фоки", так изученная за год во всех мелочах — с тропинками, с остатками построек,— разъехалась, приняв подобие составной картинки, тронутой шаловливой ручкой ребенка.

Наши молодцы спали крепко: гул вскрывавшегося залива поднял только одного Лебедева. Записав отсчеты инструментов, я разбудил Седова и штурмана. Что за веселая суматоха поднялась на „Фоке"! Один за другим выскакивали люди в одном белье или в куртках и фуфайках, натянутых наскоро. Время ли было думать о штанах при таком событии!

Шире раздвигался лед. Туман поредел. Определилось ясно,— все проливы и бухты поломаны, от мыса Обсерватория — широкий канал.

Будь все в сборе, а котлы — под паром, „Фока“ одним духом прошел бы по этому каналу до Крестовых островов; за островами виднелось море. Недосчитывались Павлова: он с вечера ушел обследовать отдаленнейшую часть полуострова. За геологом отрядили Визе; тем временем Седов отдал приказание поднять пары.

К полудню „Фока“ уже вздрагивал; котлы кипели. Все было на борту: собаки, медведи, приборы и шлюпки. На Михайловой Горке оставили знак о зимовке — записку. К вечеру вернулись Павлов и Визе. Все готово,— можно в путь. В восемь часов заработала якорная лебедка.

— Цепь чиста-а-а!— донесся голос бакового.— Якорь готов!

„Динь-динь!“ — зазвенел в машине телеграф; ответили: — „Готово!“.

Вода пенным потоком хлынула на лед за кормой...

Не легко было освободиться от льдин, сжавших борта,—за год их толщина достигла почти четырех метров. „Фока“ не меньше получаса рвался из тесных объятий; наконец, одна из „брюнеток“, густо заваленная грязным месивом из всяческого мусора, подалась в сторону. Корабль протиснулся в узкий канальчик и пошел, расталкивая обломки свежеомытых льдин.

В этот вечер „Фока“ прошел не больше мили: повстречались крупные ледяные поля, спустился туман, пришлось остановиться. Следующие два дня мы дрейфовали со льдом недалеко от зимовки и едва не попали на камни у мыса Обсерватория. Только 6 сентября подул желанный всток. „Фока“ поплыл вместе с потоком льда от матерого берега. Перед закатом солнца всток засвежел; полосы льда одна за другой уходили в море. К темноте и нас подхватили паруса, вынесли на свободную воду. Выйдя в море между островами Крестовыми и Панкратьевым, мы недолго плыли по морю, совершенно свободному. Перед рассветом натолкнулись на густые льды; граница их почти на таком же расстоянии от берега, как в предыдущий год. Седов повернул на юг,— он решил на этот раз вступить во льды только на меридиане мыса Флоры. Путь по нему считается самым надежным для достижения Земли Франца-Иосифа. Мы зашли еще на остров Заячий — устроить в норвежской избушке склад провианта, затем поплыли к югу, чтобы обогнуть льды, тянувшиеся до полуострова Адмиралтейства.

Вступив 9 сентября в лед на пятидесятом меридиане в широте около 75° 20′, шли до позднего вечера почти без задержек.

На ночь пришлось остановиться. На следующий день с утра пробивались довольно успешно,— лед был не очень сплочен. Но чем дальше на север,— все плотней и толще пластины и выше торосы. Начались небольшие морозы. Каналы стали покрываться плотной коркой молодого льда; прорезая ее, „Фока“ полз, подобно мухе, попавшей в соус. На палубе тогда угрюмо молчали; слышались только сердитые выкрики команды да непрерывные звонки в машину: „Назад — вперед — назад“.

В самом деле, веселиться было не от чего: ледяной пояс только начинался, а топливо подходило к концу. Уже резали на дрова баню, ее вместе с плавником могло хватить на трое суток. Мы же, пробыв во льду чуть не двое суток, не достигли еще и прошлогодней широты. Но так же, как и в прошлом году, отдельные пластины смерзались в поля, оставляя все меньше каналов. Куда ни взгляни — одна картина. По горизонту — марево белой безбрежной пустыни, в сеть редких каналов вкраплены лужицы и полыньи. Вблизи — горы изумрудно-белых чудовищ-льдин. Они не знакомы ни с жизнью, ни с теплой водой; причудливо вылепленная поверхность чиста: ни следов зверей, ни кусочка грязи. Только после прохода „Фоки" оставались черные следы борта и измочаленные щепы от наружной обшивки. И в дополнение к картине — „Фока". Он бьется из последних паров, коптя последним мелким углем, вырывается из одного канала, чтобы застрять в конце другого.

12 сентября подул ветер, слегка расширил каналы, но настроение на корабле было самое угнетенное. Чудовища, именуемые топками, сожрали, наконец, и баню. В ход пошли разные доски и иной горючий хлам; принялись за ворвань медведей и нерп, и ворвань превращалась в пар! Если ее смешать с только что выгребенной золой, горит чудесно. Матросы тащили последние поленья, доски и всякий мусор. Трудно было удержаться от мыслей о будущем.

Члены экспедиции в это утро обратились ко мне как к дежурному и человеку, наиболее близкому Седову, с просьбой передать ему общее мнение о крайней опасности, в которую может нас поставить дальнейшая борьба со льдами.

В моем дневнике в этот день записано: „Да, настроение подавленное. На мостике, по временам, мне кажется, я глазами вижу, как в груди у Седова кипит и пенится... Держит упорно по компасу прямо на норд, не сворачивая ни на полградуса. Часты по пути небольшие льдины,— он режет их с наслаждением. „Э-э-э-х! Если суждено пройти, то пройдем!" Я любуюсь им как образцом воли и человека. Есть нечто в человеке, заставляющее всех зверей отворачиваться от его пристального взгляда. Это нечто в Седове выражено резко, подчеркнуто. Такая подчеркнутость — самое характерное в нем".

Подвечер ветер стал крепчать. Полыньи, очистившись от сала, стали проходимей. Физиономии повеселели. Вплоть до темноты мы шли отлично под парусами. В последний час лот показал семь узлов,— если так будет продолжаться, мы достигнем земли.

13 сентября я проснулся от возбужденных разговоров в кают-компании. О чем может быть такой горячий разговор,— уже не землю ли увидели, не идем ли открытым морем? Едва я спустил ноги с койки, сильным толчком меня повалило обратно, посыпались книги, зазвенело рядом в буфете, а в кори-

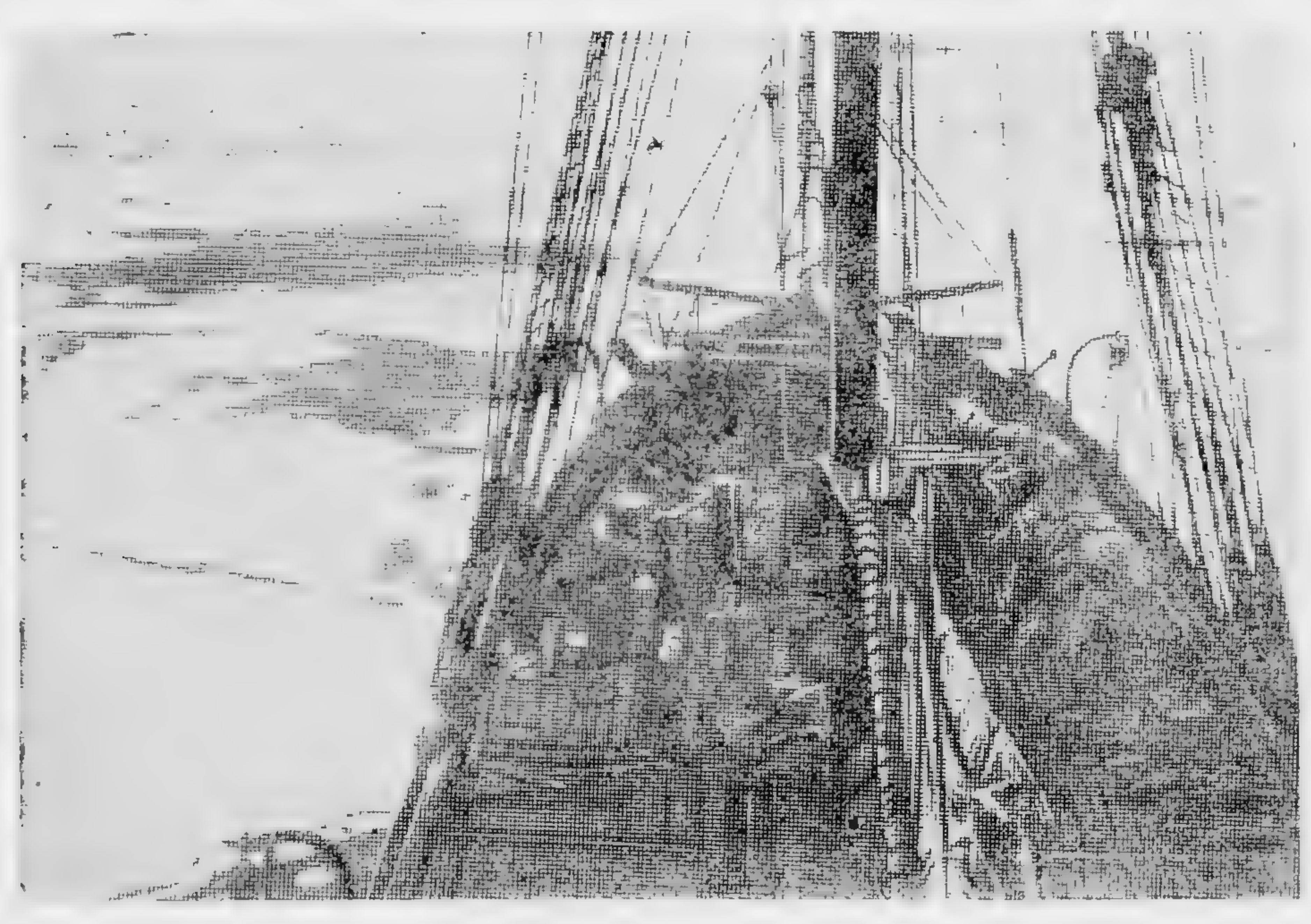
доре кто-то раздраженно заворчал: „Вот бьют! Так без головы останешься!“

Нет, об открытой воде говорить не приходится, колотим лед по-старому.

Но за льдами видна, не больше как в семидесяти милях, долгожданная земля.

Вечером того же дня были у Земли Франца-Иосифа. Невольно вспомнил я слова Нансена: „Так вот какая она! Сколько раз представлялась она мне в мечтаниях, и все-таки, когда ее увидел, она оказалась совсем иной“. И я ждал увидеть нечто похожее на Новую Землю, но земля явилась не похожей ни на что виденное раньше. Она открылась в тумане-дымке. Мы долго не могли определить: облако ли застыло, или высокие пологие горы поднялись за горизонтом над свободной водой. Наконец, выделилось нечто, похожее на белый перевернутый таз, а сзади него — белые же горы с темными горизонтальными полосками у вершин. К вечеру мы опознали очертания берегов по карте.

Мне чудились давно какие-то тяжкие вздохи и всплески под бортом. Мы все наше внимание отдали показавшейся земле,— звуки не доходили до сознания. Но, наконец, сильный всплеск под бортом и какое-то хрюканье заставили посмотреть туда. Из чернильно-зеленого моря высовывались безобразные головы, вооруженные клыками. Большое стадо моржей, окружив корабль, долго сопровождало нас. По временам пасти



На „Фоке“ к Земле Франца-Иосифа

чудовищ открывались; тогда с брызгами воды и пара вылетали мычание и хрип, похожий на хрюканье. Казалось, моржи, принимая корабль за особо-крупное животное, негодовали на появление дерзкого пришельца в заповедных местах.

— Еще две охапки рубленых канатов под котлы, еще полбочки ворвани!

— Верти, верти, Иван Андреич, догребай до берега!— весело кричал в машинный кап штурман.— Близко-близко!

Спускалась темнота. Бросили два якоря. С горы крепкий ветер; на берег ехать нельзя.

„Было или нет русское судно? Получим ли уголь?"— спрашивали мы друг друга.

Ночной шторм к утру улегся; 14 сентября был пасмурный, немного мглистый день. За исключением штурмана и очередной вахты мы съехали на берег все.

Никто до нас не приставал к этим далеким берегам в такое позднее время: в половине сентября на этих островах уже зима. Еще плещется по припаю дымное море,— там можно увидать одиночек-чистиков и стайки запоздавших чаек; но отойти от берега на сотню шагов — там зима настоящая. Коркой затянуты камни, снег затвердел, появились заструги.

„Чувство, близкое к благоговению, охватывает, когда вступаешь первый раз на этот замечательный кусочек земли",— писал я в этот день в своем дневнике. „Скольким отважным людям мыс Флора казался первой ступенью к осуществлению мечты о полюсе! Сколько неожиданных препятствий, бед и разочарований в извечно-фатальной борьбе человека за знание и жизнь!"

История мыса Флоры интернациональна,— это история стремления человечества к полюсу за конец прошедшего века и нынешний. Тут работали представители разных наций. Англичане Ли-Смит и Джексон, американцы Уэлман, Болдуин и Фиала. Тут развалины жалкой избушки Ли-Смита и место замечательной встречи Нансена с Джексоном. Здесь был Макаров со своим „Ермаком".

По берегу, заваленному базальтовыми обломками, мы поднялись на плоскую равнину, где расположены близ озерка все постройки, возведенные Джексоном в 1894 году. Главный домик смотрит маленькими окнами в холодную даль океана. Когда-то тут был самый крайний уголок цивилизованной жизни,— то было двадцать лет назад. Теперь — хаос и разрушение. Мы вошли в первую постройку — жилую избу Джексона. Она сохранилась лучше других, ибо построена из бревен по типу русских изб. Двери ее были открыты, окна повыломаны медведями, внутри — оледенение. Мы еле протиснулись в узкий проход оледенелых сеней и осматривали хижину с высоты слоя льда, лежавшего на полу толщиной около метра.

На фотографиях Джексона и по описаниям Нансена внутренность дома была так уютна! Чистая комната обита сукном, по стенам эстампы и фотографии, на полках книги и разнообразные предметы из обихода европейца-исследователя. Если бы Джексон был с нами и увидал свой домик!

За дверным косяком, зеленобархатным от плесени, прилеплено гнездышко пуночки. Торчит изо льда прогоревшая печка,— труба ее рассыпалась при первом же прикосновении кого-то из наших. Вдоль стен в два яруса нары. На них и к стенам примерзли спальные мешки, посуда, медикаменты и провизия. Мы заключили, что большинство вещей принадлежало экспедиции Фиала, бедствовавшей тут.

И на равнине перед домиком разбросаны и вмерзли в снег самые разнообразные предметы снаряжения: ящики с консервами, обломки мебели, куски одежды и мехов. Недалеко от джексоновских построек мы заметили возвышение: оно оказалось могилой Мюатта, одного из матросов джексоновского корабля „Уиндворт". Мы поправили, как могли, крест, сломанный и поваленный бурями. На восток от становища поставлен обелиск, высеченный из крупнозернистого мрамора. На памятнике надпись („Requiem: F. Querini, H. Stokken, P. Ollier. „Stella Polare". 1900"), указывающая, что обелиск поставлен герцогом Абруццким в память трех участников его экспедиции, пропавших без вести во время путешествия к полюсу. Вблизи хижинки, построенной из судовой рубки и двух рядов бамбуковых палок со слоем оле-



Мыс Флоры на Земле Франца-Иосифа

ньего мха между ними, стоит знак Макарова. На знаке выжжена надпись: „Ermak passed here 1901“.

Осмотрели подробно весь берег. Ни у хижин, ни в другом месте мы не нашли ни склада угля, ни следов вспомогательной экспедиции. Наоборот, чувствовалось, что давно не вступала на эту пустынную землю человеческая нога. Царила торжественная тишина, такая же, как пятьдесят лет назад, до первого человека, побывавшего здесь.

Итак, все сожжено. Макаровский уголь весь использован экспедицией Фиала. Плавника здесь нет,— впереди зимовка без топлива,— вот что осознали мы в этот день.

Под вечер первого дня Седов, я и штурман пробовали охотиться на моржей. Охота на моржей, плавающих стадами, считается опасной. Если исключить из рассказов о приключениях норвежских промышленников все преувеличения, одна опасность остается несомненной — это постоянная угроза внезапно очутиться в холодной воде среди моржей. Удача охоты всецело зависит от искусства гарпунера. Он, бросая гарпун, следит за рулем; когда шлюпка на буксире, прыгая по волнам, несется за раненым моржом, гарпунер смотрит в оба, чтоб охотники сами не запутались в гарпунном лине, командует гребцам то работать во всю мочь, чтоб ослабить натянутый струной линь, то тормозить движения слабеющего зверя.

Мы-то — гарпунеры доморощенные. Правда, у нас не было даже настоящего моржового гарпуна; отправляясь на охоту, мы взяли тюлений, много раз испытанный гарпун. Первое стадо встретилось недалеко от корабля. Направили шлюпку в самую гущу голов. Вся орда, разбрасывая пену, плавала от мыса к мысу, ныряла под нашу небольшую лодочку и с шумом дышала; крошечные глазки блестели зло и недружелюбно. Если шлюпку не слишком швыряют волны, убить одного из стада не трудно, значительно труднее вонзить в добычу гарпун. Я выстрелил в ближайшего моржа почти в упор,— он потонул настолько быстро, что не успели даже замахнуться гарпуном. Со вторым сблизились на два метра; почти в один момент я выпустил заряд, а Седов бросил гарпун. Очевидно, для этих толстокожих обыкновенный железный гарпун совсем не годен,— он, не пробив полудюймовой кожи, погнулся и выпал. Седов три раза бросал свое оружие, оно сгибалось сильней и сильней. Что-то дико-жалобное слышалось в крике моржа, когда гарпун вонзался вторично,— то был крик чудовища, бесконечно уверенного в своей страшной силе, вдруг столкнувшегося с новой и ужасной силой неведомых. После третьего удара морж, казалось, с отчаянием обернулся к шлюпке и, широко раскрыв безобразную пасть, взревел во всю силу легких. Каскад кровяной пены и брызг хлынул в лицо Седову, как проклятье зверя. В то время как раненый морж рычал и метался по волнам, к нему стали соби-

раться остальные. Животные, окружив шлюпку тесным кольцом, смотрели бессмысленно на раненого и на нас, не обнаруживая впрочем никакого желания вступиться за товарища. Стадо сопровождало нас до борта корабля скорей из любопытства. Мы легко отгоняли чрезмерно назойливых ударами весла.

Утром 15 сентября матросы съехали на берег собрать жалкие остатки угля, оставшиеся из запаса, некогда выгруженного здесь адмиралом Макаровым; с той же шлюпкой уехал и Седов. Он скоро вернулся: за мысом увидел стадо моржей и двух медведей на пловучем айсберге.

Спустили большой баркас; я захватил кинематограф. Конечно, медведи не стали дожидаться конца наших приготовлений к охоте и уплыли. Но моржей мы увидели множество. На припае и ближних льдинах я насчитал более сотни; вдали же повсюду виднелись стада и отдельные туши с подобранными под брюхо ластами. Шагах в тридцати-сорока от одного из стад в 20—25 голов мы пристали к льдине.

Пока я выгружал кинематограф и приготовлялся снимать, моржи лежали, не шевелясь, как груда сосисок на блюде. Пропустив несколько метров пленки, я попросил Седова выстрелить, чтобы вспугнуть стадо. Один из моржей был убит. К нашему удивлению, смерть товарища не произвела на животных никакого впечатления. Единственно, когда раненый взметнулся предсмертной судорогой и, приподнявшись на ластах, внезапно рухнул,— лежавшие рядом недовольно заворочались и захрюкали, а один — посварливее — наградил беспокойного хорошим ударом клыков, а тот уже и голову склонил. Стадо успокоилось быстро. Прилетела чайка, уселась на убитого: картина становилась интересной в своей естественности. К досаде моей, в этот момент Кушаков, не совладав с своим охотничьим пылом, выпалил в стадо и угодил пулей так удачно, что клык самого большого самца разлетелся вдребезги. Осколки задели рядом лежавших,— поднялась суматоха. Два-три шлепнулись в воду, остальные собирались последовать за ними. Мы стали опасаться, что моржи уйдут,— тогда для пополнения запасов мяса нам придется искать другое стадо, от „Фоки“ более отдаленное. Открыли стрельбу. Первые выстрелы уложили ближайших к воде, остальные,— заключенные в кольце убитых,— не могли броситься в море иным путем, как только через трупы товарищей, а тут их настигали пули.

По правде сказать, подобное побоище отвратительно и жестоко; ему никак нельзя присвоить название охоты. Не нужно быть особенно чувствительным, чтобы сразу же потерять всякое желание убивать безобразных, но совсем беззащитных и мирных животных.

Мы знали, что обыкновенная свинцовая пуля не пробивает голову моржа,— так толст его череп. Выяснилось, что и никелевые разрывные пули не всегда пробивают. Иногда через минуту после выстрела оглушенные животные оживали и с ужас-

ным воем, истекая кровью, пытались неверными движениями перелезть через трупы убитых. Некоторым удавалось столкнуть трупы в воду,— эти упали в море. Обильно окрашивая кровавым следом свой путь, несчастные метались в полубеспамятстве. Скоро побоище закончилось. Мы высадились на льдину, где лежали убитые; еще несколько выстрелов, чтоб прекратить мучения раненых.

Невдалеке лежало другое стадо. Седов полагал, что следует убить еще несколько животных; мы можем без потери времени погрузить на „Фоку" до двадцати пяти моржей. Неизвестно, найдем ли мы столь же удобный случай добыть жир для топок и сделать годовой запас пищи для наших собак. Эти моржи лежали на низком береговом льду, незаметно переходившем в ледник. С кинематографом в руках я осторожно подошел к стаду на расстояние четырех метров и стал устанавливать аппарат. Все стадо сладко дремало. Только один старый самец, приоткрыв ненадолго глаз, посмотрел, как я вставляю кассеты, и недовольно захрюкал. Впрочем, он тотчас же закрыл глаза и, блаженно почесав за ухом ластом, почавкал, повернулся удобнее и, густо собрав жирные складки у шеи, уснул. Он даже не полюбопытствовал внимательнее рассмотреть живое существо, едва ли виденное раньше. А я-то опасался, что моржи испугаются, и кинематографическая съемка на близком расстоянии не состоится!

Долго стоял я, готовый начать съемку при первом же движении животных. Проходили десятки минут, моржи не двигались. Вся груда живого мяса и жира наперебой пыхтела, сопела на разные лады, но ни один не шелохнулся. За спиной у меня собралась вся команда баркаса:

— Григорий, смотри-ка: у него бородавки-то больше, чем у соборного попа, и волосы такие же рыжие.

— А вон тот — отец; клыки-то больше аршина, сам пудов, чать, триста будет.

— Ну, сказал,— триста. И ста не вытянет.

— Ну, и житье им, братцы! Наелся и спи, не боятся никого.

Я предложил нашим молодцам побросать в моржей снежками,— но и закиданные снежками моржи даже глаз не открыли. Эти ленивцы умеют сладко спать! Очевидно, нельзя ожидать проявления жизни этих животных ранее перемены погоды. Мне не хотелось будить стадо выстрелами, я послал Лебедева потревожить их палкой. Лебедев принялся, как цепом, колотить ручкой багра направо и налево,— тоже почти без результата; наконец, когда, перевернув багор, он сколько было мочи стал колотить моржей его острием, стадо слегка зашевелилось. Получивший первый укол приподнялся и крепко всадил в спину соседа клыки. На концах осталась кровь. Тот приподнялся на ластах, разбудил движением другого и, уставясь на меня заплывшими глазками, долго смотрел. Не сообразив ничего своими

маленькими мозгами, он еще раз беспомощно оглянулся и свалился спать. Все движения длились не больше минуты; на том съемка и закончилась. Из этого стада мы убили трех больших самцов, остальных прогнали в море.

На небольшой обмелевшей льдине у самого берега лежали две самки с детенышами, небольшими сморщенными и безволосыми уродцами. Спали самки, спали и детеныши, уткнувшись мордами в материнские сосцы. Самки оказались пугливее,— не подпустили меня и на двадцать шагов, когда я хотел подойти с аппаратом поближе. Один детеныш не успел нырнуть в море за матерью, остался на льдине одиноким. Он жалобно замычал, смешно и бестолково двигая непослушными конечностями. Мать тотчас же закинула ласты на льдину, выбралась и, свирепо хрюкая на меня,— я успел подойти к самому берегу,— принялась трогательно-ласково и настойчиво подталкивать к воде своего нерасторопного детеныша, не забывая и меня лишний раз устрашить мычаньем и хрюканьем. У края льдины она подхватила „малютку“ ластом и вместе с ним скользнула в родную стихию. Вынырнув с младенцем подмышкой, она кинула еще один сердитый взгляд на меня и скрылась в глубине моря.

Одно стадо расположилось высоко над морем. К месту лежки вела широкая и грязная дорога, проторенная по пологому подъему ледника, который опускался к морю незаметным скатом снега.



Лето на Земле Франца-Иосифа

Молодцы спали достаточно крепко,— вся дюжина носов дружно сопела. На нас сонные богатыри даже не посмотрели. Не было нужды убивать их, снимать же вторично компанию жирных колбас, чавкающих и пыхтящих во сне, тоже казалось излишним. На ленте, запечатлевшей движения моржей в воде и на суше, поодиночке и стадами, оставалось немного свободного места. Я решил использовать его для съемки моржей, ползающих по суше.

Матросы погнали все стадо к морю. Очень не хотелось засоням оставлять покойное ложе, но нападение велось энергично, все стадо покорилось. С трудом приподнимаясь на ластах, моржи поползли. Лишь один огромный старый и лысый самец, корявый от рубцов, шишек, морщин и клочков рыжей шерсти, не подчинился. Свирепо рассекая воздух полуметровыми клыками, он двинулся на преследующих.

— Вот этот — настоящий папаша, защищает семейство. Молодец, старик!

„Папаша“ и в самом деле будто прикрывал отступление. В стаде, среди взрослых самцов, были и самки без клыков, и молодые моржи с едва показавшимися. Вожак, угрожая бивнями и сотрясая воздух ревом, дал стаду отползти и попятился сам. К моей досаде, кинематографическая пленка подошла к концу как раз к моменту, когда стадо подползло к краю ледника. Стоило посмотреть, как туши в тонну и больше весом стали плюхаться в воду! Очнувшись в родной стихии, моржи дали волю негодованию. Поджидая вожака, они вспенивали тихое море и ревели хором, как заводские гудки поутру.

С „папашей“ же случилось несчастье. Прикрывая отступление, он пятился задом. На пути попалась узкая трещина, которую стадо переползло без затруднений, но старик, очевидно, по привычному ощущению, принял ее за край льда и, спустив туда задние ласты, соскользнул. Он скоро понял ошибку и, глубоко вонзив в лед могучие бивни, пытался освободиться. Но — поздно. Тяжелая туша уже ушла в трещину и заклинилась там. Старый морж в отчаянии ревел и бил клыками в края, осколки льда фонтанами сыпались вокруг. Спасенья не было. Каждое движение только глубже втискивало тело в глубокую расщелину льда. Один из нас пристрелил несчастного.

С большими трудами, погрузив одного из моржей на баркас, мы подвечер вернулись на судно.

На следующий день, когда мы только собрались погрузить убитых моржей, поднялся сильный ветер; пришлось положить оба якоря и вытравить побольше цепи. Береговой ветер сразу сменился штормом с южной стороны; на горизонте показались белой полоской льды, всегда страшные для корабля, стоящего у открытого берега. Корабль Ли-Смита „Эйра“ был раздавлен при подобных обстоятельствах почти в том же месте, где стоял „Фока“. Льдину с убитыми моржами береговым штормом унесло

в море; из всей добычи оставалось десять штук, их пришлось убирать, торопливо сваливая в трюм: льды приближались.

Вечером 17 сентября мы подняли последнюю тушу и тотчас же снялись с якоря. Внезапно стих ветер, успокоилась узкая полоска моря, мы плыли по гладкозеркальной воде. Как-то сразу мы заметили, что тишина сгустилась, что нет больше чаек, улетели на юг последние чистики, даже моржи исчезли.

Обогнув западный мысок острова Нортбрука, мы повернули на север. Пролив Миерса был чист.

Что за мертвые земли открылись перед нами!

Нужно войти в проливы, чтоб увидать Землю Франца-Иосифа такой, как она есть, без прикрас — высоких базальтовых обрывов, венчающих склоны южного берега. Белая оледенелая земля. Остров Брюса невысок, но почти весь под льдом. Земля Александры выше, но и на ней не увидать черного пятна. Правда, что остров Нортбрук и дальше за ним кое-какие земли чуть пестрят редкими темными пятнышками и черточками, но как ничтожно малы они на широком горизонте!

Айсберги, постоянно встречающиеся кораблю, и цветом и формой не похожи на плавающие около Новой Земли. Здешние — матовы, пористы, невысоки, в большинстве похожи на стол, накрытый белой скатертью. Среди встретившихся этим вечером мы видели ледяные горы значительной величины. В сумерках мы разошлись с айсбергом длиной не менее 250 метров. Стоявшие на мостике приняли его сначала за островок, не нанесенный на карту, только подойдя вплотную, заметили, что ледяной островок плывет.

Ночью „Фоке“ пришлось остановиться в Британском канале из-за скопления льда и темноты. На рассвете с помощью сильного приливо-отливного течения мы легко одолели ледяное препятствие. С утра до полудня 18 сентября встречался лед, легко проходимый. Сейчас же после полудня мы были севернее мыса Муррея, позднее миновали СВ оконечность Земли принца Георга. Казалось — еще немного, и 81-й градус будет позади, а мы войдем в море Виктории. Увы, как раз в том месте, где мы ожидали окончания затруднений со льдами, „Фока“ встретил плотный, вовсе неломанный лед. Путь на север закрыт! Британский канал в этом месте широк, не хотелось верить, что на пространстве двадцати миль не найдется ни одной лазейки на север! Мы повернули по кромке льда на восток. Нет,— кромка неломанного льда, приведя нас к острову Кетлица, решительно завернула на юг. Нашему капитану не хотелось сдаваться. Может быть, другие проливы свободны? Не проникнем ли на север проливом Австрия? При выходе в пролив Аллена Юнга нас настигла ночь. Остановились вблизи острова Скотт-Кельти.

На палубе хлопотали с креплением канатов, началась раздача корма собакам и медведям. Механик Зандер поднялся на мостик и доложил Седову:

— Я подсчитал топливо: его нехватит на весь завтрашний день.

Седов задумался и долго молчал. Потом на мой немой вопрос сказал:

— Будем зимовать где-нибудь поблизости. Что поделаешь Сто лишних километров до полюса!

Ранним утром 19 сентября поплыли на поиски спокойного зимовья. Недалеко нашлась бухточка острова Гукера. У самого берега Седов нашел подходящую глубину: ему хотелось поставить „Фоку" килем прямо на грунт, чтоб избежать необходимости откачивать воду. Тут же оказался айсберг для питьевой воды и берег, свободный ото льда. Седов назвал бухту — Тихой.

Клочок земли, близ которого стоял в этом году „Фока", невелик. На верху горы, недалеко от каменного обрыва, венчающего откос, незаметным подъемом начинается лед; в глубину бухты спускается пологий ледник; со стороны Британского канала тоже ледничок. Лед закрыл весь остров,— свободны только высокие мысы. Даже в местах, где ледников нет, вечный снег слежался по лощинам так плотно, что и они выглядят маленькими ледниками. Если от пристани „Фоки" перевести взгляд на юг, — там огромная скала — полуостров Рубини-Рок (скала Рубини). Его двухсотметровые обрывы, кроме восточной части, неприступны. На западе в трех километрах лежит островок Скотт-Кельти. И он и Рубини-Рок свободны ото льда. Свободны и мысы острова Гукера вблизи этой скалы. В мглистый день, когда мы увидели те мысы, они походили на видения художника-фантаста Чурляниса. Впоследствии, при съемке бухты Тихой эти мысы были названы „горами Чурляниса".

Сравнивая местность первой зимовки и второй, мы были довольны последней во всех отношениях. „Если бы сюда еще десятую долю новоземельских запасов плавника!"— мечтали мы. Впереди — зимовка без топлива. При окончательном подсчете оказалось, что мы располагаем двумя-тремя покрытыми салом моржовыми шкурами, сотнями тремя килограммов каменного угля, рассыпавшегося в порошок, да еще остатками порожних ящиков и бочек,— вот и все. Нужно сжаться и хранить тепло. Всякая мелочь, способная тому помочь, для нас была решающей. На „Фоке" произошли перемещения. Кубрик был упразднен. Пришлось потесниться, но в результате всех перемещений каждый матрос получил койку в кормовом помещении, куда собрались все, а разобранное помещение кубрика сразу удвоило запасы топлива. Перед этой зимой мы особенно тщательно закупорили свое жилье; достаточно сказать: чтобы выйти на волю, в эту зиму приходилось отворять каждый раз три двери, ибо к жилому помещению были пристроены полотняные сени.

Так вышло, что в эту осень мы не пытались совершать далеких экскурсий, да и трудно было предпринять их в то время,

как везде по проливам носились еще льды. Спаялись они только во второй половине октября, когда уже спустилась полярная тьма. Но даже если бы лед не препятствовал, мы не решились бы расходовать запасов легкого провианта, сильно сократившихся после новоземельской зимовки. Около трех тысяч километров изъезжено там на санях и сделана большая работа. Здесь главной задачей было путешествие к полюсу. Земли, окружавшие нас, правда, исследованы только в общих чертах, но из-за небольших поправок, которые внесли бы наши картографы в карту Земли Франца-Иосифа, не стоило расходовать ценного провианта. Небольшие однодневные экскурсии мы совершали всякий раз, как позволяла погода. Мы обследовали ледяной покров острова Гукера, ближайшие острова и глетчеры. В одну из экскурсий я нашел гурий,— по всем признакам, поставленный Джексоном. С высоких частей островов мы наблюдали состояние льдов. Лед в ближайших проливах смерзся к 8 октября, но в Британском канале мы видели полыньи вплоть до самой темноты. Даже в местах, где лед, казалось, смерзся надежно, он при первой же оттепели настолько разъедался сильными течениями, стремящимися по каналам, что тонкую пленку сгонял малейший ветер. Даже в нашей бухте лед оставался ненадежным. У меня отмечено, что до 19 октября мы не могли посетить острова Скотт-Кельти; я поплатился за одну такую попытку в начале октября. Провалившись на молодом льду, я долго плавал, ломая лед, как ледокол. Неприятность случилась в двух километрах от судна. Стоял порядочный мороз. Я вер-



В бухте Тихой Земли Франца-Иосифа—скала Рубини-Рок

нулся на корабль твердым, как сосулька. Одежда проледенела, нельзя было сделать сильного движения без того, чтобы не сломать ее.

Уместно отметить одно удивительное обстоятельство: купание в морской воде при —1,8° Ц температуры в продолжение четверти часа, затем получасовое пребывание на 17° морозе с резким ветром не имели решительно никаких последствий, даже насморка. Мы многократно замечали, что подобные приключения в полярных странах сходят с рук удивительно легко. В самом деле: в царстве холода и резких колебаний температуры мы почти не знали простуд. Можно разгоряченному и потному съесть добрый кусок снега для утоления жажды или высушить пот на резком ветре, мерзнуть неделями — и чувствовать себя более здоровым, чем на юге, где насморк, простуда и грипп носятся в малейшем сквозняке.

С начала зимовки мы долго не видели живых существ, даже песцовых следов не встречали ни разу. Только два медведя посетили нас на новоселье. С первым — старым самцом, большим драчуном, если судить по многочисленным царапинам и шрамам, украшавшим его могучую голову,— повстречался штурман. Сошлись недалеко от зимовки, заметив друг друга одновременно. Старик потянул носом и скорым шагом направился на безоружного Максимыча. Тому осталось одно: поспешно отступать. Наш капитан, сохраняя по возможности свое достоинство, стал пятиться, давая весьма выразительные знаки Павлову на откосе горы: за спиной геолога торчала винтовка. Однако ученый муж, всецело погруженный в рассматривание горных пород, не оглядывался. Винтовка за спиной кивала Максимычу мирно и приветливо,— помощи не было. Тогда Максимыч, оставив свое капитанское достоинство для более подходящих случаев, „дал полный вперед“ и большими прыжками влетел на „Фоку“.

Седов и я открыли стрельбу, когда медведь был шагах в трехстах. Моя пуля пронзила его туловище во всю длину; однако он, смертельно раненый, собрав силы, сделал еще молодецкий прыжок с крутого берега в воду, покрытую шугой, и даже отплыл, но быстро издох, оставаясь на поверхности.

Второго зверя застрелил Седов в километре от корабля. То была молодая медведица. Собаки загнали ее на самый верх крутого снежного откоса, где ее и настигла пуля.

Еще одну медведицу убил я в берлоге при первом посещении острова Скотт-Кельти. У берлоги не было отверстия; бывшие со мной собаки Пан и Разбойник обнаружили ее чутьем и разрыли снег над берлогой. Это была молодая самка, беременная двумя зародышами величиной с куриное яйцо.

Вторая зимняя ночь

Просматривая тетрадь дневника, заполненного на Земле Франца-Иосифа, я сызнова переживаю всю тяжелую, долгую зиму, так трагически окончившуюся. Теперь ясно, что исход нашего путешествия мог быть еще несчастнее. Два лета кучка людей пробивалась в отдаленную страну,— не просто ли было предположить, что на обратный путь времени потребуется не меньше? Идя вперед, мы имели изобилие припасов, а обратный путь с провиантом меньше, чем на год, и совершенно без топлива, конечно, должен быть значительно труднее. В то время, как писались первые страницы, все было еще впереди. Да, намечались кое-какие способы обратного пути; таких перед людьми, уже побывавшими в крайностях, всегда несколько на выбор, недаром же мы прожили год в полярной стране, где без всегдашней готовности к решительным действиям шагу не ступить. Но могу сказать: никто особенно не задумывался над будущим. Почему? Потому ли, что Седов выбрал людей, „не склонных оглядываться назад", или просто человеку свойственно надеяться на лучшее? Мы шли еще вперед. А думать об отступлении во время атаки как будто стыдно. Так или иначе — написанное в этой закопченной тетради мне и теперь не кажется легкомысленным, а скорее удовлетворяет. Год назад больше тревоги отражалось в текущих записях.

До захода солнца на долгую зимнюю ночь все чувствовали себя вполне хорошо. В каютах было прохладно, мешала теснота, но никто и не рассчитывал на особые удобства зимовки на 81-м градусе. После захода солнца пронеслось несколько бурь, впрочем не столь бешеных, как на Новой Земле. Потом нажали морозы. Нахожу запись:

„*6 ноября.* Стоят морозы для такого времени весьма основательные: минимум вчерашней ночи —33° Ц.

„Холода очень некстати. Пока была умеренная погода, жилось сносно; теперь при первых же морозах резко сказываются все неудобства, связанные с отсутствием топлива. Дров нет совсем. Печи разжигаются обломками ящиков и досок. Сверху посыпается немного каменного угля в порошке, или бросается кусок моржового сала. И уголь и сало приходят к концу. С хо-

лодом примириться можно бы; значительно неприятней полное отсутствие вентиляции. Каждая частица тепла бережется,— нельзя открывать иллюминаторы так часто, как в прошлом году. С утра вместе с запахами кухни распространяются все испарения растопляемого льда и кипящего супа. Во всех каютах очень сыро. Нам приходится по несколько раз в день обтирать полочки и стенки,— иначе влажность, собираясь каплями, струится на пол. Механик выжимаемую из тряпки воду измеряет консервными жестянками. Он называет это занятие: „Мерять по́товую воду“. Позавчера заявил: „Сегодня, знаете, набрал три с половиной банки!“

Последние дни испарения стали осаждаться льдом. Иллюминатор моей каюты погребен под слоем больше двух сантиметров. У края матраца, примыкающего к стенке, образовался ледничок; спаяв матрац с деревом, он плывет длинным языком вниз к умывальнику.

13 ноября. Последствия сырости и недостатков в питании начинают сказываться: штурман жалуется, что десны распухли и зубы шатаются; бедняга может жевать только мягкое. На то же жалуется повар Иван. Сегодня на прием к Кушакову явился механик, просит спирту.

— Для чего?

— Зубы болят.

Кушаков заглянул в рот, а там все десны полопались, от них идет тяжелый запах. Кушаков не думает, что это признаки цынги, как считают некоторые из нас, уже видавшие настоящую цынгу. Мне хочется отметить, что все воздерживающиеся от солонины, т.-е. Визе, я и Павлов, чувствуют себя вполне здоровыми.

25 ноября. Проходят дни и недели, монотонные, темные. Наш быт усложнился заботами, которых не знали раньше. Нужно следить за экономным расходованием топлива,— теперь жгутся остатки кладовой, принимаемся разбирать грузовую палубу. Одолевает сырость,— нужно держать свое помещение сухим. Пообносились одежда и обувь,— изобретаем способы починки. Коноплев смастерил на-днях веретено и прялку; теперь, очистив куделю, взятую для конопатки, ловко сучит нитки на дратву. Геолог из подкладки пожертвованного кинооператором футляра мастерит новые рукавицы. Кожа пойдет на подошвы. Художник, засучив рукава, мнет тюленью шкуру, предварительно обработав ее щелочами,— опыт выработки шкур для широкого производства обуви. Открыли кузницу, чтобы во-время заготовить побольше кирок: они пригодятся, когда настанет пора освобождать „Фоку“.

10 декабря. Лунные дни. Отрадно видеть над этой темной землей хоть призрак света. Идешь во мраке... Вдруг замечаешь: небо с одной стороны закраснелось. Новый свет начинает спорить со слабым отблеском сияния, пересиливает, и вдруг за гранью ледяного покрова блеснет искорка народившегося ме-

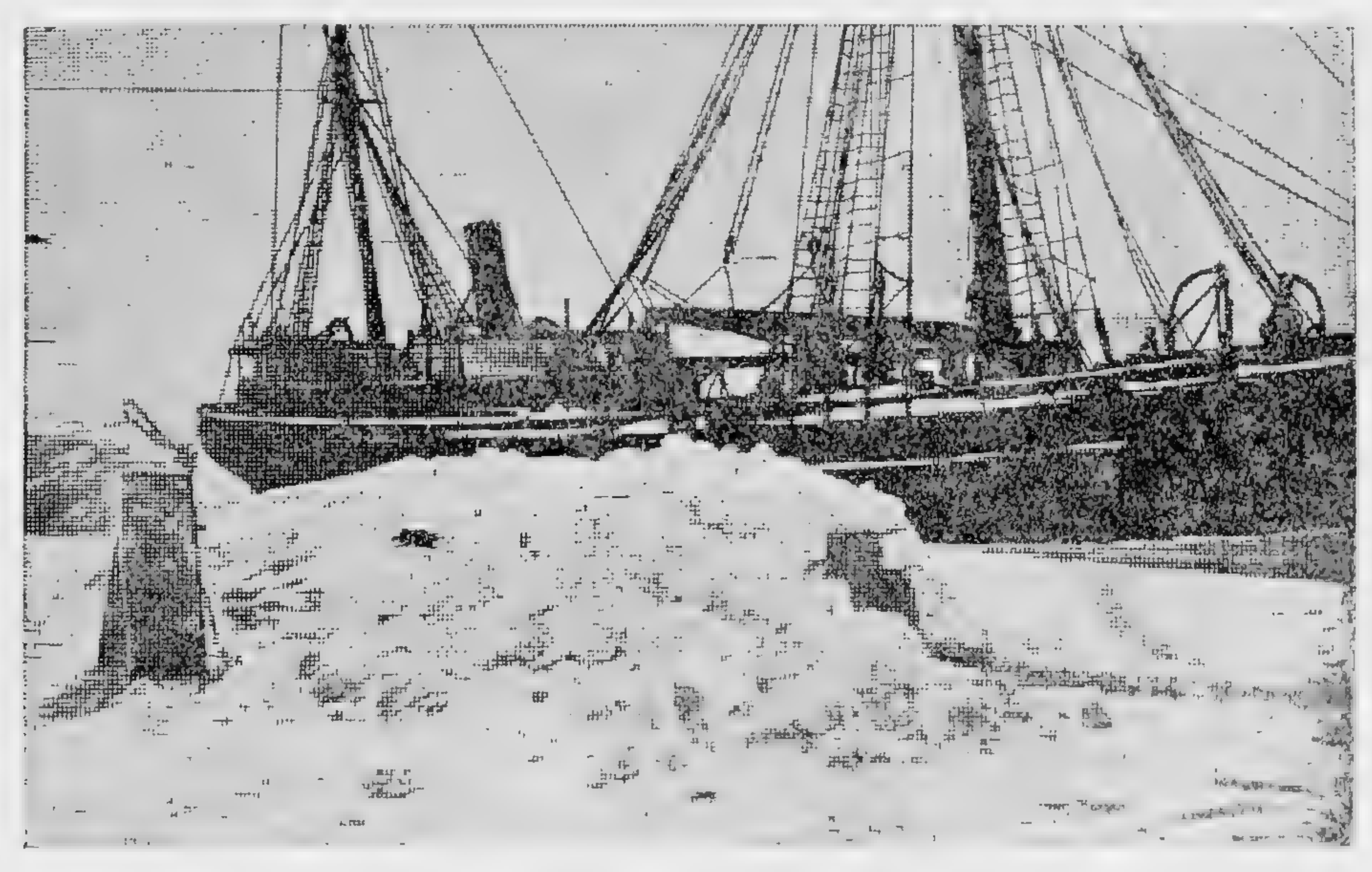
сяца. Все переменится. Все озарится розовым светом. Очертятся края заструг и ледяной коры на камнях. Все станет живописней, приемлемей.

Опять тишина и ею рожденные тяжелые думы.

Здесь каждую минуту помнишь о могуществе природы, ценишь всякое ничтожное орудие для борьбы с нею, радуешься малейшей победе и учишься в поражениях.

Да, перед нами обнаженная жизнь почти первобытных людей. Мы еще сохранили многое из орудий, которые дали нам предыдущие поколения людские, но, может случиться, останемся с голыми руками. Мы ездим на собаках, но главная надежда на собственные ноги. Едим старые привезенные запасы, добытые чужими руками, но, если хотим верной победы в борьбе за жизнь, пищу нужно уметь при нужде добыть голыми руками.

Во многом мы боремся уже по-первобытному. Мы стараемся не забыть целей, поставленных раньше. Однако нужно сильно обманывать себя, чтобы здесь, перед лицом тишины и звезд, не поставить себе одного вопроса: не призрачны ли в самом деле наши личные цели, не случайны ли они, как сочетание кристаллов льда, сложившихся в подобие реального предмета? Люди, собаки, медведи — здесь только проталина жизни в пустыне. Но та жизнь, пышная и расточительная настолько, что в струях ее, сталкивающихся между собой, не чувствуется общего течения,— вся жизнь мира — куда стремится она? Здесь мы имеем перед глазами малый осколочек, слабую струйку. Сущность ее ясна, не запутана... и тем яснее встает вопрос: куда?



Зимовка „Фоки“ в бухте Тихой

„*5 декабря.* По настоянию Седова питание улучшено: едим бульон и винегреты из сушеных овощей. За несколько дней такое питание оказало благотворное действие. Только Инютин плох. Сегодня снаряжал его гулять. Вид больного нехорош: опухшее лицо, багрово-синие мешки под глазами, полураскрытые губы обнажают клочки кровавых десен и почернелые зубы. Изо рта тяжелый трупный запах. Это настоящая цынга“.

Сидеть, сложа руки, когда на судне несколько больных, нельзя. Нужно что-нибудь предпринять, иначе все дело развалится.

Единственное средство от цынги, особенно в первой стадии ее,— свежее мясо. В трюме лежали горы моржового мяса, но мы не могли поручиться, что оно свежо: при торопливом отходе с мыса Флоры,— в то время как приближались льды,— моржей свалили в теплый трюм. В промежуток времени, пока мы плыли до бухты Тихой, мясо тронулось гниением. Оно было еще хорошо для собак и медведей, но для цынготных такое мясо не лучше солонины.

Нельзя ли промыслить медведя? Из описаний зимовавших на этой земле мы знали, что медведи всю зиму бродят у открытой воды. Нет ли поблизости свободного моря? Нужно добыть хотя бы одного медведя,— тогда мы захватим болезнь в самом начале.

Посоветовавшись, Седов и я решили сделать попытку дойти до открытого моря или полыньи и поискать берлог на южном берегу острова Гукера.

Утром 15 декабря мы вышли к югу. Стояла хорошая погода с морозцем градусов в двадцать. Полная луна часто выходила из облаков, помогая находить правильный путь. Луна спряталась, когда мы огибали южный мыс острова Гукера. Потом тучи рассеялись, и мы увидали большие полыньи в проливе Де-Брюине.

Южная сторона горизонта даже при луне казалась более темной: можно было предположить, что полынья соединяется с большим пространством открытой воды на юге. Пройдя еще километров пять, недалеко от полыньи мы заметили след большого медведя, настолько свежий, что бороздки, проведенные волосками лапы, еще не стерлись. На некотором расстоянии встретились еще два следа, более старые. Мы решили расположиться лагерем на медвежьей тропе и подождать, не подойдет ли медведь к палатке.

Прошло около суток. Медведей не было. Оставив в палатке Пустошного с ружьем и собаками, Седов и я отправились на южный берег Гукера искать берлог. По правде сказать, мы сами мало верили в возможность найти берлогу в это время года, тем более, что специалист по берлогам — Разбойник — отстал в начале пути. Мы дошли до мыса Сесиль Хармсворт,— оттуда

берег заворачивает на север, достигли какого-то откоса горы, последнего перед бесконечной ледяной стеной, уходившей на север. Ни тут, ни в других свободных ото льда местах берлог не нашли. После полусуточного блуждания мы вернулись к палатке, обескураженные и голодные. Отдохнув, мы внимательно обследовали края полыньи, насколько позволял лед, очень тонкий вблизи нее. Новых следов не было. Решили в следующую ночь начать обратный путь: мы были километрах в сорока от „Фоки". Как назло, к этому времени небо заволоклось тучами, поднялись сильный ветер и вьюга. Не хотелось ставить снова палатку,— мы вышли.

Напряженность ночного путешествия по неизвестной стране передать словами невозможно. Как назвать это скитание с завязанными глазами? Как описать ощущение мрака и угрозы, осевших на душу? Часто не знаешь, где идешь: по земле или по морскому льду,— под ногами мутно. Вспыхнет спичка, осветит компас, видишь: стрелка отклонилась от взятого курса. Верить компасу? Не знаешь. Ведь вблизи базальтовых стен стрелка меняет склонение часто на двадцать-тридцать градусов. Но если ты отклонишься хотя бы на пятнадцать градусов от принятого курса, наверняка не заметишь во тьме места, к которому стремишься, и уйдешь в незнакомый пролив. Там можешь бродить хоть месяц среди неизвестных тебе берегов, нанесенных на карту только приблизительно.

Мы шли очень медленно. Сильный ветер ежеминутно гасил фонарь. Сильно ущербленная луна изредка светила сквозь мчащиеся облака. Так было сначала. Потом тучи закрыли ее совсем. Тогда, кроме неясных очертаний саней, все скрылось в густой мгле. Ощущение слепоты непередаваемое. Падать приходится ежеминутно: то взойдешь на покатую поверхность тороса, то провалишься в расщелину другого. Иногда видишь — луна спряталась совсем; припишешь это усилившейся вьюге, и вдруг перед тобою стена. Что это, айсберг, обрыв? Как слепец, ощупываешь палкой и рукой. Да, обрыв ледника. Как мы свернули к берегу, того не заметя?

Проблуждав часов пять, мы вышли на землю. Слабый подъем. Решили, что пересекаем выдающийся мыс, но скоро заметили ошибку,— подъем продолжался, мы входим на ледяной покров острова Гукера. Дальше к северо-востоку обрыв берегового льда становится выше и выше — семидесяти-ста метров,— мы это знали.

Оказаться сразу на краю его в эту тьму?..

Мы свернули налево. Стали попадаться камни. Остановив нарту, осветили карту и обсудили свое положение. Да, вероятней всего, находимся на мысе Дэнди-Пойнт: идя вперед при луне, мы видели в этом месте такой же низкий берег с камнями.

Мы стояли у смутно черневшей карты и чертили на снегу линии берега, виденного при луне. Сошлись на предположении:

ледяной покров сошел на-нет, еще несколько десятков метров — и мы по пологому берегу сойдем в пролив.

Для меня так и осталось загадкой, что за полоска земли встретилась нам, как и вообще местность, по которой мы бродили. Мы двинулись дальше. Я шел впереди, показывая путь собакам. Шагал довольно медленно, но без особых предосторожностей, принимаемых при ходьбе по ледникам. Я ждал ежеминутно, что встречу первые торосы пролива.

Вдруг я почувствовал, что под ногами что-то подломилось, и я лечу в пропасть. Помнится, особого испуга или растерянности не было. Наоборот, мелькнуло несколько мыслей чисто делового характера: куда я лечу — в трещину?.. Почему же ни за что не задеваю, и не ощущается свиста в ушах, как рассказывал Павлов? Чем все это кончится?..

Эти отрывки мыслей прервались жестким, глухим ударом в левый бок,— полет прекратился, я где-то внизу и, кажется, цел. Не успел я простонать, новый тяжкий удар обрушился на плечо и голову: глыба снега придавила меня. С трудом освободившись от снега, я не увидел впереди стены льда и понял все: я не в трещине, а свалился с обрыва. Целы ли товарищи?

Подняв голову, я увидел стену ледника и на верхней части его — еле различимой — заметил повисшую упряжку. Шесть собак болтались на цепочках, прикрепленных к ошейникам и, задыхаясь, хрипели; все остальное скрывалось во тьме и движении вьюги. Я стал кричать:

— Отстегните ошейники, собаки задохнутся!

Долгое время никто не отзывался на мои вопли, наконец донесся голос Пустошного,— он лежал на животе, выглядывая из-за края обрыва. Я приказал ему немедленно обрезать постромки. Через минуту упала кучка полузадохшихся собак. Все были еще живы. Бедняги отнюдь не понимали, что с ними происходит. Лежа несчастной, перепутанной ремнями кучкой, они тихонько повизгивали.

Сверху спустили на веревке груз, двух оставшихся собак и нарту, побросали мелочь. Оставалось спуститься самим. Прыгнули и люди. Седов свалился с лавиной, которая не выдержала его тяжести.

Все кончилось счастливо. Пока мы распутывали собак и приводили в порядок нарту, вьюга разыгралась. Ветер, скатываясь с ледяного покрова, шипел, свистел, забрасывал нас тучами снега. Все было готово,— мы тронулись в путь. И сразу попали в торосы. Не прошли за час и сотни метров,—и то не по верному направлению,— поднялась буря. Решили поставить палатку. Усталые от напряжения и приключений, мы улеглись спать.

Нам этот сон не дал отдыха. Палатка, поставленная наспех, колотила в бок, как злая нянька. Иногда я забывался дремотой, начинало казаться, что кто-то будит,— я просыпался. Буря разыгралась. Так лежали мы в спальных мешках более двенадцати

часов. Стало как будто утихать: стенки палатки больше не колебались, но сдавливались снегом: мы тесней прижимались друг к другу. Скоро поняли: палатку заносило снегом. Еще час, и голоса бури исчезли,— мы были в глубине сугроба. Я уснул. Только что пережитые часы стерлись в мозгу и сменились образами совсем иными, чуждыми напряженности ночного скитания. Мне снилось: я сижу в мягком кресле среди веселого общества прекрасных женщин и, смеясь, рассказываю о нравах японцев, о грациозной Окикуна-Сан — девушке-цветке, об экзотическом приключении, случившемся, когда я шел по блестящему бамбуковому лесу близ Оура с процессией Коня...

Какое-то неудобство разбудило. Я не сразу понял, что подо мной не мягкое кресло. Странно,— ощущение сырости. Оттаял снег? Желая устроиться поудобнее, я повернулся на другой бок и почувствовал, что лег в ледяную воду. Брезент уже погрузился в нее, когда, просунув руку под мешок, я стал исследо-



Айсберг в бухте Тихой

Фото Н. Никольского

вать причину сырости: палатка опускалась в воду Молодой лед, не выдержав тяжести сугроба и людей, прогнулся и с каждой минутой оседал все больше. Я поспешно вылез из мешка и разбудил товарищей. Наша одежда и рукавицы, сложенные в изголовьи вместо подушек, успели вымокнуть.

Мы барахтались во мраке тесной палатки, выбирались, расстегивали, обрывая, застежки у входа и разгребали руками лаз через сугроб. Нужно торопиться. Когда мы подняли спальные мешки, вода была уже по щиколку,— все вещи плавали. Раскопав выход, принялись выбрасывать вещи,—нетрудно вообразить, с какой поспешностью все это делалось! Палатку вытаскивали из-под снега, стоя почти по колено в воде.

Свирепствовала попрежнему буря. О, какими несчастными казались мы себе! В самом деле: мы не могли даже спрятаться от этой ужасной бури. Конечно, можно поставить палатку в другом месте. Но спальные мешки — ведь они промокли насквозь, вся одежда на нас тоже не в лучшем состоянии! Отсырела последняя коробка спичек, вода проникла даже в бензиновое огниво,— мы не могли развести огня, чтоб подсушить хоть немного одежду; лежать же в эту вьюгу мокрыми насквозь значит обратиться в ледяную сосульку. Волей-неволей нужно итти: на ходу не замерзнем.

Началось новое блуждание во тьме. Мы брели в оледенелых одеждах со снежной маской на лицах,— остановиться нельзя, пока не просохнет на ветру одежда. Луна ушла за горизонт, шли больше наугад: было так темно, что глаз не видел компасной стрелки. Через девять часов мы набрели на какой-то высокий мыс. Предположив, что перед нами мыс в проливе Мелениуса, мы должны были, держа прямо на восток, выйти к Рубини-Року. Направились по этому курсу, готовые вернуться к исходной точке... в случае, если бы по этому направлению Рубини-Рока не оказалось. Через два часа увидели, как привидение в тумане, грозные скалы Рока. Еще полчаса, и утром 16 декабря измученные собаки остановились у борта „Фоки".

Когда наши молодцы стали спрашивать,— где же медведь, Пустошный пробурчал, глядя в сторону:

— Ладно, хоть свои-то шкуры принесли.

Вместо медвежьего мяса нас покормили в праздник остатками собаки Гусара.

25 декабря. Монотонность и тьма. На Новой Земле даже в самые дни солнцеворота слегка светало. Здесь рассвета нет. При ясном небе на юге в полдень слегка сереет. Но это не заря; серый оттенок не освещает, ночь темна попрежнему.

В жилище нашем уныние. Здоровье всех, за малыми исключениями, пошатнулось. Седов еще до экскурсии жаловался на слабость десен; в эти дни они сильно распухли. Признак цынги у такого крепкого человека тревожит всех.

27 декабря. Тихий день,— 24° Ц. После обеда вышел прогуляться. Поднявшийся ветерок пронизывал заслуженную куртку,

малица пригоднее для таких температур. Я навестил медвежат и побрел в свою каюту.

Медвежата сейчас на привязи. На-днях они начали озорничать на метеостанции — „производить метеорологические наблюдения“ и сломали один из лучших термометров. Седов приказал посадить проказников на цепь. Узники привыкли к тому, что я выношу им каждый день сладенький кусочек. При моем приближении они издают веселое ворчание, становятся на задние лапы, чтобы рассмотреть, что у меня припасено, шарят по карманам, забираются лапой за пазуху и тщательно обнюхивают: не спрятан ли где-нибудь сахар или монпансье. Я люблю чувствовать на руке их теплые мягкие губы,— как будто любимая лошадь берет трепещущими губами кусок посоленного хлеба. Иногда мы боремся,— только не с Васькой: его характер слишком сумрачен для игр. Кормим их теперь только раз в неделю,— но до медвежьего отвала.

Вечером роскошное северное сияние. На Новой Земле оно не достигало никогда подобной силы игры и красок.

1 января 1914 года. Болезни на „Фоке“ усиливаются. Утром Зандер почувствовал, что ему плохо,— температура поднялась до 40°. Слег Коноплев. Десны Седова кровоточат; распухли ноги, одышка, сонливость и слабость. Вполне здоровых на судне только семь человек: я, Визе, Павлов, Сахаров, Лебедев, Пустошный и Линник. У Кушакова тоже распухли десны. Кушаков убежден, что все больны „пятнистым ревматизмом“ (очень редкая и малоисследованная болезнь). Оставшиеся здоровыми — все



Бухта Тихая в полярную ночь (при луне)

наподбор — воздерживающиеся от солонины и относятся к определению нашего ветеринара и всей его врачебной деятельности с большим недоверием. Беда в том, что лечение цынги и пятнистого ревматизма противоположно. Наши больные вместо свежего воздуха и подходящего питания получают огромные, лошадиные порции салицилового натра.

Мы, здоровые, пока духом не падаем. Распределив работу, лежавшую на больных, подбадриваем друг друга. Струн спускать не хотим. Готовится большой номер нашего журнала. Ежедневно для сохранения здоровья гуляем не меньше двух часов.

4 января. Инютин, Кизино и Пищухин поправляются. Продолжительные прогулки по воздуху оказывают хорошее действие. Седову тоже лучше. После обеда он высунулся из каюты и спросил меня, в исправности ли моя винтовка: собаки что-то подозрительно воют. Минуты через три вернулся с прогулки Инютин и сказал, что несколько собак, отбежав к айсбергу, подняли сильный лай. Я и Седов, захватив ружья, вышли посмотреть, в чем дело. Нас скоро догнал штурман с фонарем. Седов шел медленно и задыхался.

Около айсберга, в полкилометре от судна темными пятнышками копошились собаки. Подойдя шагов на тридцать, мы начали различать, кроме собак, еще какой-то предмет,— он столь же походил на медведя, как на кусок снега или на торос в снегу. Собаки держались полукругом, примыкавшим к ледяной стене. Нам казалось странным, что белые Ободрыш и Разбойник рядом с медведем в темноте выглядели почти черными. Шагах в двадцати Седов выстрелил, я — тотчас же за ним. Медведь взревел и бросился бежать с быстротой оленя,— мы не видели еще такого быстроногого медведя. Когда собаки вцепились в него на ходу, медведь стал вертеться и прыгать, как рассерженная кошка. Я дал по нему выстрел наугад, не видя мушки,— конечно, не попал, ибо медведь бросился бежать еще резвей. Следовало бы сохранить осторожность в борьбе с таким зверем, но в темноте как убить его иначе, если не в упор? Седов бросился вслед, я же побежал отрезать дорогу с противоположной стены айсберга, крича в то же время идущим от корабля зрителям, что зверь идет на них. Мишка, завидев ряд фонарей, предпочел повернуть и влезть на айсберг в том месте, где был он пониже, около двух метров обрыва, а дальше наклонная плоскость. Спустя секунду, по неровностям льда взобралось на айсберг несколько собак. Начался бой на ледяной наклонной и скользкой плоскости. В несколько секунд медведь подмял собаку, другая с визгом скатилась с обрыва. Седов выстрелил. Медведь спрыгнул с обрыва, но, встретив внизу новых собак, опять взлетел на айсберг и снова смял собаку. Я подошел к самому обрыву и выстрелил два раза, последний выстрел оказался удачным,— штурман осветил фонарем медведя,— я разобрал на дуле очертания мушки. Зверь взревел,

сделал огромный прыжок, еще подпрыгнул и, облепленный собаками, покатился по откосу и рухнул с обрыва.

И здоровые, и больные пили горячую медвежью кровь. До этого дня я не был кровопийцей, но сегодня горячо расхваливал эту жидкость, не подавая вида, что она мне противна: я знал, что в крови — лучшее средство от цынги. Ею спасаются все на побережьи Ледовитого океана.

Большинство вняло моим увещаниям. К сожалению, два более слабых „ревматика" — Зандер и Коршунов — не поверили похвалам напитку и отказались наотрез. Седов попробовал, но не мог пить. Его стошнило.

Бедняге Коноплеву хуже. Ноги его под коленями распухли, он уже не может ходить. Больной — очень крепкий человек, но, вынужденная неподвижность лишает его свежего воздуха.

Новый 1914 год встретили, как прошлый, празднеством и пушечной стрельбой. В этот праздник все мы, оставшиеся здоровыми, изо всех сил старались организовать праздничное веселье. Украшение и иллюминация кают, богатые ужин и обед, номер журнала — все, как в прошлом году. Казалось по временам, что удалось отогнать тяжелые мысли больных. Но веселья не было.

Седов перед обедом произнес речь. Голос его слабо звучал в этот раз. Призыв соединиться в тесную семью и слова ободрения больным потеряли что-то, раньше убеждавшее и подвинчивавшее.

Тяжел долг начальника экспедиции. Больше всех в ободрении и поддержке нуждался сам Седов. Но он не мог высказать своего уныния, как ни худо было на его душе: ведь все ждут бодрящего слова, слова вождя. За исключением нескольких самостоятельных людей, все привыкли иметь впереди вожака, Седов же был истинным вождем. До сих пор за ним шли слепо: он образец смелости и расчетливости, образцовый капитан, матросы в него влюблены. Разве мог сказать Седов, что было у него на душе? Разве может начальник экспедиции вынести наружу свои колебания и сомнения? Не мог он не чувствовать, что планы его уже пошатнулись. Болезнь, — она безжалостно их разбивала.

Весь январь стояли холода до 38°Ц с резкими ветрами. 13 января у меня отмечено: „Гулял свои два часа при ветре 16 метров в секунду с температурой —38°. Даже малицу пронизывает ветер. Ходим с отмороженными щеками и подбородками. Моя каюта во льду. Оледенение дошло до самого пола. Поверх льда на стенах и на потолке по утрам вижу слой инея, — это влага моего дыхания за ночь. Могучий ледник на койке достиг вышины полуметра при толщине около двадцати сантиметров.

Удивительная привычка. По ночам я не особенно зябну, хотя покрываюсь теми же двумя одеялами, что и дома. Приходится, впрочем, на ночь надевать лишнюю фуфайку, а ноги закрывать листом резины. Кроме меня, раздевается на ночь только Визе,

остальные, по выражению Павлова, „давно опустились на дно". Температура в каютах по ночам снижается до —6°, бывает и ниже. Днем в кают-компании от 1 до 9° выше нуля. В каютах холоднее.

Когда в каютах от 0 до 5 градусов, мы мерзнем, хочется надеть меховую куртку. Я удерживаюсь,— тренируюсь на холод, к тому же и куртка одна. Слабое место всех — ноги: они вечно мерзнут. Обувь поизносилась, а хорошую пару все берегут прозапас. В коридоре же на полу постоянная влажность, ноги у всех мокры. Чтобы согреть их, необходимо высушивать валенки, в то время как топится чугунная печка.

Как только затопится печь в коридоре,—а это отрадное событие случается два-три раза в день,— вокруг источника тепла собирается все население „Фоки". Тридцать или сорок минут, пока горит огонь, печи не видно: она закрыта обувью. За первым слоем — второй: ее держат в руках люди, толпящиеся вокруг. Они стоят на одной ноге, подобно аистам, другая — босая— протянута к печке. Случаются легкие ссоры из-за несправедливого распределения мест.

Попробую описать день на „Фоке". Я уже с шести часов не сплю и слышу все звуки нашего обиталища. Первый — покашливание штурмана в его каюте; по старой морской привычке он просыпается раньше всех. Потом слышу на кухне возню: встал Лебедев,— теперь он боцман. В семь часов Лебедев идет по матросским каютам, доносится его иронически-вежливый голос:

— Господа, доброе утро. Каково почивали? Извините, что побеспокоил. Милостивые государи, позвольте попросить вас встать!

В ответ раздаются не столь утонченно-вежливые слова и звуки. Как бы то ни было, люди начинают шевелиться и, ляская зубами, поругиваясь, вылезают из-под одеял. Одеваться не нужно: все спят одетыми. Тотчас после любезного приглашения вставшие идут на кухню за кипятком.

День начался. Рассказывают сны. Рядом в буфете Кизино стучит посудой, потом затапливает в кают-компании печь. Спустя полчаса температура поднимается, тепло через открытую дверь доходит до меня, размаривает. В восемь часов Кизино обходит каюты членов экспедиции, неизменно повторяя изо дня в день все одни и те же слова: „Пожалуйте кофе пить". Доходит очередь до меня. Я совсем не расположен вставать: уловка Кизино давно известна, кофе не готово и будет подано не раньше девяти. Я вылезаю из-под одеяла в начале десятого и сажусь за кофе с черным хлебом. У лампы в коридоре уже сидит Инютин за шитьем сапог из нерпичьей шкуры, бегает в машинное отделение Кузнецов, вспарывает консервные жестянки Пищухин. Из клубов пара, распространившихся от кухни по всему коридору, доносится голос Линника,— он чинит шлейки и разъясняет Пустошному нечто из мудрого опыта, как управлять собаками.

Умываюсь, убираю свое ложе. В кают-компании — Павлов, иногда — Максимыч. Павлову скучно до тоски. Он берется за ту, за другую книгу — все перечитано. Ставит микроскоп — все шлифы заучены. Седов лежит в своей каюте. В помещениях больных горят лампы, там теплее — около десяти градусов.

Перед обедом затопляется печь кают-компании. У нее — места не найти. Пообедав, команда ложится спать.

В шесть часов подается ужин — остатки обеда, а обед — суп из сушеной трески или мясных консервов, изредка заменяемый бульоном из сушеного мяса; на второе — макароны или каша. Однообразные блюда надоели всем до отвращения. Есть не хочется. Пересиливаешь себя. Через три часа волчий голод: организм протестует, получая мало азотистых веществ, особенно нужных ему в суровых условиях.

До ужина каждый продолжает свою работу,— в вахтенном журнале отмечается: „Команда занималась приготовлениями к полюсному путешествию“. В девять часов некоторые матросы сразу забираются в койки; другие играют в карты, в кают-компании несколько человек просиживают за картами часов до двенадцати. А потом дружный храп или ворочанье с боку на бок.

Действительно, не легко уснуть в этом чертовском холоде. С потолка падают капли на лицо, замерзают высунувшиеся конечности или нос до такой степени, что приходится отогревать рукой или дыханием. Сон всегда неспокоен.

20 января. С нового года усиленно готовится снаряжение для путешествия к полюсу. Уйдет ли Седов, хватит ли сил? Здоровье его как будто лучше. Сегодня он вышел из каюты, но, просидев около часа, сильно устал и снова лег в постель. Мясное питание помогло. Мясо медведя, убитого недавно, тратилось как лекарство. Мы, здоровые, попробовали его только на Рождество и Новый год. Штурман, Кизино и Кулаков поправились совсем. Инютин и Пищухин — на ногах.

29 января. За ходом болезни Седова следят, как за болезнью ближайшего родственника. Судьба экспедиции будет иметь разные исходы в зависимости от того, поправится ли больной к началу февраля. Сегодня лица веселей. Седов целый день на ногах.

31 января. В тишине ночи под темным небом, когда слышен один скрип под ногами, разговоры двух ушедших на прогулку становятся особенно значительными. На корабле каждое слово взвешивается: оно — достояние всех и не должно задеть никого. Сегодня продолжительный разговор с Седовым.

Он просил меня отправиться на мыс Флоры: необходимо оставить записки на южном берегу на случай, если какой-нибудь корабль придет раньше, чем вскроется бухта Тихая. Мы подробно обсудили план путешествия: придется итти с двумя матросами, без собак. Разговор перешел на полюсное путешествие. Георгий Яковлевич подробно развил план, которого он хочет держаться при нынешних обстоятельствах. Возьмет всех

(двадцать восемь) собак, провизии для собак на два с половиной месяца, для людей — на пять месяцев. Он считает возможным сохранить часть собак до самого полюса в том случае, если ему удастся пополнить запасы из склада Абруццкого в Теплиц-бай на Земле Рудольфа. Седов просил меня проводить полюсную партию до этого места. Если бы склад оказался попорченным или использованным, Седов будет иметь возможность пополнить израсходованное из провианта, оставшегося мне на обратную дорогу. Я ответил согласием на оба предложения: в самом деле, провизия нужна мне только до половины марта,— после этого срока возможно пропитаться одними птицами.

При уходе Седов предполагает возложить на Визе руководство научной работой, оставив Кушакова попрежнему заведывать хозяйством и передав ему же власть начальника экспедиции: „Он старше всех по возрасту и имеет способность командовать". Когда я попросил Седова не торопиться с путешествием:— „Поправившись и окрепнув, вам будет легче делать большие переходы",—он ответил: „Болезнь моя — пустяки. Кушаков определил легкий бронхит и острый ревматизм. Разве такое недомогание оправдало бы задержку?" Когда я намекнул, что „ошибки в распознаваниях болезней свойственны даже лучшим профессорам", Седов перебил меня: „Цынга? Тем более, она страшна при неподвижности зимовки, при упадке духа. Нет-нет, мне нужно не поддаваться болезни, а бороться с ней!"

4 февраля. Уход Седова назначен на 15 февраля. Продолжаются сильные холода, вот уже около месяца температура до —33°Ц. Климат Земли Франца-Иосифа резко отличен от новоземельского. Нет столь резких колебаний. Свирепы бури, но ураганов, подобных прошлогодним, не наблюдалось. Но здесь обыкновенны морозы при сильном ветре. Ветры чаще всего с северных румбов. Жизнь в палатке при таком климате должна быть особенно тягостна. Представляется, какой невыносимо-тяжелой должна была она казаться путешественникам к полюсу, не имевшим до того долгой полярной тренировки. Мы достаточно закалены и вооружены мелочами палаточного обихода, делающими жизнь на льду терпимой, а главное — знаем предел выносливости, за которым должна начаться болезнь. Тем яснее представляем, что грозит путешественнику, не соразмерившему сил с условиями. Здоровье Седова попрежнему плохо. Почти неделю он был на ногах, эти сутки провел опять в каюте.

9 февраля. Между 10 и 2 часами светло. Седов ездил проминать собак. Собаки в прекрасном состоянии: начиная с лета они питались мясом. Шерсть их густа и пушиста,— некоторые псы круглы, как шерстяной мячик. Совершился естественный отбор,— остались крепыши. С такими собаками можно на полюс.

Продолжаются сборы. Мы все принимаем участие, вкладывая все старание и свой опыт. Каяки будут поставлены на сани, вся провизия — внутри каяков. На случай, если бы сани прова-

лились, и вода попала бы и в каяки, все предметы, боящиеся сырости, упакованы в непроницаемые резиновые мешки. Выдающиеся места каяков, которым грозит опасность порчи острыми краями льдин, защищены оленьим мехом. Мехом обшиты даже веревки в местах касаний с каяками. Провизия распределена так, что не нужно затрачивать времени на отыскивание: по номеру мешка всегда видно, сколько остается запасов. Спальный мешок один на троих во всю ширину палатки. Окончательно выяснено, что Седова сопровождают Пустошный и Линник.

Попытка Седова безумна. Пройти в пять с половиной месяцев почти 2000 километров без промежуточных складов, с провиантом, рассчитанным на пять месяцев для людей и на два с половиной для собак!

Однако, будь Седов здоров, как в прошлом году,— с такими молодцами, как Линник и Пустошный, на испытанных собаках он мог бы достичь большой широты. Седов — фанатик достижений, настойчив беспримерно. Но в нем есть жизненная черта: умение приспособляться и находить дорогу там, где другому положение представляется безвыходным. Мы не беспокоились бы особенно за участь вождя, будь он вполне здоров. Планы его всегда рассчитаны на подвиг: для подвига нужны силы,— теперь же сам Седов не знает точной меры их. До похода пять дней, а больной то встает, то опять в постели. Все участвуют в последних сборах, но большинство не может не видеть, какого исхода можно ожидать. Предстоит борьба не с малым — с беспощадной природой, она ломала не такие организмы. И Нансен и Каньи повернули с 86-го градуса, а отправились они от точек, лежащих к полюсу значительно ближе, чем наша зимовка. Но в решение Седова начать борьбу никто не вмешивается. Существует нечто, организовавшее наше предприятие; это нечто — воля Седова. Противопоставить ей можно только восстание.

Но для восстания нужно прежде всего единодушие хотя бы в одном: в мнении о сущности болезни нашего вождя. Но такого единодушия нет. Кушаков, исправляющий обязанности официального врача экспедиции, утверждает, что Седов здоров. Когда очередь вести вахтенный журнал доходит до Кушакова, он неизменно отмечает, что Седов поправляется от недомогания. Каждый из членов экспедиции имеет свои выводы из наблюдений над здоровьем Седова, и эти выводы совсем не согласуются с кушаковскими официальными бюллетенями, ни с его подбадриванием сборов к полюсу. Но никто из нас, профанов в медицине, не имеет достаточного авторитета для противопоставления истины документальным записям честолюбивого ветеринара, которому нужно отправить Седова подальше к полюсу, а самому стать во главе экспедиции. Седов — оптимист. Он в мечтах уже на полюсе. Он верит сладким нашептываниям Кушакова и не поверит никому, кто будет говорить о горькой истине — о невоз-

можности для больного человека длительного путешествия к полюсу. К сожалению, на „Фоке“ имеются всего три-четыре человека, которые понимают, что перед нашими глазами происходит сложная и преступная игра. Это игра на жизнь Седова. Вмешательство в эту игру ни к чему не приведет: мы не имеем настоящего врача, который сказал бы четыре веских слова: больному на полюс нельзя.

Сегодня во время прогулки к Рубини-Року я несколько раз начинал разговор о предстоящем походе и о возможности отложить его на две, на три недели. Седов каждый раз менял направление разговора, как будто был он ему неприятен. Под конец прогулки мы подошли к теме вплотную. Седов слушал мои доводы, не перебивая. Потом долго думал и произнес:

— Все это так, но я верю в свою звезду.

11 февраля. Сегодня я нашел лес из кристаллов: крошечные снежные деревца выросли на льду. Они образовались из испарений льда на недавно затянувшейся полынье. Я долго, дивясь, рассматривал их нежное строение. Кустики в 4—5 сантиметров высотой. В местах, где лед был толще, кустики закрывали его сплошь. Несколько дней стоял полный штиль,— за время его и выросли чудные деревца: испарения, не поднимаясь вверх, замерзли на месте. К сожалению, я заметил тот лес во время сумерек,— для фотографирования было слишком мало света.

12 февраля. Ясный день, цветистая заря. Мои волшебные деревья снесло первым же движением налетевшего ветерка. Когда я пришел с аппаратом, на месте кристального леса был ровный лед, как будто виденное вчера было только сном.

Вспомогательная партия не может выйти,— нет здоровых людей. Со мной должны были итти Шестаков и Пищухин. Пищухин все время прихварывал, а в эти дни еле ходит на опухших ногах,— такой спутник для путешествия не помощь, а помеха. Шестаков слег в койку. Из оставшихся матросов здоров вполне один Кизино. Все складывается враждебно походу.

13 февраля. Весь вчерашний день — последние спешные сборы. Сегодня у борта три нарты цугом с разложенными шлейками. Остается только запрячь собак. 25 градусов мороза, жестокая буря с юго-востока. Сила ветра до сорока метров в секунду. Седов целый день в каюте. Вчера его ноги опять распухли. Кушаков успокаивает Седова, находя, что болезненное состояние не что иное, как обострение ревматизма и сильный шторм. Некоторые думают об ухудшении здоровья проще, припоминая, что несколько дней назад, по распоряжению Кушакова, была сварена солонина, и Седов опять поел ее. Бесполезно спорить: усиление цынги или ревматизма свалило с ног нашего вождя,— не одинаково ли погибельно начинать двухтысячекилометровое путешествие с цынгой или ревматизмом? Но отъезд не откладывается. Под вечер шторм утихает. Седов просил меня фотографировать его. Нарочно встал с постели и оделся.

Полюсный марш

15 февраля пасмурный рассвет. Буря окончательно стихла, от нее остался слабый ветерок. —20° Ц. Светать начало только к десяти часам. Седов с утра ушел на разведку. В половине одиннадцатого вернулся. Дорога тяжела. Вчерашняя буря намела большие сугробы, снег не успел затвердеть. С лицом бледным, задыхаясь, Седов поднялся на корабль. Он жаловался на боль в ногах и одышку.

Перечитывая свой дневник, я вижу, что все записанное в этот день проникнуто тяжелым предчувствием. Восстанавливая теперь в памяти этот день, я убеждаюсь, что взгляд мой, прикованный к тяжелой туче, не видел многого: только теперь, смотря на последнюю фотографию Седова, снятую за несколько минут до отправления к полюсу, я припоминаю, как прекрасно было его бледное вдохновенное лицо со взглядом устремленным куда-то вдаль. Что общего у этого лица — с переполненным жизнью, которое все знали раньше,— румяным, скуластым, с огромным лбом и всегда смеющимися глазами, глубоко всаженными в орбитах? Неистощимый рассказчик, выдумщик анекдотов и смешных историй, кумир команды, бесстрашный охотник, всегда насыщенно-бодрый, даже к работе подступавший не иначе, как с шуткой, Седов в этот день явился иным: сосредоточенно-решительным, как будто бы какая-то мысль завладела им до перевоплощения.

Возвратившись с разведки, Седов прошел в каюту. Перед тем я передал ему свое письмо.* Георгий Яковлевич пробыл в каюте около получаса, вышел с написанным приказом, в котором он передавал руководство научными работами Визе, командование кораблем — Сахарову, а власть начальника — Кушакову. Визе прочитал приказ вслух. Не расходились. Не уходил и Седов. Он несколько минут стоял с закрытыми веками, как бы собираясь с мыслями, чтобы сказать прощальное слово. Все ждали. Но вместо слов вырвался едва заметный стон, и в углах сомкнутых глаз сверкнули слезы. Седов с усилием овладел со-

* В письме я, предостерегая Седова от легкого отношения к своей болезни и доверия диагнозу Кушакова, просил его отложить свое путешествие до выздоровления.

бою, открыл глаза и начал говорить, сначала отрывочно, потом спокойнее, плавнее,— голос затвердел:

— Я получил сегодня дружеское письмо. Один из товарищей предупреждает меня относительно моего здоровья. Это правда: я выступаю в путь не таким крепким, как нужно и каким хотелось бы быть в этот важнейший момент. Пришло время: сейчас мы начнем первую попытку русских достичь северного полюса. Трудами русских в историю исследований севера вписаны важнейшие страницы,—Россия может гордиться ими. Теперь на нас лежит ответственность оказаться достойными преемниками наших исследователей севера. Но я прошу: не беспокойтесь о нашей участи. Если я слаб, спутники мои крепки, если я не вполне здоров, то посмотрите на товарищей, уходящих со мной,— они так и пышут здоровьем. Даром полярной природе мы не дадимся.

Седов помолчал.

— Совсем не состояние здоровья беспокоит меня больше всего, а другое: выступление без тех средств, на какие я рассчитывал. Сегодня для нас и для России великий день. Разве с таким снаряжением нужно итти к полюсу? Разве с таким снаряжением рассчитывал я достичь его? Вместо восьмидесяти собак у нас только двадцать, одежда износилась, провиант истощен работами на Новой Земле, и сами мы не так крепки здоровьем, как нужно. Все это, конечно, не помешает исполнить свой долг. Долг мы исполним. Наша цель — достижение полюса; все возможное для осуществления ее будет сделано.

В заключение Седов старался ободрить больных:

— Жизнь теперь тяжела, стоит еще самая суровая пора, но время идет. С восходом солнца исчезнут все ваши болезни. Полюсная партия вернется благополучно, и мы тесной семьей, счастливые сознанием исполненного долга, вернемся на родину! Мне хочется сказать вам не „прощайте“, а „до свиданья“.

Все стояли в глубоком молчании. Я видел, как у многих навертывались слезы. Пожелали счастливого пути. Как-то особенно просто и задушевно сказал несколько слов Лебедев.

После завтрака Седов встал первым.

— Нужно итти!

Через несколько минут все были на воздухе. Еще небольшая задержка у фотоаппарата, и все, способные двигаться, под лай и завывание рвущихся собак пошли на север. В мглистом воздухе глухо стучали пушки, чуть развевались флаги. Крики „ура“ тонули в белых проливах. У северного мыса острова Гукера, километрах в семи от зимовки, мы остановились, пожали руки уходящим, расцеловались.

— Так до свиданья, а не прощайте!

Несколько торопливых фраз, и две кучки людей разошлись: одна — на север, другая — на юг. Еще несколько салютов из моего револьвера, и темная полоска трех нарт стала таять в сгущающейся темноте великого ледяного простора.



Последний портрет Г. Я. Седова — перед походом его с Земли Франца-Иосифа на северный полюс

Я долго стоял на торосе, вглядываясь в темноту. Отблеск тусклой зари, величавые белые горы с бледнозелеными ледниками, груды торосов — все было особенно тускло. Новую полоску следов уже запорашивал ветер. Стемнело. Быстро скользя лыжами, я побежал догонять горстку людей.

Суровое время наступило в начале февраля. Температура не поднималась, усилились ветры. Метеорологической станцией отмечены штормы: 16 февраля при —27°, 19-го, 20-го и 21-го — при —35 Ц. На корабле после такой погоды все замерзло. 22 февраля в дневнике отмечено:

„Ветер затих. Я привел в порядок каюту, оледеневшую, как камень на горе. Пришлось долго скалывать лед: вынес семь умывальных тазов. Более половины осталось под матрацом: его нельзя выколотить, не испортив материи".

24 февраля. Сегодня, по вычислениям, должно было показаться солнце. Хороший безоблачный день, — 39° Ц. В полдень горел яркий отблеск на юге. Я и Павлов, поднявшись на ближайший откос берега, с высоты 100 метров увидели самое солнышко.

25 февраля. Празднество в честь солнца. Живое солнышко, замечаем, не любит официальностей, — с утра на небе тучи. Праздник вышел по другому поводу: Лебедев нашел завалившуюся четвертку махорки и распределил между курящими. Запасы табаку иссякли в конце декабря: в прошлом году матросы под горячую руку выбросили в море два ящика слегка подмоченного. Ныне только Визе владеет „неоцененными сокровищами", — нето две, нето три четверти настоящего стамболи. Владение сокровищами всегда связано с некоторыми неудобствами. Нужно сторожить. Нужно отклонять самые выгодные предложения, когда за половину папиросы предлагают променять пару новых рукавиц, за хорошую щепотку — ночное дежурство или новые брюки. Когда Визе курит... о, сколько влажно-завистливых взглядов следит за сизыми струйками, сколько досадливых покашливаний!

6 марта. День рождения Визе. На столе четвертка табаку. Готовлюсь к экскурсии на мыс Флоры, — предполагаю итти вдвоем с Инютиным. Приходится снаряжаться особенно легко. Весьма вероятно, что мне придется итти одному с примусом, спальным мешком и записками: Инютин очень слаб и ненадежен. Пищухин еле бродит с распухшими коленками. Из матросов вполне здоровых только двое — Кузнецов и Кизино.

9 марта. Стоит ясная погода. С 4-го полная тишина, ясные солнечные дни с ровной температурой — 30 — 35° Ц.

Сегодня поднялись с Павловым на вершину острова Гукера. День на редкость ясен, — казалось, что и воздух застыл. Южные острова четки во всех подробностях, а Британский канал с горы — как перед летящей птицей.

Прекрасные дни не доставляют полного удовольствия,— гнетут мысли об ушедших и забота о больных. Прекрасны безгранично-широкие просторы. Но мозг, отказываясь воспринимать всю красоту замерзших земель, упорно возвращается к жизни — к жизненным мыслям о том, что на пространстве в полтораста километров ни трещинки во льду. Такое состояние льдов напоминает: медведей нет поблизости, нет спасения больным. Зандер, когда-то крепкий мужчина, теперь похудел и совсем ослаб. Одна надежда на птиц: они прилетают к этим берегам почти с восходом солнца.

10 марта. Как упорны и злы морозы! Ртуть почти не оттаивает. Мы жмемся друг к другу, как холодом застигнутые птицы. Все каюты, за исключением одного лазарета, покинуты. Больные из другого лазарета переведены в каюту Седова. И я, устав бороться со льдом, переселился в кают-компанию.

Сегодня Иван, переставляя ящики, нашел в трюме гнездо крыс. Туда, очевидно, собралось все крысиное население „Фоки". Крысы натаскали в щель обшивки всякого хлама: обрывков бумаги, соломы, пеньки, нагрызенных канатов и, зарывшись, лежали друг на друге тесным комком более пятидесяти, но в живых осталось две-три, и те не шевелились, не испугались света фонаря.

Зандер совсем плох. Сегодня, войдя в каюту навестить его, я сразу заметил, что больной сильно осунулся, обозначились



В. Ю. Визе, геолог Павлов и Пищухин на Земле Франца-Иосифа

скулы, запали глаза. Он не предложил, как обыкновенно, „несколько градусов своей температуры для тепла“, а, прерывисто дыша, сказал мне тихо:

— Видно, мне от своих градусов не избавиться; одна просьба: найдите несколько досок на гроб.

Я ответил шуткой. Она успеха не имела. Больной ответил голосом слабым и серьезным:

— Плохо мне.

13 марта. Прилетели птицы. Утром стайка маленьких люриков покружилась над обрывом, словно осматривала местность, и села где-то на камнях. После обеда я взял ружье,— не удастся ли добыть несколько птиц для больных? Едва я вышел на палубу, меня догнал Кушаков и сказал:

— Иван Андреевич кончается.

Я вернулся и открыл дверь в его каюту. Зандер был еще жив. Когда дверь скрипнула, он пошевелился и испустил хрип,— это был последний вздох. Бледный, неподвижный лежал Зандер на левом боку, закрыв глаза и подложив под щеку руку. Казалось, он спал. Бедный, сколько страданий за эти последние месяцы! Узкая койка в тесной каюте, слабый свет полярного дня, еле светящего через обледенелый иллюминатор, серые закопченные стены — вот обстановка последних дней жизни и одинокой смерти без утешения и помощи родных и близких.

Все здоровые,— а их было шесть человек,— отправились копать могилу вблизи астрономического пункта. Работали до полной темноты. Почва смерзлась до такой степени, что даже ломами невозможно выкопать глубокую яму. Могила получилась глубиной всего в аршин.

14 марта. Похоронили Ивана Андреевича. Зашив тело в мешок из брезента (на „Фоке“ не нашлось шести досок, годных для гроба), мы вынесли Зандера на палубу и на нарте довезли до могилы. Выла вьюга. Ветер трепал одежды людей, впрягшихся в сани, шуршал по камням. Тело спустили в могилу и устроили нечто подобное склепу,— свод его заменила дверь от каюты. Засыпали слоем земли в десяток сантиметров, а сверху наложили большую груду камней. Вот она, полярная могила, первая на этом острове.

Мы потеряли мужественного и нужного человека. Всю жизнь Иван Андреевич провел в море, изъездил все океаны. В самые опасные минуты плавания „Фоки“ почивший был бодр и спокоен. Морская жизнь учит бесстрашию. Четыре темных месяца на койке, одиночество, ужаснейшая болезнь,— можно бы упасть духом, но Зандер терпел, никто не слышал жалоб от него иначе, как в шутливой форме. И даже умереть умел терпеливо, незаметно. Крепким духом — славная смерть!

16 марта. Вчера я писал о смерти, она была тут перед глазами, заслоняла собою все. Злобный ветер с севера пел ее торжествующую песнь. А сегодня,— лишь успел я распахнуть

выходную дверь,— блеснуло в глаза нестерпимо яркое солнце, и откуда-то сверху, как будто с самого голубого неба, понеслись веселые, задорно звенящие крики, бодрящий гомон беззаботной жизни. Птицы прилетели.

Гуще всего крики были со стороны Рубини-Рока. Птиц не видно,— они на самой вершине двухсотметрового обрыва. Я убил всего девять люриков. После каждого выстрела со скал срывались тучи из белых, быстро мелькающих крылышек,— трепетные живые тучи. Возвращаясь, я встретил Павлова, всего обвешенного птицами: он набрел на полынью, чуть не сплошь усеянную люриками.

18 марта. Прилетают все новые стаи люриков. Миллионы резвых крылышек прорезают воздух тонким свистом. Не нужно ходить к Рубини-Року: птицы поселились везде, где земля свободна ото льда. У самого „Фоки" летают стайки, срываются одна за другой с заснеженных камней, садятся поблизости, перепархивают и опять куда-то уносятся. Веселые, жизнерадостные птички. Природа, совершенно не считаясь со склепным молчанием белых пустынь, наделила их задорными, звонкими голосами и полным неумением молчать,— хохочущие крики носятся непрерывно в воздухе. Эти веселые пичужки совсем не боятся людей. Когда подходишь к стайке, важно рассевшейся по камням, немного замолкают; если не делать резких движений, подпускают к себе на несколько шагов. Сядь и сиди неподвижно: настороженные головки скоро придут в обычное положение, затем главный болтун раздует зоб и выпустит беззаботную песню: „Кга, га-га-га-кга!"

В погоне за мелкими рачками на полынье они собираются— себе на погибель — густыми стаями. Вчера и сегодня на полынье охота всерьез; нужно запасаться мясом, пока представляется удобный случай. Один я убил 119 лириков и 16 чистиков. Всего за три дня добыто 230 птиц. Охотимся рассчетливо, дожидаясь, когда птицы сплывутся густо,— воды не видать. Бывает—после выстрела на месте остается до двадцати штук; вся стая поднимается, кружится недолго, потом опять садится, часто ближе, чем до выстрела.

Вчера штурман убил нерпу. Зверь не потонул: жирный, плавал по воде, как пробка. Мы привезли лодочку и достали добычу. За три дня все заметно поправились — объедаются птицами больные и здоровые; все чувствуют себя помолодевшими. Мы дождались лучших дней. Как тяжелы ушедшие — напоминает горка камней на могиле Зандера.

Гибель

18 марта после утреннего кофе мы собрались, как во все последние дни, стрелять люриков на полынье, но, заспорив о чем-то, немного задержались. Штурман, махнув рукой на спорщиков, закинул за спину винтовку и вышел. Минут через пять он вбежал с искаженным лицом:

— Да что же это такое! Георгий Яковлевич возвращается?.. Нарта с севера идет.

Выбежав, в чем были, у пригорка метеорологической станции остановились. Из-за мыса показалась нарта, миновала мыс. Только *одна* нарта, и около нее только *два* человека. Возвращавшиеся не могли уже не видеть нас, но шли без радостных криков привета, молча.

— Беда?!

Несколько мгновений спустя, когда глаза привыкли к свету, я разобрал, кто идет: впереди собак — Линник, а сзади, поддерживая нарту с каяком, — Пустошный.

— *Седова нет!*

Через минуту мы окружили вернувшихся.

— Где начальник?

— Скончался от болезни, не доходя до Теплиц-бай. Похоронили на том же острову.

Стояли в молчании. Так вот чем кончается экспедиция, вот куда привела Седова вера в звезду!..

Линник и Пустошный — с черными обмороженными лицами без улыбок, изможденные, исхудавшие, — откинув назад капюшоны, начали рассказывать.

Подвечер один из нас записал со слов матросов всю недолгую историю путешествия к полюсу. Тогда же почитали для сопоставления с рассказами путевой дневник Седова. Дневник кончался на первом дне марта. Под этим числом отмечено появление солнца. Запись кончается обращением к нему: „Посвети, солнышко, там, на родине, как тяжело нам здесь на льду".

Седов в начале путешествия скрывал от спутников свое тяжелое положение; по дневнику ход болезни яснее. Первые три дня она не особенно беспокоила. Опухоль ног и одышка уменьшились. Но только три дня. С каждым новым — появля-

лись новые болезненные ощущения, и тело слабело. В эти же дни ударили невыносимые холода со страшными встречными штормами при 35° мороза. Да и почти во все время путешествия ветры упорно дули навстречу. Больной должен был вдыхать жгучий холодный воздух, бороться с условиями, губительными и для крепчайшего организма.

После стоянки вблизи острова Еразмус Оммане Седов ослабел,— он не мог двигаться на ногах. Больной сел на нарту и больше не сходил с нее. Но каждое утро запрягались собаки, и караван двигался вперед, тянулись к северу три нарты. С этой поры для матросов начались страдные дни. Давило беспокойство за вождя, били морозы, томила тяжкая работа. На остановках за больным ухаживали, как за отцом. Но... какая зашедшая далеко болезнь может исцелиться в палатке на снегу при ветре с тридцатью градусами мороза?

За островом Марии-Елизаветы начинается море Виктории. Наши путешественники двигались по льдам его, постоянно видя слева открытую воду. На одной из стоянок к лагерю подошел медведь. Седов, еле держась на ногах и качаясь, вышел из палатки на охоту: он и тут не хотел пренебречь запасом пищи для собак. Собаки загнали зверя в продушину километрах в двух от палатки. Добыча казалась верной, собаки не выпускали зверя из западни,— подойти и выстрелить в упор. Но вышло не так. Что-то случилось с затвором ружья: курок не разбивал пистона. Взбешенный неудачей, Седов направился к палатке за финским ножом, чтоб им заколоть медведя. По дороге охотник упал от слабости и больше подняться не мог. Спустились темнота и туман. Линник один добрался до палатки. Больного привезли к лагерю на нарте.

С этой стоянки началась страшная борьба беспощадной полярной природы с больным, слабым человеком, вооруженным лишь волей да верой в свою звезду. Вплоть до времени, когда карандаш выпал из ослабевшей руки, дневник Седова повествует, как ежедневно проходилось то или другое количество километров — все к северу, к северу,— какие заботы волновали ведущего записки, какие встречались затруднения. Есть на страницах заметки по географии пустынных островов, что тянулись по сторонам пути, есть обыкновенные мысли рабочего дня. Но в записках трудно найти что-нибудь похожее на страх перед будущим или необходимость отказаться от своих задач.

Между тем после случая на охоте матросы начали понимать ясно, чем может кончиться поход. Они пробовали сначала намекать Седову, потом стали просить открыто,— нужно вернуться на судно. Разве можно поколебать Седова?

— Улыбнется,— рассказывал Линник,— махнет рукой.— „Нет, оставь это,— скажет,— брось и думать о судне. Я в Теплиц-бай за пять дней поправлюсь". А сам иногда — особенно часто в последние дни — повторял в забытьи: „— Все пропало, все пропало!"

Морозы не сдавали, не прекращались ветры. 28 февраля в дневнике записано: „Навалился густой туман, кругом полыньи, слева — открытое море. Недалеко от земли Карла-Александра нарта провалилась на молодом льду. Ее вытащили довольно легко. Двигаться дальше — невозможно. Решили подождать, пока лед окрепнет; к тому же разразилась буря“. В этом лагере Седов и умер.

Последние переходы Седова жутки даже в рассказе матросов. Дорога по тонкому молодому льду сменялась непроходимыми торосами. Режущий ветер сжег до черна лица. Матросы еле справлялись с тремя нартами. Седов лежал на средней одетым в эскимосский костюм, в спальном мешке, крепко привязанном сверху качающейся нарты. Больной часто впадал в забытье; как неживая, склонялась голова, а тело безвольно следовало движениям нарты и толчкам на торосах. Очнувшись, Седов первым долгом сверял курс с компасом и не выпускал его во все время сознания. Матросы замечали: больной подолгу осматривался, словно стараясь опознать острова, лежащие на пути. Спутникам иногда казалось, что Седова мучила мысль, как бы они самовольно или обманом не повернули, не увезли его на судно, не сменили бы северного курса.

Три последних дня Седов лежал в спальном мешке в палатке. По временам жаловался на нестерпимый холод, — в один из припадков озноба он приказал обложить палатку снегом доверху и держать примус зажженным на обе горелки.

— Только зажжешь примус,— рассказывал Линник,— кидает его в жар.— „Туши примус“. Проходит четверть часа,— так задрожит, что иней с палатки сыплется.— „Зажег примус?..— спрашивает.— Нет, не нужно, надо беречь керосин. Впрочем, *все равно*“.

Так, то ложась рядом в мешок, чтобы согреть вождя, то растирая холодные опухшие ноги, покрытые синими пятнами,— маялись матросы четыре дня и четыре ночи без сна. В последние дни Седов не ел и не пил. В дневнике несколько раз встречалась запись: „Надо бороться с болезнью“. Передавали и матросы, Седов часто говорил: „Я не сдамся, нужно пересилить себя и есть“. Но есть не мог. Пустошный предложил как-то любимых консервов — мясной суп с горохом, взятых для праздников.

— Да, да, консервов!

Пустошный вышел из палатки отыскать нужные жестянки на дне каяка. Ревела буря. Пустошный вдруг ослаб, закружилась голова, хлынула из горла и носа кровь. Бессонные ночи, еда кое-как, тревога сломили и цветущую молодость Пустошного. Бедняга приполз к палатке без консервов. Пришлось пойти Линнику. Когда консервы были, наконец, сварены, Седов не мог проглотить ни ложки супа,— приступ лихорадки и боль в груди отняли сознание.

Матросы не видели ни дня ни ночи. В темной палатке трепыхался синий огонь примуса. Седов метался. Дыхание его все учащалось и становилось затрудненным. Иногда спутники держали больного в полусидячем положении: так легче становилось дышать.

5 марта во втором часу дня Седов стал внезапно задыхаться: „Боже мой, боже мой... Линник, поддержи!..“

И задрожал смертельной дрожью.

Живые долго сидели, как скованные, не смея ни пошевелиться, ни вымолвить слова. Наконец, один пришел в себя, закрыл глаза покойного и покрыл лицо чистым носовым платком. Примус потух. Буря стихла; как-будто, укротив мятежный дух, занесший сюда недвижимое теперь тело, она успокоилась.

Пустошный рассказывал,— охватили отчаяние и ужас. В темноте тесной палатки, пригнетенной сугробом, трудно было двинуться, не задев спального мешка с телом покойника,— смерть не давала забыть о себе ни минуты. Совсем не приходило мыслей о будущем, обо всем, что ждет их самих впереди, что делать с телом, куда идти, как спастись самим. Матросы сознавали одно: вот здесь, на льду, среди земель им неизвестных, они остались одинокими в страшной пустыне, без вождя — как выводок без матери, уставшие и больные, лицом к лицу с враждебной природой, а на руках — мертвое тело, тело, еще недавно воплощавшее волю, которой они привыкли верить слепо, до конца.

Пробудил холод. Надо что-нибудь делать. Посоветовавшись, решили дойти до Теплиц-бай, отыскать склады Абруццкого, запастись керосином,— оставался один баллон менее четырех литров,— и, бросив все лишнее, привезти тело Седова на „Фоку“. 9 марта, оставив лагерь на произвол судьбы, пересекли пролив и, подойдя — как думают — к Земле Рудольфа, пошли вдоль западного берега ее. Шли недолго: встретили открытую воду; море касалось самой береговой стены ледника. Матросы не решились двигаться по ледяному покрову без предметных точек. И по морскому льду они шли крайне медленно из-за неуверенности и постоянных споров о правильном направлении. Выходило — Седова не довезти. Решили похоронить тут же.

На клочке земли, черневшей поблизости, матросы выбрали подходящее место и принялись за последнюю работу для своего вождя. Тело его, завернутое в два брезентовых мешка, поместили в углубление, вырытое киркой; рядом — предназначавшийся для полюса флаг. Сверху наложили высокую груду камней, в нее вставили крестом связанные лыжи. Около могилы осталась кирка.

С обнаженными головами произнесли: „Вечная память!“ Немного постояли. Когда мокрые от пота волосы смерзлись,

надвинули капюшоны и, подняв с могилы по камню для себя и для жены покойного, вернулись к лагерю,— собираться в обратную дорогу.

Где могила Седова?

Линник и Пустошный плохо читали карту с непонятными им английскими надписями. Со слов вернувшихся можно предположить — на мысе Бророк Земли кронпринца Рудольфа, у подножья обрывистого берега, на высоте от моря метров десять, на том месте, где кончается восточная часть ледника и начинается каменистый берег.*

До „Фоки“ матросы добрались с трудом. Шли две недели, споря у каждого острова, какой держать курс. Когда удавалось попасть на старый след, делали большие переходы. Несколько раз терялось всякое представление, куда итти. Уже недалеко от бухты Тихой, попав в пролив Аллена Юнга, заблудились совсем и ушли бы скитаться среди мелких островов в южной части Земли Франца-Иосифа, если бы у острова Кетлица не заметили аркообразного айсберга, памятного тем, что Седов фотографировал эту игру природы. Матросы не ели горячего четыре дня: вышел керосин. На остановках без горячей пищи спальный мешок не грел настывших тел. Часть собак осталась у брошенного лагеря.

---

* Экспедиция на ледоколе „Седов“ искала в 1930 году могилу Седова, но не могла ее обнаружить.

Домой

После известия о смерти Седова было на „Фоке“ большое совещание, по какому руслу направить жизнь экспедиции. Решено, исследовав до лета ближайшие острова, готовиться к возвращению на родину. Все научные работы решили продолжать в полном объеме. К чести нового начальника по научной части В. Ю. Визе, мы действительно сделали все, что могли при тяжелом положении, в каком находилась тогда вся экспедиция. К больным, имевшимся на борту, прибавились Пустошный и Линник, долго страдавшие кашлем и одышкой. Пустошный долго харкал кровью.

Исполняя программу, я отправился 25 марта с Инютиным к мысу Флоры. На мыс Флоры мы пришли вечером 27 марта. Приведя в жилой вид бамбуковую хижину и прикрепив на видном месте записку, я отправился 31 марта на запад, к острову Беллю. Посетил „дом Эйры“, построенный Ли-Смитом сорок лет назад. Дом отыскать не легко: помещен он в лощине низкого берега, снизу виден один флагшток. Постройка прекрасно сохранилась, доски имели еще желтоватый цвет; казалось, дом выстроен два-три года назад. Одно окно без рамы. Внутри пусто. В углу небольшая кучка консервов в жестянках, в другом — остатки угля. На стенах несколько записок — ценные документы. Одна — наскоро написана на заглавном листе какого-то английского романа: обращение Джексона к экипажу нансеновского „Фрама“; на стене против окон в жестяной коробочке собственноручное письмо Ли-Смита о гибели „Эйры“ и о намерении его плыть на Новую Землю на лодках. На стене много надписей карандашом: они сделаны участниками экспедиции „Эйры“ — Джексоном и Уэлманом.

Мы ночевали в этом доме. На другое утро, поместив рядом с запиской Ли-Смита свою — о положении экспедиции, — я покинул дом. С 2 по 5 апреля мы пробыли на мысе Флоры, отыскивая в окрестностях плавник, чиня хижину и пережидая налетевший шторм. У меня была еще задача: по поручению фокинских табакокуров должен был поискать как следует в хижинах, не осталось ли там табачку. Я перерыл весь мусор в постройках, но нашел немного: одну жестянку амери-

канского трубочного табаку, сильно подмоченного. Во время поисков мне попала в руки стопка бумаги — дневник одного из матросов экспедиции Циглер — Фиала, злободневное стихотворение и история той же экспедиции в ряде карикатур. В дневнике я прочитал подробности крушения „Америки" в Теплиц-бай, описание тяжелой зимовки на Земле Рудольфа и переселение к югу в спасительные избушки Джексона. Дневник обрывается внезапно. На койке, где я нашел тетрадь, беспорядочно разбросаны одежда и всякие принадлежности полярного обихода: видно, обитатель койки недолго собирался, когда пришел корабль. Еще верней предположить, что, не взглянув на опостылевшее ложе, он оставил там все, как было.

6 апреля я был на „Фоке". Во время тринадцатидневного путешествия я и Инютин получили полное представление об условиях путешествия в эту суровую пору. В первый же день морозный ветер сжег наши лица. Когда температура опускалась ниже 30°, и поднимался ветер, мы зябли при малейшей остановке,— на ходу мороз нас не страшил; только один раз, при крепком ветре с 32° морозом, мы принуждены были остановиться и спрятаться в спальный мешок: наши руки и ноги стали терять чувствительность. По ночам в такую погоду мы не могли согреться в мешке часа два. Потом, когда мешок оттаивал и наполнялся теплом наших тел, крепко засыпали. Инютин вернулся совершенно здоровым, десны перестали кровоточить, исчез тяжелый запах изо рта. Я приписываю наше хорошее самочувствие исключительно правильному питанию.

На „Фоке" за время нашего отсутствия произошли перемены к лучшему: в постели оставались только Коршунов и Коноплев, остальные больные поправились. Все новости — охотничьи: появились медведи. Рано утром 29 марта один подошел к самому борту. Лебедев, заслышав отчаянный лай Пирата, выбежал на палубу и застал интересную сцену. Привязанный Пират, забыв про цепочку, в охотничьем азарте прыгнул с борта и повис. С другой стороны, привязанные же медвежата на дыбах, в страшном волнении, стонущие, плачущие. А посредине у борта — виновник переполоха тоже на дыбах в очевидной нерешительности, как буриданов осел между двумя стогами сена, раздумывает, за кого ему раньше приняться — за собаку или за родичей?

Лебедев вернулся в кают-компанию за охотниками. Кушаков поспешно выбежал и выпалил в медведя почти в упор. Не понять по рассказам, как это случилось,— Кушаков в медведя не попал, но перепугал несчастного мишку до крайности. Оставляя за собой желтую дорожку, медведь во весь дух понесся в гору. Штурман видел всю сцену, но не мог сразу остановить медведя: закапризничал ружейный затвор, выстрел раздался в то время, как зверь уже успел отбежать шагов на пятьдесят. Раненый в ногу, медведь пошел медленнее. Винтовка штурмана

не дальнобойна, Кушаков же был „в ударе“ и продолжал палить с прежним успехом. Выбежали остальные. Без собак задержать зверя не так-то просто; он быстро скрылся.

В один из следующих дней Визе повстречался с медведем один-на-один. Он был без винтовки, его единственное оружие — малокалиберный револьвер. И вот, вынув оружие, географ принялся махать руками и закричал как мог страшнее. Медведь оглянулся и резвым галопом побежал на Визе. У подножья холмика медведь приостановился взглянуть, с кем дело имеет. Визе прицелился и выстрелил — больше для устрашения.

Визе не опомнился,— медведь оказался шагах в трех: клубы дыхания почти достигали лица. Быстро оставив угрожающую позу и прекратив „свирепый“ крик, Визе принялся выпускать под ряд заряды из револьвера. Медведь с ревом скатился с откоса и, ворча, медленно побрел прочь. Он, очевидно, был ранен. Преследовать медведя, имея один патрон в обойме, Визе не решился.

С конца апреля до половины мая Визе делал подробную съемку острова Гукера и островов к северо-востоку от него. Он нашел много неправильностей в расположении этих островов на карте,— расхождение тем более удивительное, что экспедиция Болдуина — Циглера, описавшая острова, зимовала поблизости; эти острова — окрестности ее зимовки. Визе нашел даже на острове Альджере становище экспедиции. Все три досчатых дома сохранились вполне хорошо. Наш геогра фне мог проник-



Лагерь на Земле Франца-Иосифа во время весенней экскурсии

нуть внутрь построек: они наполнены снегом почти доверху. Во время путешествия Визе убил медведя.

Резко оборвавшиеся холода больше не возвращались. С удивлением мы замечали, что климат ранней весны Земли Франца-Иосифа мягче новоземельского. Ранее началось таяние снегов. По льду проливов Новой Земли мы беззаботно ходили до половины августа,— здесь лед, разъеденный сильными течениями, рано ослабел. Во время моей экскурсии на южный берег острова Гукера совместно с Павловым во второй половине мая мы принуждены были возвратиться раньше срока. В одном месте Де-Брюине-зунда я внезапно провалился в воду и только тогда заметил, что некоторое время шел совсем не по льду, а по толстому слою плотно слежавшегося снега, висевшего над водой. Лед под ним был разъеден без остатка. Предполагалось обойти весь берег Гукера. Мы вышли слишком поздно: лед у юговосточной оконечности был очень слаб и для путешествия на санях непригоден.

Начиналась весна. Вытаивали камни, медленно, очень медленно, но обнажались склоны гор, и в оттаявших местах уже вязла нога. Ветры умерили свое дыхание, между горами и нами повис тонкий пар. Стал часто набегать туман. Когда показывалось солнце, слегка пригревало.

В эту весну мы жили довольно дружно. Общая мечта об освобождении нашего корабля и о возвращении на родину объединила самых разных людей. Кроме того, полтора года тесной совместной жизни сгладили все острые углы отдельных характеров, мы научились уважать друг друга. Даже наш честолюбивый ветеринар Кушаков присмирел. После нескольких столкновений с новым капитаном „Фоки“ Максимычем, при попытках делать указания в морском деле, и с другими участниками, оберегавшими уклад жизни, установленный еще Седовым, он понял, что для сохранения собственного престижа „начальника“ следует передать заботу об экспедиции всему маленькому коллективу.

Мы широко пользовались в это время установленной еще Седовым традицией — в важные минуты принимать коллективные решения. Не думаю, чтобы такой порядок, разбивавший глупые мечты Кушакова о „командовании“, нравился ему. Зато после возвращения на родину Кушаков смело присвоил себе честь привода судна в родную гавань. Мы с изумлением узнали, что Кушаков, ничего в экспедицию, кроме разлада, не вносивший; Кушаков, исполнявший скромные обязанности подручного у кочегара Коршунова, сделавшегося после смерти Зандера главным механиком „Фоки“; Кушаков, лежавший все две недели плавания по Баренцову морю в пароксизмах морской болезни; Кушаков, ни во что не вмешивавшийся, „привел“ корабль и „спас экспедицию“. Из рассказа, опубликованного в посмертном дневнике доктора Аргольда, видно, что Кушаков, высоко рас-

ценивая свои „подвиги“, частенько смешивал действительность со своею черносотенной мечтой. Так, Кушаков рассказывал Арнгольду и другим участникам экспедиции Вилькицкого, как он, обнаружив попытки взбунтовать команду „Фоки“, „вызвал“ в свою каюту „студентов“ Визе и Пинегина и пресек с револьвером в руках крамолу в корне и спас экспедицию. В действительности Визе не имел с Кушаковым никаких столкновений. Мое единственное, после смерти Седова, столкновение с новым начальником заключалось в попытке его взвалить на меня, как на дежурного, ответственность за потерю шлюпки, привязанной на многолетнем припае и унесенной в море штормом вместе с припаем. Надо сказать, что этот приказ Кушакова с выговором был опротестован записью в вахтенном журнале всеми очевидцами. Вызвать в каюту для внушения Кушаков едва ли осмелился бы из-за панической боязни „бунта“.

Мечтать об освобождении „Фоки“ мы начали задолго до возможности. К половине июля мы сделали все, чтобы „Фока“ мог выйти из бухты под парами. Сняли и распилили на дрова утлегарь и высокую стеньгу бизань-мачты. Получилась хорошая поленница дров. Однако ее хватило бы только поднять пары; пришлось выпилить часть фальшборта. Собрали в одно место остатки кубрика, грузовой палубы, кладовых и всякий горючий хлам. На случай, если бы корабль не мог дойти своими силами до мыса Флоры, где можно набрать еще немного топлива, а нам пришлось бы держать дальнейший путь в баркасе,— мы приготовили его к далекому плаванию. Все научные работы экспедиции на тот же случай запаяли в цинковые ящики.

„Фока“ стоял недалеко от большой полыньи, огибавшей остров Гукера. Стали появляться моржи; с половины июля мы видели их постоянно. Говорили: „Хороший признак — открытая вода недалеко!“ Один морж, одержимый любопытством, повадился посещать „Фоку“ ежедневно почти в одни и те же часы. Опираясь клыками на лед, сопя со скрипом и хрипом, он подолгу смотрел на „Фоку“, нырял и опять долго пыхтел и неодобрительно разглядывал работающих с ледяной пилой и кирками матросов.

С половины июля мы прекратили почти все научные работы за исключением метеорологических наблюдений, переведенных в походный порядок. Распределили должности по кораблю. Капитаном, естественно, остался Сахаров; он выбрал помощниками Визе и меня.

После смерти Зандера мы остались без механика; из машинной команды осталось два кочегара — Коршунов и Кузнецов. Кушаков в прошлое лето был практикантом за помощника механика, однако, когда предстояло такое серьезное дело, как сборка машины, — он не мог быть полезным. На положении старшего механика оказался Коршунов, больной, неспособный ходить. Машину предоставили в его распоряжение — судьба экс-

педиции зависела от его умения. Скромный Коршунов оказался хорошим механиком-практиком. Три недели маленький человечек стучал молотком, сверлил, чистил, завинчивал гайки „до места“, поднимал на талях тяжелые части, потом потребовал людей помочь провернуть вал и сказал: „Машина готова. Пока будет топливо, со стороны ее задержки не ждите“.

23 июля „Фока“ качнулся на свободной воде. Канал к полынье пилили больше недели. Работы хватило бы надолго,— помог шторм. Он наделал трещин во льду,—оттолкнуть ломаный лед было не трудно; стало ясно, что минута отплытия близка.

Весь день 27 июля — усиленные разведки. Павлов и Кушаков ездили на остров Скотт Кельти, остальные осматривали лед с вершины острова Гукера. К сожалению, воздух был насыщен парами,— видимость не больше 25 километров. В моем дневнике отмечено: „В северной части Британского канала лед поломан. Между островами Нансена и Гукера широкая полынья; другая от Британского канала тянется в пролив Миерса. О, если так будет дальше, через неделю мы выйдем!“

Через два дня лед разредился. Открылось совещание,— не пора ли двинуться в путь? Решались два вопроса: ехать ли немедленно или подождать несколько дней, чтобы дать время льдам разрядиться. Второй вопрос: итти северным путем вокруг острова Гукера или южным — по каналу Миерса? Решили: плыть северным путем, не теряя времени.

30 июля в десять часов утра подняли якорь. Проходя мимо мыса Зандера, приспустили флаг и отдали траурный салют — последнее прощание с погибшими.

Мы шли вдоль знакомых берегов. Через несколько часов „Фока“ обогнул мыс Маркхэм и недалеко за ним уперся в неломанный лед. Поворотили обратно, чтобы пробиваться каналом Миерса. Недалеко от места зимовки, когда „Фока“ огибал остров Скотт-Кельти, случилось несчастье: „Фока“ сел на мель. В это время я находился в наблюдательной бочке. Не видя прохода среди громадных ледяных полей, я крикнул вниз нашему капитану: „Не пройти ли у берега, — там единственная лазейка?“ Максимыч направил корабль под берег. Мне было видно: глубина резко уменьшилась. Бросили лот, и как раз в то мгновение, когда лотовой крикнул: „Три сажени“, судно влезло на мелкое место у самого берега. „Фока“ сел не крепко. На наше несчастье произошла смена приливных течений. Ледяное поле, в поперечнике больше километра, двинулось на нас,— „Фока“ поехал на берег. Давление длилось недолго, но корабль был выкинут на мель всем днищем. Выглядело так, как будто бы старый „Фока“ пришел к своей последней стоянке!

Бывают в жизни моменты, особенно располагающие к проявлению находчивости. Мы сообразили: не нужно убирать ледяных якорей, занесенных ранее на ледяное поле, с надеждой — подтянувшись к нему, сняться с мели. Поле должно пойти прочь,

когда сменится приливное течение. Постарались облегчить судно, как могли,—в цистернах „Фоки“ было налито вместо балласта около 35 тонн пресной воды, выкачали ее; без сожаления выкинули один якорь тонны в две весом со всей его цепью. В самом деле поздней ночью поле двинулось прочь от берега и стащило корабль на свободную воду.

Спустился туман. Всю ночь мы шли по каналам между крупных ледяных полей. Один такой канал повел „Фоку“ сначала на юг, потом, предательски и незаметно уклоняясь, направил нас на СВ к какому-то берегу. Под вечер 31-го туман слегка рассеялся. Мы разобрали, что вблизи южного берега острова Гукера имеется проход. Немедленно воспользовались им. На следующий день мы подходили к мысу Флоры.

Когда „Фока“ покинул бухту Тихую, кучка топлива, сваленная в пустые угольные ямы, была невелика. У мыса Флоры мы подсчитали: котлы были под парами в течение 40 часов. Нужно оговориться: первоначальная кучка растаяла быстро. А потом, перед открывшимся проходом, нельзя было задумываться,—мы принялись за каюты на правом борту.

Стоит в глазах картина: на командном мостике напряженно глядят,—не закрылся бы канал, не отжало бы „Фоку“. А свободная вода совсем недалеко! В это же самое время в машинном отделении маленький Коршунов со скрюченными ногами прыгает, опираясь руками о помост, от цилиндров к топкам и обратно, кричит в рупор: „Топлива, топлива! Давление падает — только 45 фунтов“, звонит телеграфом и шлет на мостик гонца за гонцом. А в юте треск и крики. Ломают дерево, сдирая обшивку кают, рубят койки, превращают в щепы умывальники, шкафчики, полки. Из соседних кают спешная эвакуация. Лают нервные собаки.

— Морж! Морж на льдине! Ура!

Выстрел. „Фока“ ударяется носом о льдину. Скачет за борт человек, заносит на голову строп — двойная петля,—и на лебедку. Ход вперед! Через десять минут первые куски жира убитого моржа уже под котлом.

Проходит час. Снова вопли из машинного капа: „Топлива, топлива! Давление лишь 40 фунтов. Сейчас машина станет!“ Ломается другая каюта, высматривают нового моржа. От толчка выпал старый фальшбимс, в топку его: хватит часа на полтора. В топку табуреты, туда же растрепавшиеся книги... „Вперед, вперед! Не спускать паров. Снова поднять нечем Топлива, топлива!“

До мыса Флоры три ленивых моржа и два странно-доверчивых тюленя сгорели на жертвеннике наших стремлений к югу.

К полудню, огибая скопление льдов у восточной части острова Нортбрука, „Фока“ стал приближаться к берегу.

Спасение остатков экспедиции Брусилова

Подходя к мысу Флоры, мы заметили на берегу человека. Он что-то делал у камней. Минуту спустя как мы отдали якорь, неизвестный столкнул на воду каяк, ловко сел и поплыл к „Фоке“, широко размахивая веслом.

Каяк подошел к берегу, сидящий в нем заговорил на русском языке. Слабо звучал голос. Первые слова, кажется — приветствие, я не расслышал; затем донеслось:

—... Я штурман парохода „Святая Анна“... Я пришел с 83 градуса северной широты. Со мной один человек, четверо на мысе Гранта. Мы шли по пловучему льду...

Мы спустили с борта штормтрап. Человек поднялся по нему. Он был среднего роста, плотен. Бледное, усталое и слегка одутловатое лицо сильно заросло русой бородой. Одет в изрядно поношенный и выцветший морской китель.

— Альбанов, штурман парохода „Святая Анна“ экспедиции Брусилова,— назвал он себя.— Я прошу у вас помощи,— у меня остались четыре человека на мысе Гранта...

Мы знали об экспедиции Брусилова: она вышла с промысловыми целями в одно время с нами; слышали, что Брусилов намерен пройти морским путем вдоль Сибири во Владивосток. Кто мог предполагать, что, уходя почти в противоположные стороны, мы можем встретиться на дальнем севере с членами этой экспедиции! Как „Анна“ попала на 83 гра́дус?

Состояние льдов осенью 1912 года было неблагоприятно плаваниям не только в Баренцовом море, но и в Карском. „Анна“ была затерта льдом у СЗ части полуострова Ямала под 71°45 с. ш. С осени казалось, что случилась досадная задержка по пути во Владивосток — не более. Вскоре после наступления темноты начались жестокие штормы с южной стороны, отмеченные и нашей станцией. Во время одного,— совершенно незаметно для находящихся на „Анне“,— весь лед Карского моря двинулся на север. Невольные путешественники заметили передвижение корабля и дрейф льдов только по расхождению астрономических определений. Движение „Анны“ продолжалось непрерывно двенадцатый и тринадцатый годы по направлению прямо к полюсу.

Летом 1913 года, когда „Анна" находилась в широтах пролива между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа, движение ненадолго изменилось на западное. Лед кругом был в это время поломан, слаб, виднелось много каналов и полыней, но большое поле, двигавшее „Анну", было очень прочно. Альбанов говорил: „Будь на „Анне" некоторое количество сильновзрывчатых веществ, она пробилась бы к ближайшему каналу и, без сомнения, вышла бы в Баренцово море". На „Анне" динамита не было, мины же черного пороха оказались слишком слабыми. Осенью движение на север возобновилось. На 82° лед, обогнув Землю Франца-Иосифа, круто повернул на запад; 23 апреля 1914 года „Анна" находилась уже на широте 82°55, на долготе 60°4.

Брусилов снарядил свою экспедицию для промыслов в Беринговом море. Провианта взял только на полтора года в расчете, что по пути к Берингову проливу более одного раза зимовать не придется. В первую зимовку почти вся команда и сам Брусилов переболели цынгой. В числе участников экспедиции находилась женщина — сестра милосердия Жданко. Она ухаживала за больными заботливо и самоотверженно. К лету, благодаря ее заботам и усиленному питанию медвежьим мясом, больные поправились (за два года убили 42 медведя). Во вторую зимовку стали ощущаться недостатки: провизия подходила к концу. Давно не было сахару и мало приправ.

В средине второй зимы Альбанов, помощник Брусилова, предложил уйти с половиной команды на Землю Франца-Иосифа:



У мыса Флоры

на „Анне“ знали, что на мысе Флоры есть дом и склад провианта. В таком случае оставшимся хватило бы остатков провизии еще на год. Брусилов разрешил Альбанову покинуть судно со всеми желающими.

Не было ни каяков, ни саней. Под руководством Альбанова сделали девять каяков, несколько саней, паруса и все нужное для путешествия. 23 апреля 1914 года Альбанов и тринадцать матросов вышли, держа курс на Землю Рудольфа. Началось трудное путешествие без собак, без спальных мешков,— их заменяли совики; провизия — сухари, чай, клюквенный экстракт, малое количество сухого бульона. Среди ушедших — ни одного имевшего опыт санных путешествий. Двигались крайне медленно, не более семи-восьми километров в сутки. Первые три дня партия не теряла связи с судном. Три человека решили вернуться на „Анну“. С Альбановым осталось десять человек.

Спасавшиеся думали, что через месяц выйдут на Землю Рудольфа. Проходили многие недели, земли не было видно. Альбанов знал о существовании западного течения в Ледовитом море и принимал необходимые поправки в курсе. Как хороший штурман, он старался возможно чаще проверять направление при помощи астрономических определений. Но было одно обстоятельство, лишавшее вождя уверенности: на „Анне“ было всего два хронометра, не имевших поправки два года. Определяя долготы, полагаться на хронометры, идущие два года без поправки, конечно, не приходится. Альбанов не знал, с какой долготы он отправился, а, не находя земли, совсем потерял веру в правильность своего вычисления.

Прошло два месяца. Одиннадцать человек медленно двигались к югу. За это время один из матросов — Баев, уйдя на разведку, потерялся во время метели. Люди, не видя никакой земли, плелись наугад: несчастные поняли,— они заблудились в ледяных просторах океана.

В конце июня, когда все надежды были уже потеряны, когда сани и все каяки — за исключением двух — были сожжены, и почти не оставалось сухарей, покинувшие „Анну“ увидели на востоке какую-то землю. Вышли на нее обессиленными, без крошки провианта и топлива. На земле убили много гаг. Съедая их иногда сырыми, иногда поджаривая на сухом мху, несчастные немного оправились,— все они были больны цынгой.

Альбанов не знал, к какой земле он привел товарищей. На низком и длинном мысе залитой льдом земли стоял гурий. В верхней части его Альбанов нашел бутылку с запиской Джексона. Только из записки штурман понял, что вышел он на Землю Франца-Иосифа, а низкий мыс —Мэри Хармсворт —западная оконечность Земли.

После пройденного расстояния, казалось, до мыса Флоры рукой подать. Достичь его удалось только двоим. У южного берега, начиная от бухты Грей-бэй, плескалось море, каяков же

оставалось только два. До Грей-бэй шли вместе,— дальше пришлось разделиться. По жребию пять человек сели в каяки, остальные пошли берегом. Было условлено соединяться на выдающихся мысах. На третьей остановке — на мысе Гранта — плывшие в каяках сухопутной партии не нашли. Ждали два дня. Потом было решено плыть к мысу Флоры, чтобы, запасшись там провиантом, вернуться и взять идущих берегом. Во время остановки на острове Белля умер матрос Нильсен. Похоронив его, поплыли к мысу Флоры. Когда каяки были уже посреди пролива, поднялся шторм. На глазах у Альбанова каяк с матросами Луняевым и Шпаковским был унесен в открытое море. Сам Альбанов успел добраться до большого айсберга и на нем переждал бурю. Стихло. Второго каяка не было видно нигде. 22 июля Альбанов с матросом Конрадом приплыли к мысу Флоры. 30 июня Конрад ездил к мысу Гранта на каяке, но не нашел там никого: Максимов,



„Св. Анна", судно экспедиции Брусилова

Регальд, Губанов и Смиренников пропали. Мы подошли к мысу Флоры в разгар приготовлений Альбанова и Конрада к новой зимовке. Живя в отремонтированной мною бамбуковой хижине, они приводили дом Джексона в вид, пригодный для зимовки.

Конрад — плотный парень с простодушной улыбкой и жемчужными зубами. Глядя на его цветущее лицо, можно подумать, что он только-что вернулся с веселого плавания на яхте, а не из скитания по льдам. Первые его слова были: „А у вас табачку не найдется?"

Альбанов сохранил на груди толстый пакет с копиями всех наблюдений над состоянием льда и воздуха за все время плавания „Анны".

На мысе Флоры расцвет полярного лета. Зеленели склоны гор, стаивали остатки снегов; бурно шумя, неслись по откосам водопады. Выше слоя тумана яркое солнце,— скоро оно прогнало туман совсем. С горы тогда открылась радостная нам картина: на юге простор моря неизмерим,— ни льдинки на всем далеком горизонте!

Стремясь к мысу Флоры, мы предполагали разобрать на топливо один амбар. После встречи с остатками экспедиции Брусилова пришлось подумать о большем: мы должны были сделать попытку отыскать потерявшихся людей Альбанова, хотя бы ради нее пришлось сломать и дом: живые люди дороже полярных памятников.

8 августа закончили погрузку бревен. Оставив в бамбуковой хижине склад провианта и ружье с патронами, поздним солнечным вечером мы вышли на поиски людей. Сначала „Фока" обошел острова Белль и Мабель. Тихо подвигаясь вдоль самого берега,— насколько позволяла глубина,— мы часто давали свистки и изредка стреляли из пушек. Ни на берегу, ни в доме Эйры нельзя было заметить следов пребывания человека. Даже расположение досок в заколоченном мною окне дома Эйры оставалось таким же, как при моем уходе. Постояв несколько минут в гавани Эйры, дав еще несколько свистков и выстрелов, мы направились к мысу Гранта. К самому мысу подойти нельзя: у берега стоял припай из невообразимо нагроможденных торосов,— нужно отправлять сухопутную партию. На берегу же, насколько можно рассмотреть в сильные бинокли и подзорную трубу,— одни мертвые камни. Пушечные выстрелы и гудки будили только стада моржей. Очевидно, искать людей на мысе Гранта бесполезно; нужно обойти, тщательно осматривая, все берега,— такие поиски займут не меньше трех дней. Мы не могли стоять так долго под парами. Было решено поиски прекратить.

За горизонтом уже прятались в воду острова. Почти сутки мы не встречали льдов. Приходила мысль: не выдался ли на наше счастье особо редкий год, когда ледяной пояс вокруг

Земли Франца-Иосифа разрывается с южной стороны,— такие случаи наблюдались. Радовались недолго. Под вечер следующего дня температура воды резко понизилась, мы знали, что это значит: появились первые вестники — нежнозеленые айсберги. Ночью вступили во льды, разрозненные и рыхлые. Имея достаточно топлива, пересечь такое пустячное препятствие не стоило труда, прошли бы, не сбавляя хода, но в нашем положении всякий лед — большая помеха.

Ход „Фоки" сильно замедлился. Топливо пришло к концу в исходе вторых суток. В это же самое время лед сильно сгустился; по временам приходилось даже разбивать перемычки. Мы продолжали итти под парусами. Парусные маневры даются во льдах нелегко; один раз, меняя галс, мы врезались в кашу битого льда так основательно, что долго не могли освободиться. Как раз поля, плававшие по сторонам, сомкнулись. „Фока" оказался зажатым,— не выбраться даже при помощи машины.

Только после девяти дней стояния среди ледяных полей „Фока" страшным усилием освободился от их объятий. Мы приближались к границе свободного моря. Во время последней схватки со льдами пришлось поломать все каюты, сожгли их в топках вместе с мебелью и запасными частями такелажа. После этой операции над палубой остались только мостик и наружные стенки в юте. И,— наконец,— открылось пред нами чистое море. Путь к югу свободен!

Наступили веселые дни. Еще неделя-другая — и мы увидим родных и друзей, узнаем, что делалось на свете за два года. Нас встретят, вероятно, с приветом: мы в самом деле сделали все, что могли, ни разу не спасовали перед трудностями. За экспедицией нет позора отступления, она имеет немалые научные заслуги. Мы посмеялись над предсказывавшими нам гибель. И даже смерть вождя в неравной борьбе не запятнала предприятия, но окружила его ореолом трагизма.

Занятые мыслью о доме и близких, мы совсем не обращали в эти дни внимания на „маленькие неприятности". Их было не мало. Спать приходилось на голой палубе, мы перекатывались по ней во время качки, подобно незакрепленному грузу. „Фока" тек, как решето. Его старый корпус был изрядно расшатан. Двухлетние приключения — столкновения со льдами и мелями — не прошли бесследно. Течь увеличилась. Паровые помпы бездействовали; мы должны были ежедневно, не менее семи часов, работать ручными насосами, чтоб сохранить пловучесть нашего заслуженного ветерана. Шли совсем без балласта,— выкинули его, когда внезапный напор льда почти выбросил „Фоку" на берег. Рассуждая трезво, мы не могли не понимать, что при первом же шторме „Фоке" несдобровать.

Но в такую „нелепость" никто не верил. Все настроены были крайне оптимистично.—„Так не бывает",— говорили мы. И, в самом деле, счастье не оставило нас. После двух недель медлен-

ного и однообразного плавания при помощи оставшихся парусов завидели мы на южном горизонте неясную полоску. Это берег родины. Что там?.. Что встретит нас?

Встретила нас война.

Маяки потушены. Первый же пароход, завиденный нами, спрятался под берег и погасил огни, приняв свет синего огня фальшфейера на борту еле плывшего „Фоки“ за свет прожектора с неприятельского крейсера, а гул нашей салютной пушки — за открытие враждебных действий.

На следующий день „Фока“ вошел в маленькую гавань Рынды — небольшого промыслового становища на Мурмане. Его обитатели — простые поморы-рыбаки — окружили нас замечательной сердечностью. Чем вызывалась такая приветливость? Сочувствием ли братьев-моряков трудам экипажа, совершившего замечательное плавание,— стоило взглянуть на борта „Фоки“ превращенные льдами в подобие мочала,— соболезнованием ли нашей растерянности при потоке ужасных вестей и жадности к свежей пище, быть может — состраданием простых и непосредственных людей к пережитым нами бедам,— по палубе „Фоки“ ползали еще на четвереньках три матроса, недавно болевшие цынгой, у них не разгибались ноги в коленях? Мы не пытались разобраться в причинах, но принимали привет и ласку обитателей рыбацкого становища как великое счастье.

День в Рынде был лучшим днем из всех последующих. В один из ближайших, когда четверо из нас, пересев на почтовый пароход, прибыли в Архангельск, испытали мы на первых порах совсем другое отношение. В таможне накинулась на нас банда чиновников. Перерыли багаж, грубо обращаясь с научными инструментами, пытались вскрыть коробки со снятой кинолентой и вторично стали требовать пошлину за эти ленты, инструменты и фотоаппараты. О, эти люди постарались отравить нам радость возвращения! Вместо свидания с родными — хлопоты, споры, переговоры с властями. В этот раз мы в полной мере оценили слова академика Бера, написанные им на Новой Земле:

„В этом преимущество ее пред всеми культурными странами. Это единственная страна, по крайней мере в Европе, где пришлец не встречается как мошенник. Как только я попадаю в цивилизованные страны, так сейчас же меня встречают от имени правительства вопросом, не совершил ли я чего-нибудь воспрещенного, ввозя запрещенное. Мало того, банда эта даже не произносит этого вопроса, а сейчас же поступает соответственно этому вопросу. На Новой Земле всякий пришлец принимался как честный человек“.

Мы вернулись в жалком виде — оборванные, грязные и засаленные. Ни у кого не было денег. Когда в Рынде пришлось платить за первые телеграммы о возвращении, после долгих поисков собрали на всем корабле несколько десятков рублей. Не имеющие родных в Архангельске смело поселились в гости-

нице. Заняли денег на телеграмму Комитету снаряжения экспедиции: „Благополучно вернулись, вышлите деньги на дорогу, одежду и расплатиться в Архангельске".

В ответ получили приблизительно такую депешу: „Денег нет, обойдитесь своими средствами. Напоминаем: ваше жалованье согласно условия за всю экспедицию выплачено полностью в первый же год.* Входя в положение, на второй год Комитет выдал семейным небольшие пособия. Не производите расходов за счет Комитета".

Так встретила нас „культурная страна". Это про нее Седов не раз говорил: „При каждом шаге должны мы помнить, что вся Россия смотрит на наши дела. Она послала нас".

В Петербурге, на второй день после приезда произошла у меня интересная встреча с отставным капитаном 2-го ранга Белавенцем, секретарем Комитета по снаряжению седовской экспедиции. Фактически Белавенец был бесконтрольным распорядителем всех дел Комитета. Накануне я сговорился с ним по телефону: мы должны были побеседовать о том, что делать с материалом, собранным экспедицией. Я явился точно в назначенное время одетым в сюртук, как полагалось в те времена при официальном визите. Дверь открыла хорошенькая горничная. Помогла раздеться —„Подождите здесь".

Прекрасно обставленная передняя. В полуоткрытую дверь видна роскошная гостиная, ковры, вазы, картины. Минут через пять вышел в переднюю налитой жиром, краснолицый, подверженный одышке, но подвижный человек. Он в халате. Не извиняется за одежду. Не зовет в гостиную. Последующий разговор происходил в передней.

— Столько мне с вашей глупой экспедицией неприятностей, представить не можете! Ну, хорошо, что приехали. А то я не знал, как быть с долгами. Наказанье! Со всех сторон грозят. Команде не заплачено. Теперь мы, быть может, расплатимся. Что вы привезли?

Я перечислил результаты наших трудов. Двухлетние метеорологические наблюдения по самой подробной программе, магнитные и астрономические. Карты Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Гляциологические наблюдения. Множество фотографий, шесть тысяч метров киноленты, вахтенные журналы, дневники, рисунки северных сияний, геологические, ботанические и биологические коллекции...

— Ну, это неважно,— перебил меня Белавенец.— В них толку нет. А вы вот что. Завтра же тащите все, что есть у вас: фотографии, киноленты, дневники... пожалуй, и ваши разные там, как их, — наблюдения. Мы их тоже пристроим куда-нибудь, может, за границей что-нибудь за них дадут. И ваши картинки обяза-

---

* Экспедиция была рассчитана на один год.

тельно тащите. Мы выставочку отдельную с рекламой устроим — „Картины северного полюса“. И для вас реклама и нам денежки.

Я остолбенел. Переспросил:

— Все? Что же вы будете делать с нашими материалами?

— Как что? Реализовать. Что же, вы думаете, Алексей Сергеевич Суворин ради ваших прекрасных глаз согласился дать не хватавшие на экспедицию деньги? Он, конечно, попался, доходов от вас больших не получил. Дай бог свое вернуть. Но об чем говорить! Вы подписались под приказом Седова, там ясно сказано, что все результаты составляют собственность экспедиции.

— Да, экспедиции, но не Комитета.

— Как не Комитета! Экспедиция—часть широкого предприятия, организованного Комитетом. Все принадлежит ему. Мы тут много дел затеваем: лекции, выставки, издание альбомов и открыток севера. Сдавайте завтра же все, какие могут быть разговоры?

К моему горлу начал подкатываться комок, закипали гнев и отвращение. Как,—результаты двух лет работы, неописуемую тяжесть которой никто, кроме нас, представить не может, мы должны вручить коммерческому предприятию! И эти работы должны послужить не науке, а только сугубой выгоде миллионера Суворина и этого жирного типа, погревшего уже, повидимому, руки около денег, собранных на экспедицию? Как все просто!

Я сдержался, задал собеседнику еще вопрос:

— Мне непонятно, каким образом Комитет может, как вы выражаетесь, „реализовать“ материалы экспедиции. Они должны сначала подвергнуться обработке; обработать по-настоящему можем только мы, собиравшие этот материал, иначе он утратит свою научную и объективную ценность. Это всякий понимает. На обработку нужны деньги; об этом я и пришел главным образом поговорить с вами.

— Ерунда! Никаких денег мы не дадим. Кому нужна ваша наука? Разные там наблюдения мы передадим,— как они есть,— за границу. Нансен говорил, что там интересуются. Ну, и пусть берут, если интересно! Только не даром. Из всех дневников мы поручим какому-нибудь писаке книжку сделать, да с таким названием, чтоб в нос шибало, вроде „Гибель у полюса“ или „Ужасные приключения в краю смерти“. Вы этого не сумеете. Кино пустим по всему свету, на рекламу не пожалеем. Сенсация! „Первые снимки на полюсе“, „Ужасная трагедия в шести частях“. Публика с ума сойдет. Ну, да что там говорить. Тащите завтра же все. За извозчика я заплачу.

— Вам не придется платить за извозчика,— сказал я, дрожа от негодования.— Не знаю, как товарищи,— я же не склонен отдавать результаты работы в чужие руки. Покойный Георгий Яковлевич рассчитывал, что у Комитета найдется достаточно денег для обработки. Седов обещал полную самостоятельность в обработке трудов каждого члена экспедиции.

Белавенец начал наливаться кровью. Раздраженным тоном он перебил меня:

— Какие глупости! Как мог Седов что-либо обещать! Он так же, как и вы, получал от Комитета жалование. Седов мог распоряжаться в экспедиции, но не здесь. Здесь распоряжаемся мы. Он понимал это. Хотя не хотелось ему отдавать приказа номер один о принадлежности материалов, но мы не выпускали экспедицию, пока не был отдан приказ. Так или иначе — приказ существует. Вы подписались. Это документ. Согласно ему вы обязаны немедленно сдать все, что имеется у вас. Понятно? Итак, завтра в двенадцать вы привезете все. Имейте в виду — все. Все до мелочей. Мы знаем все, что у вас есть.

Белавенец последние слова выкрикивал визгливым начальническим тоном, усвоенным, видно, еще во флоте. Взглянув на мое лицо и прочтя, вероятно, там опасное для себя выражение, Белавенец осекся, быстро повернулся и, бросив: „Честь имею", в один момент исчез за дверью.

В то время как я надевал пальто, из-за двери снова показалась его голова.

— Так не забудьте — завтра. В противном случае мы вытребуем от вас через полицию. Вы будете иметь большие — очень большие неприятности, предупреждаю.

Мы воздержались от сдачи материалов в такой „Комитет". Но обрабатывать труды экспедиции без денег было почти невозможно, пришлось понемногу — своими средствами.

Труды седовской экспедиции вышли в свет только при советской власти.

Часть вторая

Советская научная эскадра

Суда научной советской эскадры медленно движутся по проливу Маточкин шар к Карскому морю. Эти суда — „Мурман“, „Юшар“ и третье — „Купава“ с большой железной баржей за кормой — везут большую гидрографическую экспедицию. На всех пароходах, кроме команды, множество народа: плотники, столяры, маляры, печники и подрывники, кровельщики и радисты, мотористы и научные работники. Экспедиция направляется к восточной части пролива. Там в прошлом 1923 году открыта первая советская научная станция-обсерватория. Ее надо достроить, дооборудовать. Это дело рабочих и инженеров.

Вторая группа — научные работники. Они должны высадиться в разных местах Новой Земли. Несколько партий топографов поведут опись для составления карт важнейших участков, магнитологи будут устанавливать в новой обсерватории новейшие усовершенствованные инструменты и самописцы, биологи займутся выяснением промысловых богатств и изучением живых организмов острова, гидрографы же должны исследовать пролив и прилегающие к нему участки моря для установления безопасности плавания.

Суда вошли в тесное место пролива около полуночи. Августовская ночь совсем светла. Полный штиль. Клочковатый, слегка приподнятый от зеркальной воды сырой и липкий новоземельский туман скрывает высокие горы, видна только подошва их. Обрывистые берега пролива уходят, чудится, в неизмеримую высоту. По временам от серой завесы вверху отрываются клочки и ползут по самой воде. Тогда головной пароход нашей эскадры скрывается совсем. Остается один фантастической формы столб дыма из пароходной трубы, удлиненный отражением в глади пролива. Этот столб идет впереди, как гигантский подвижный маяк.

Ближе к средней части пролива клочья тумана стали редеть. В просветах показались мрачные сизого цвета массивные горы и на них снежные полосы и вершины, белые, как алебастр. Потом, как в театральном действии, потянулся вверх кисейный занавес тумана, и весь пролив открылся для взгляда. Как дик, как прекрасен Маточкин шар!

Вот и конец пролива. В бинокль мы различаем на левом берегу радиомачты — два четких штриха на фоне сизо-фиолетовой горы, увенчанной снегом. Причудливая вершина горы имеет вид огромной белой чайки с широко и свободно раскинутыми крыльями.

Это место было известно мне еще по книгам. Вот старинной формы высокий крест. Он поставлен сто лет назад над телом того самого помора Чиракина, который первый сообщил о существовании этого пролива. Он же видел будто бы на Новой Земле какой-то удивительный камень. Розмыслов после смерти своего спутника Чиракина будто бы множество таких камней „обошел, но ни един, кроме своего дикого цвета, никакой отменности не показал...“ Левее должны быть и избушка, и могила — печальные следы предприятия людей, пославших Розмыслова с Чиракиным „отыскать путь в сибирские реки“.

Эскадра приближается к якорной стоянке против радиомачт. Гудят разноголосо три парохода. Они слегка накренились налево от тяжести людей, собравшихся на одном борту. На берегу мечутся у приплеска собаки и люди. Слабым треском доносится ружейная пальба. Из устья ручья, выбегая навстречу судам, фукает дымом маленький моторный катерок.

Вот они — зимовщики первой советской полярной станции: один за другим резво взбегают по трапу на палубу и останавливаются нето в смущении — слишком много новых лиц,— нето в нерешительности, с кем начинать разговор. Но через десять минут, окруженные группами сотрудников экспедиции, беседуют с нами, словно старые знакомые. Все — крепкие ребята, лица у всех заросли бородами. Отпустить бороду считается делом чести для каждого зимовщика на полярных радиостанциях.

Можно ли было думать, когда впервые вступал я на Новую Землю, что через четырнадцать лет суждено будет увидеть столь разительную перемену в ее культуре? Перед глазами совершенно иная действительность; иные, городского типа солидные дома, над ними высятся радиомачты, иные и люди: и те же ненцы уже не те. Нет тех забитых первобытных „самоедов“, встреченных нами тогда в опекаемом царскими чиновниками становище; нет тех „темных мужиков“, сманенных сюда обманом; нет и одиночек — вроде меня. Кругом — деловые, культурные, жизнерадостные лица.

Вместо тюленьей лампы Розмыслова теперь здесь электричество и невдалеке от развалин жалкой хижины — просторная усадьба. Здесь мужчины и женщины ведут спокойную научную работу при помощи сложнейших инструментов, читают книги, журналы, играют на пианино, слушают московские концерты. И... даже справляют изредка веселые свадьбы,— я только что познакомился со здешними молодоженами. Даже сама смерть,— она посетила остров и в эту зиму,— не носит здесь, как раньше, характера трагедии.

На всем здесь лежит печать прочно укрепившегося быта. Правда, оригинальный характер носила свадьба. Она была оформлена по телеграфу. Два наблюдателя метеоролога разного пола, задумав скрепить товарищеские отношения более прочными узами, обратились в Архангельский исполком с просьбой зарегистрировать их брак в загсе. Сообщение о регистрации было получено по радиотелеграфу очень быстро. „Свадьба по радио" оказалась делом легким и простым. Передавали по секрету, что один из молодых, после крупной размолвки, сгоряча пытался по радио же получить развод. Однако загс в этом случае оказался весьма тугоухим: ничего не ответил и на повторный запрос.

Новая станция с первого же года сделалась столицей Новой Земли. Приезжали из самых отдаленных становищ, чтобы взглянуть своими глазами, как удобно может жить человек и на севере. Приезжали учиться, спросить совета, за помощью к врачу или просто погостить. Один из промышленников Крестовой губы, прожив на станции несколько дней, направился в Малые Кармакулы и дальше по западному берегу до губы Белушьей. На обратном пути этот не стесняющийся расстоянием человек снова заехал на станцию, единственно затем, чтобы услышать новости с Большой Земли по радиотелефону.

Отвечая на визит зимовщиков, мы в первый же день посетили обсерваторию и радиостанцию. На берегу с доброжелательным любопытством приветствовали нас кудлатые собаки. Поближе к дому, блаженно грелся на солнце белый медвежонок.

Главный дом станции построен по коридорной системе, этим он похож на гостиницу. По обеим сторонам коридора — двери в комнаты сотрудников, в научные кабинеты, в кухню и в кладовые. Одна из дверей вела в столовую, ее называют здесь по-морскому „кают-компанией". Это большая комната с бревенчатыми стенами, в одном углу несколько кресел и диван, рядом столик с прошлогодними журналами, на стене полки с библиотекой, есть пианино и граммофон. Отдельные комнаты сотрудников и служащих обставлены с удобствами. В каждой пружинная кровать, удобный письменный стол, шкафы для книг и инструментов. Все комнаты высокие, в каждой — большое окно, хорошая печь; полы покрыты линолеумом. Одна из комнат — женщины-метеоролога — особенно понравилась нам явным стремлением создать уютную, красивую и удобную обстановку.

Зимовщики встретили нас одетыми в новенькие костюмы, некоторые в белых воротничках. Но в тот же день, когда закончился обмен визитами, и снова начались будни, облик этих людей внезапно переменился. С этих пор мы видели их всегда в потрепанной матросской „робе". Они таскали на спинах от берега к вагонам железной дороги системы Дековилля ящики, кули и свертки, мешки с углем, катали бочки. Черные от угольной пыли, эти люди совсем не напоминали бородатых джентльменов, любезно принимавших визит посетителей с судов советской экспедиции.

Над Новой Землей

Во время прежних скитаний по Новой Земле и по островам Земли Франца-Иосифа, когда приходилось передвигаться при полном напряжении сил за целый день только на десяток или два километров, нередко, помню, завидовал я птицам, свободно и без усилий летевшим надо мной: они покрывали такие расстояния за несколько минут. Тогда мысль от изнуряющих препятствий пути переходила с естественной последовательностью к другой — о возможности не затрачивать большую часть энергии на преодоление всех трудностей путешествия по торосистым льдам, по сугробам, через ледниковые трещины или среди каменистых россыпей, а обращать эту энергию на разведку, съемку или иные исследования. Разве нет возможности использовать здесь высшие достижения техники — механические сани, аэроплан и дирижабли?

Отвечал себе: конечно, возможно. Такие средства передвижения дадут на севере чрезвычайный эффект. Но... кто даст деньги на эти дорогие машины? Такими машинами располагают единичные богатые люди или правительства, которые видят в воздушных средствах передвижения единственное назначение: быть могучим орудием войны.

Можно вообразить мою радость, когда пришло известие, что нашей гидрографической экспедиции советское правительство предоставило самолет для испытания его в качестве разведчика состояния льдов.

Вот случай испытать самолет и для исследовательских целей!

Самолет, предоставленный гидрографической экспедиции 1924 года на Новую Землю, был старой, порядочно поношенной, но исправной цельнометаллической машиной Юнкерса. Это был двуместный гидроаэроплан. Радиус действия его — около трехсот километров.

С командиром этой машины летчиком Б. Г. Чухновским я познакомился перед самым отплытием экспедиции из Архангельска. Он произвел на меня очень хорошее впечатление: скромный, не хвастливый и осторожный в словах и действиях человек, совсем не напоминающий хорошо знакомого мне типа летчика времен империалистской войны — развязного хвастуна и лю-

бителя приврать. Этот молодой летчик горел охотой начать пионерские полеты на севере. Но он не скрывал опасений перед их риском и техническими трудностями полетов в пустынной местности. Что делать, если мотор испортится в трехстах километрах от базы? Что делать, если накроет внезапно туман?

После нескольких бесед мой новый знакомый начал воспринимать убеждение, без которого работу на севере начинать невозможно. Это — необходимость для полярника быть уверенным в себе, в своем оружии и в том, что из всякого положения есть несколько выходов, если во-время подумать о возможных случайностях. И мы, обсуждая будущие полеты, перешли сразу к предвидению всех их.

Базой для гидроаэроплана выбрали небольшую площадку на берегу Маточкина шара, поблизости станции. Здесь на приплеске был мягкий грунт из размельченного шифера. Никакого ангара не было. Самолет стоял на открытом воздухе. Пропеллер, мотор и кабина закрывались чехлом. Чтоб ветер не сорвал машину с берега, первым делом ввинтили в землю гигантские, диаметром сантиметров по сорок штопоры, к ним привязали остов самолета и принялись за дальнейшую сборку.

„Как странно, — отметил я в день выгрузки аэроплана, — видеть этот символ мощи человеческого гения здесь в стране, страшной своей первобытностью и неограниченным господством сил природы. Первобытного человека с его первобытными же орудиями сменяют новые люди и новые орудия. У нас на глазах происходит эта смена. Не поэтому ли все мы находимся в приподнятом состоянии? У самолета все время люди: зимовщики, матросы, плотники из глухой архангельской деревни, еще не видавшие вблизи аэропланов, и ненцы, заехавшие на станцию. Люди, наблюдая за сборкой, пристают к бортмеханику с расспросами, спорят, дивятся мощи машины".

Старика-ненца Семена Вылку нелегко удивить: Новая Земля, в сравнении с Большеземельской тундрой, — как столица перед деревней. Каждый год, а в последние годы и по несколько раз, с Большой Земли приходит пароход. Почти всегда он привозит множество всякого добра, хорошую еду и разные диковинные предметы из тех, что водятся на этой никогда не виданной земле. Семен смотрит на все диковины без особенного удивления, он воспринимает их с такой же простотой, как существование непонятных, но реальных изменений в природе. В последние годы он познакомился с моторной лодкой, радио, коровой и козлом, которые на первых порах показались страшнее медведя. Семен умеет заводить граммофон и часы, хорошо обращается с магазинной винтовкой, но в сущность устройства этих машин его еще никто не посвятил. Сам он не пытается даже думать: это столь же непонятно, как бормотания монаха в кармакульской часовне.

Все же, когда в разговоре с Семеном упомянул я, что привезли мы на Новую Землю аэроплан и в это лето будем летать

по воздуху, нечто вроде удивления появилось на скуластом лице моего собеседника. Он, конечно, не раз слыхал, что люди на Большой Земле научились летать по воздуху, видел даже такую картинку. Но одно дело — рассказы, другое — действительность. Семен и сам умеет прихвастнуть или выдать незнакомому человеку приключение, случившееся с дедом, за свое. Между нами произошел приблизительно такой разговор:

— Собираемся над Карской стороной летать.

— Летать?.. (недоверчиво) Ну?

— Аэроплан у нас хороший, верст полтораста в час летит.

— Полтораста? Шибко скоро. Птице так не улететь.

Через неделю наблюдал я за Семеном, когда наш пилот, сев в кабинку аэроплана перед первым пробным полетом, пустил в ход пропеллер. Тишину пустынного пролива внезапно заполнил ревущий мощный звук. Он повышался в тоне, частоте и силе. При первых перебойных выхлопах Семен отскочил на несколько шагов, почему-то присел и так, согнувшись, смотрел горящими глазами. Тяжелый самолет в это время сползал с дощатого помоста, потом резво побежал по воде и взмыл кверху.

Семен стоял теперь в полный рост. Меховой капюшон на его голове был откинут. Глаза блестели, и душа Семена, видно, летела туда, за мыс Выходной, над которым проходил теперь самолет. Старик не сошел с места, не переменил позы до того самого времени, когда, спустившись красивой спиралью, летчик стал подходить к берегу на малом газе. Только тогда Вылка вместе со всеми бросился к машине. Он тоже помогал тащить самолет на помост, что-то кричал на своем языке. Потом, когда остановился пропеллер, и пилот, сидя еще в кабине, вступил в разговор с обступившими машину людьми, к группе подошел и Семен. Он был в сильном возбуждении. Было видно, что силился сказать что-то значительное, но выговорил только простые слова:

— Хорошо, брат, летаешь! Пошто только крыльями не машешь?

С этого дня Семен старался быть при начале и конце полета, но лететь не соглашался:— „Боюсь, беда как боюсь!“ С большой неохотой видно уезжал он на промысел, но делать нечего: работать надо. Когда возвратился с промысла, не переставал расспрашивать, почему работает машина, где можно научиться управлять моторной шлюпкой, и делился со мной горячей мечтой поставить на свой карбас керосиновый мотор.

После пробного полета аэроплан летал несколько раз с разными наблюдателями на разведку состояния льдов. Сведения об их расположении немедленно передавались по радио в Карскую экспедицию, и по настойчивым запросам ее становилось ясным, как ценны и нужны эти сведения.

В конце августа я с Чухновским отправились в первый дальний полет для географической разведки и выяснения



Б. Г. Чухновский и Н. В. Пинегин у самолета на Новой Земле

состояния льдов в южной части Карского моря. Это было 25 августа. Ясный день, с температурой около 2° Ц. С утра была пасмурная погода, но к вечеру прояснило, — можно лететь. К полету все готово. Около пяти часов вечера моторист с особенной внимательностью проверил все детали мотора, поставил новые свечи, еще раз проверил и запустил его для прогревания. Погрузили небольшой запас продовольствия, оружие и аппараты, заняли места. В кабинках пилота и наблюдателя тесно.

Пропеллер с ревом режет воздух и шлет в лицо холодную струю. При нарастающем реве мы сползаем по доскам в воду и весело скользим по воде, разворачиваясь против ветра. Все сильнее пенится зеленая полоса позади самолета. Внизу бешеный бег темноголубой воды. Толчок, еще один слабый, — бег воды замедляется, она светлеет, проваливается. Мы — в воздухе.

Забираем по спирали высоту. С каждым поворотом за прибрежными холмами открываются новые, а за холмами — скалистые горы, и, наконец, показывается заснеженный центральный горный хребет Новой Земли. Прибрежные холмы кажутся теперь слабоволнистой равниной. Все шире и шире раскрывается панорама фиолетового испещренного снегами амфитеатра гор. Под нами множество озер, мелких речек и ручейков. Как меняется с высоты представление о земле! На картах нет и намека ни на эту богатую систему орошения, ни на действительный характер рельефа. Земля тянет нас к мелочности, закрывая мелкими неровностями важнейшее. Здесь же все второстепенное отступает, и строение земли ясно до очевидности.

Поднявшись на тысячу метров, мы пошли вдоль берега к югу. С первых же минут полета охватило чувство досады, что нет возможности запечатлеть живую карту земли, которая плыла под нами, как развертываемый свиток. Я не имел даже специального фотоаппарата для съемки с воздуха. Бывшая у нас автоматическая камера Поте не могла быть использована: пленка для нее (довоенного изготовления) оказалась потерявшей чувствительность. Поэтому пришлось ограничиться отдельными снимками обыкновенным фотоаппаратом. У меня была простая английская камера с видоискателем и мехами. Для съемки приходилось высовываться из люка-турели. Подвергая верхнюю часть тела страшному напору воздуха, я должен был изо всех сил упираться спиной и коленями в стенки кабины. Снимать в таком положении было нелегко. Поток воздуха стремился сорвать выдающийся предмет, камера также рвалась из рук, как живая, и становилась чрезвычайно тяжелой. Каждая съемка была целым сражением.

Пока я оканчивал первые схватки с встречным потоком воздуха, мчащимся мимо со скоростью около 50 метров в секунду, самолет миновал уже Маточкин шар. Начинались места, не виданные ни одним топографом. Мы летели над берегом, узкую полосу которого видел и описал только один Пахтусов.

Ровно сто лет назад, в 1824 году, он на небольшом суденышке, теснимом льдами, прошел вдоль этого берега и положил его на карту. Карта, которой пользовался я при полете,— плод его добросовестной работы. Но как эта карта не похожа на действительность! Вот островок, которого на карте нет; низменный, он с моря должен сливаться с фоном берега. Вот за узким проливчиком, который был принят Пахтусовым, вероятно, за устье реки, скрыта большая часть обширного залива. Указанный на карте длинный мыс оказывается сошедшимися клином полосами щебня, они отгородили от моря обширную лачуну. Вот ясно видна опасная подводная коса посредине входа в залив — настоящая ловушка для мореплавателей. Здесь не отмечена бухточка, очень удобная для стоянки судов. Всюду множество не нанесенных на карту ручьев, речек и лагун.

Торопливым почерком, крепко сжимая карандаш, который под напором страшного потока воздуха стремится вырваться из рук, я спешно записываю наблюдения, делаю зарисовки важнейших неправильностей в очертаниях берега, отмечая подводные опасности, которые сверху видны так же хорошо, как камешки на дне прозрачного ручья. Время бежит с изумительной быстротой. В северной части залива Шуберта открыли мы большой полуостров, две обширных лагуны и большую речку за этим полуостровом.

Пытаюсь зарисовывать все это, но ветер уносит карандаш. В первый полет потерял я несколько карандашей. Если держать карандаш с обыкновенной силой, как привык с детства, ветер вырывает карандаш в мгновение ока. Впоследствии я прикреплял карандаши на бечевку. Пока достаю новый, полуостров отдаляется. Досада! Впрочем зарисовать всего нет возможности. Только автоматический аппарат с несколькими объективами может точно зафиксировать виденное.

Через час, когда мы подлетали к острову Мехренгина, половина горючего была израсходована. Надо поворачивать домой. Впереди еще разведка льдов. Они оказались недалеко, километрах в двадцати пяти от берега.

Когда мы снова направились к берегу, низкое солнце уже закрывалось тучами, собравшимися над новоземельским хребтом. Самолет еще купался в солнечных лучах, но географическая раскрашенная карта внизу покрылась густой сизой дымкой. Мы шли попрежнему на высоте около тысячи метров. При солнечном освещении высота казалась меньшей. Теперь же, когда вся земля погружалась в тень, ощущение страшной бездны внизу стало сильнее. Но все неровности земной поверхности и особенно подводные рельефы приобрели почему-то удивительную отчетливость. На половине обратного пути я был обезоружен, ветер вырвал последний карандаш. Обозревая прекрасную панораму земли, все сильнее заливаемой голубизной, я наблюдал ужасную тревогу в стае гусей, когда мы нагнали ее: ровный

строй был в мгновение разбит. Гуси рассыпались, как горсть листьев, брошенных на ветер.

Следя, как гуси пытались собраться снова в стаю, я заметил новое удивительное явление: за хвостовой частью самолета загорелась яркими цветами совершенно круглая радуга с ясным изображением нашего аэроплана в центре ее. Как раз в эту минуту мы прорезали тонкое, почти незаметное для глаза маленькое облако. Вероятно в парах его создалась эта радуга. Тронув за плечо пилота, я крикнул ему изо всех сил:— „Смотрите назад". Он обернулся со светлой улыбкой и, радостно закивав головой, сделал широкий жест: какой простор, какая красота! Потом узнал я, что странного явления он не заметил, приняв мой крик за восклицание восторга перед картиной заката на Новой Земле.

Во время первого полета, несмотря на множество неправильностей в очертаниях берега, я отмечал в уме изумительную добросовестность и наблюдательность Пахтусова. Делая заметку о подводной возвышенности, опасной для судов, далеко простиравшейся, от мыса Галла, я вспомнил про заметку Пахтусова в его журнале: как раз в этом месте он видел стоявшие недвижимо льдины-стамухи. Он отметил, что море тут неглубоко.

Мысли о Пахтусове не покидали меня во время полета. Мог ли думать этот герой, когда пробирался с величайшим трудом вдоль неизвестного сурового берега, о том, что тот самый путь, на преодоление которого ценой упорства, тяжелых трудов и потери богатырского здоровья понадобились недели и месяцы, через одно столетие будет совершен меньше чем за два часа? Мог ли Пахтусов предполагать, что первый человек, который сравнит с действительностью и оценит его работу, сделает это с высоты, перед которой высота птичьего полета — ничто?

Мы подлетели к Маточкину шару в сумерках. Долгая спираль планирующего спуска, боль и звон в ушах после продолжительного полета на высоте,— он окончен. После первого большого полета мы не раз поднимались в воздух то для разведки льдов, то для плановой фотосъемки прибрежных участков или для отыскания подводных опасностей при входе в пролив.

Дней, пригодных для полета, на Новой Земле очень мало. Особенно мешали — самый страшный враг летчика — туман и низкая облачность, скрывавшая все берега. Иногда поднимался порывистый ветер со снежными шквалами или дождем. До 25 августа не было ни одного вполне ясного дня. Накануне этого дня со стороны Карского моря вошли в Маточкин шар льды. Они, быстро заполнив пролив, окружили наши пароходы. Пришлось отступить в среднюю часть пролива. Приход льдов заставил сделать полет для разведки: откуда они явились так внезапно, и велика ли их площадь.

Улетели этот раз недалеко. Едва мы успели поровняться с самым узким местом пролива, наша алюминиевая птица по-

пала в толчею воздушных течений. Ветер вырывался из каждого разлога между крутыми горами. Кроме того, мы, вероятно, пересекали слои воздуха различной плотности. Самолет то взмывал неожиданно вверх, как подброшенный, то скользил на крыло, то кренился, то проваливался метров на сто самым неприятнейшим образом в воздушную яму.

До этого полета я не привязывался ремнями, чтоб не лишать себя свободы для фотосъемок и для возможности выглянуть за борт. В этот полет мне пришлось сделать исключение. В один момент самолет, сначала взмыв кверху, внезапно провалился с такой быстротой, что сиденье вырвалось из-под меня. Показалось мне на секунду, что я действительно нахожусь „в воздухе“. Инстинктивно схватившись за что-то попавшееся под руку,— это был ключ радиопередатчика, я удержался в турели. По правде сказать, испугался. Еще не отпустив ключа, стал другой рукой ощупывать сиденье,— где держатели-ремни, и, найдя, начал застегивать их на груди и плечах с большой поспешностью. Ужасная качка не прекращалась все время, пока мы летели над узкой частью пролива. Выйдя в более широкое место, мы встретили новое препятствие,— перед нами стояла стена густого снежного шквала.

В этот короткий полет мы обнаружили замечательную разность погоды на восточном и западном берегах Новой Земли. Вернувшись к одному из пароходов экспедиции, стоявшему в середине пролива, мы сделали посадку при совершенно безоблачном небе; дул очень слабый ветерок. И в то же время в 20 километрах от этого места мы только что прошли по краю вьюги.

Кроме нескольких непродолжительных полетов поблизости Маточкина шара, мы совершили еще один большой полет над западным берегом Новой Земли к северу от этого пролива. Долетели почти до Крестовой губы. Этот участок берега считался одним из наиболее исследованных участков. Здесь побывало много экспедиций. Каково было наше удивление, когда, поднявшись на тысячу метров, мы обнаружили самые грубые ошибки в очертании берега на карте. Так, берега острова Митюшова (на карте он походил на овальную лепешку) оказались сильно изрезанными. Очертания острова напоминали не лепешку, а бабочку с раскинутыми крыльями, к тому же остров лежал совсем не на том месте, где он отмечен на карте. Из всего осмотренного берега только один участок — залив Митюшиха — изображен был на карте правильно, даже в мелких подробностях.

В этот полет также отмечена была разность погоды в соседних участках. Вылетели мы от мыса Лагерного при довольно пасмурной погоде, но, пройдя километров шестьдесят, оказались под совершенно безоблачным небом. Сзади мгла. Там вся земля затянута густыми тучами и туманом, от этой мрачности мы неслись к блистающему северу. Километрах в ста от Маточкина шара земля начала белеть, от снега свободны были только при-

брежные участки. Дальше же к северу, начиная от губы Крестовой, вся земля была закрыта плотным покровом снега.

Видимость отдаленных предметов в этот раз была изумительной даже для севера. Солнечные лучи выхватывали из лазури на горизонте розоватые гребни гор у полуострова Адмиралтейства. Эти горы стояли от нас в конечной точке полета не менее как в 130 километрах. Они рисовались на фоне темного неба совершенно отчетливо, словно изваянные из белого мрамора. В этот полет, думаю, удалось наблюдать редкий случай совпадения видимости практической с теоретической, иначе говоря — глаз видел все отдаленные предметы, насколько позволяла шарообразность земли. За это говорила изумительная резкость черты горизонта на западе, где он отграничивался морем

Почему-то жутко было глядеть на безбрежную глубокопокойную поверхность океана, подернутую мелкой рябью, едва заметной с высоты. В этой бесконечности голубой равнины было такое же величие, как в небе.

Но любоваться прекрасной картиной не было времени. От Сухого носа до Мелкой губы — места опасные для корабля Нельзя было упустить случая отметить их на карте. Я не выпускал карандаша из рук, зарисовывая расположение подводных рифов и каменистых гряд; в некоторых местах они отстояли от берега мили на две или на три. В этот раз мы особенно досадовали на отсутствие специальной фотокамеры, с помощью которой можно было бы получить подробную карту подводного участка у этого опасного берега. Имея в руках только карандаш и обыкновенный фотоаппарат, я чувствовал себя в положении провинциала, пришедшего в универсальный магазин с полной мошной за пять минут до закрытия магазина. Приходилось ограничивать себя зарисовкой самых крупных неправильностей берега и наиболее удаленных от него подводных камней и банок.

Не долетев немного до входа в Крестовую губу, мы легли на обратный курс. Первые минуты шли вдоль прямого берега, правильно положенного на карту. Я сидел без дела. Самолет шел покойно, без бросков, мотор работал мягко, равномерно гоня в лицо мощную струю холодноватого воздуха. Сжимая веки от ветра, я смотрел в сторону земли. Кругом — белый простор. Хотя мотор ревел с обычной силой, казалось, что кругом тишина. В эту минуту повернулся ко мне пилот. Я увидел на лице его улыбку. Впоследствии я спросил его, что она означала.

— Быть может, — заметил я — на моем лице прочли вы телячий восторг пред красотой давно привычных вам картин?

— Нет, я подумал о странностях человеческих ощущений, — сказал мне летчик. — Я просто чувствовал себя в ту минуту чудесно. Мне показалось, что прочел я и на вашем лице выражение счастливого покоя. И улыбнулся мысли: человек, несясь над землей в урагане, может ощущать покой.

Экспедиция на Новосибирские острова

В 1925 году правительство молодой Якутской советской республики обратилось в Академию Наук СССР с просьбой организовать исследование этой страны с целью выявления ее богатств для рационального использования их.

Площадь Якутской республики превышает все западно-европейские государства. Якутия изобилует неисчерпаемыми богатствами: золотом, рыбой, пушниной; ее бескрайные леса прерываются только реками. В южных частях Якутии взращиваются арбузы, а северные — покрыты вечными льдами. В большей части ее окраин еще не бывало ноги исследователя.

При составлении Академией плана исследования этой страны естественно зародилась мысль послать экспедицию и на крайний север Якутии — Новосибирские острова.

Первоначально предполагалось исследовать эти острова только схематически, во время объезда их по санному пути. Но в дальнейшем, когда планировалась сеть метеорологических станций в Якутии, все специалисты высказались за необходимость постройки станции на крайнем севере ее. Без станции в полярном районе Якутии немыслимо было изучение климата всей страны. И еще одна проблема требовала полярной станции — это проблема судоходства по участкам Ледовитого океана, известным под названием морей Лаптева и Восточносибирского.

В те времена еще не ставилось вопроса об освоении Северного морского пути на всем протяжении. Но энергичные попытки освоения Северного морского пути на западном участке дали уже блестящие результаты. Эти успехи толкнули мысль ученых-полярников на расширение исследований других участков Северного морского пути, в частности, в морях Лаптева и Восточносибирском, через которые лежит путь с востока к устью реки Лены.

Якутское правительство, особенно заинтересованное в разрешении проблемы судоходства по этим морям, предложило Академии использовать для научных работ в море Лаптевых шхуну „Полярная звезда", которая прибыла в устье Лены в 1926 году из Колымы. Академия приняла это предложение и снарядила особый гидрологический отряд. Тогда же было ре-

шено воспользоваться этим рейсом, чтоб выяснить условия для постройки метеорологической станции на острове Большом Ляховском.

О решении построить станцию на Новосибирских островах сказал мне в начале 1927 года В. Ю. Визе.

— Хотел бы ты поехать организовать эту станцию? — спросил он.— Места интересные, но задача трудная.

Я согласился без особых размышлений. В этом же году я отправился с гидрологическим отрядом на разведку. Пришлось проехать около 24 тысяч километров. Лишь небольшая часть этого пути пролегала за полярным кругом, остальное расстояние — по бесконечным пространствам Сибири и Якутии.

Сто семь лет до меня на Новосибирские острова ездил лейтенант Анжу. В те времена не было и разговора о железных дорогах и пароходах. От самого Санкт-Петербурга надо было ехать на перекладных лошадях, через всю Сибирь, сначала в Иркутск, потом до легендарного тогда Якутска. В Якутске путешественнику предоставлялся на выбор один из трех путей, одинаково тяжелых: первый — отправиться сплавом до устья Лены и там дожидаться конца темного времени года, чтоб проехать на острова по замерзшему морю; второй — ждать в Якутске зимней дороги и ехать через Устьянский острог; третий — сухопутный — на вьючных лошадях до верховажья реки Яны, со сплавом по ней до низовья, чтоб через тот же устьянский острог будущей весной выехать на острова.

Мне — в двадцатом веке — удалось совершить такое путешествие в два конца за семь полных месяцев.*

Академия Наук назначила меня начальником экспедиции для стационарного исследования Новосибирских островов. Я горячо взялся за это трудное дело. Главная задача его состояла в постройке на острове Большом Ляховском полярной станции; нужно было также и обслуживать ее в первый год существования.

Казалось бы, проще всего было зафрахтовать во Владивостоке пароход и отправить его со всем грузом, необходимым для новой станции. Так строились все советские полярные станции. На большом пароходе или ледоколе доставлялись к месту грузы и быстро выбрасывались на берег силами многочисленной команды. Артель плотников в одну-две недели собирала выстроенный заранее дом. В это же время устанавливались машины, радиомачты. По окончании постройки пароход уходил, а на новой станции оставался ее постоянный персонал.

К сожалению, Академия в те времена не располагала средствами для такого метода. При постройке этой — второй советской станции в арктике — пришлось устраиваться иначе. Мы собирались доставить грузы через Сибирь и только от устья

---

* Теперь путь до Новосибирских островов по Северному морскому пути совершают в месяц, а по воздуху — в течение одной-двух недель.

Лены могли воспользоваться небольшой шхуной, грузоподъемностью всего в 55 тонн, той же „Полярной звездой". Ее удалось мне довести в 1927 году до Якутска. Персонал станции должен был сам доставить грузы, сам своими руками построить и оборудовать станцию, обслуживать ее в течение года и в то же время исследовать Новосибирские острова.

При таких больших задачах и при скудных средствах, понятно, пришлось очень долго обдумывать ассортимент снаряжения и мельчайшие детали всего предприятия. К июню 1928 года все было готово.

В классическом описании полярной экспедиции Нансена поэтически описывается праздничное отплытие ее от портовой набережной, сплошь запруженной народом. Речи, пестрота флагов и музыка.

В похожей обстановке уходила и седовская экспедиция к полюсу. Но мы ушли на Новосибирские острова совсем незаметно.

Вокзал Октябрьской дороги. До отхода поезда остается 25 минут, а из автомобиля у товарной кассы груда ящиков еще так велика. Начальник экспедиции не отходит от телефона в кассе: в последний момент пришли из-за границы вещи, их срочно принимает один из сотрудников. А он, как и все, не спал двое суток. Справится ли? Вещи необходимо доставить в вагон к отходу поезда... Остается 12 минут, а здесь в кассе все еще не кончено заполнение накладной. Где-то на автомобиле несется сотрудник. Не забыт ли ящик вверху? Движутся бесстрастные стрелки на циферблате. Взгляд на часы: только 5 минут. Кассир бесконечно ведет счет денег.

— Товарищ, вы зарежете нас!

За три минуты вбегает запыхавшийся сотрудник.

— Поспел! Вещи в вагоне. Все в порядке... Нет, не забыл... Вас ищут на платформе. Провожающие. Говорят, что экспедиция сегодня наверно не успеет отправиться.

— Отстать нельзя. Успеем. Посмотрите у багажного вагона, не оставлены ли в спешке какие-нибудь вещи.

За одну минуту до отхода поезда вбегает второй сотрудник.

— Николай Васильевич, уже второй звонок. Вы не останетесь?

— Идите в вагон. Я сейчас.

Перед самым отходом поезда мимо группы провожающих, не видя их, вихрем проносятся в расстегнутых пальто два человека. Кондукторы уже подносят свистки к губам. Через несколько секунд начальник экспедиции, стоя на подножке вагона и целуя поспешно дочь, замечает людей с цветами, бегущих растерянной кучкой к вагону. Но поезд трогается и развивает ход.

Скорый поезд доставил нас на седьмые сутки в Иркутск, в бывшую столицу Сибири. Совсем недавно тут кончался для едущих на Лену культурный путь. Дальше можно было дви-

гаться на лошадях. В советские годы проложено до Лены (до села Качуга) приличное шоссе. Мы отправили наши грузы на тяжелых автомобилях, сами же быстро проехали 240 километров до Качуга на легковой машине Автопромторга.

В Качуге, впервые после Ленинграда, собрались все участники экспедиции. Все было в порядке. Грузы пришли. Моторный катер в исправности стоял на якоре. С ним было немало хлопот по доставке на Лену сухим путем.

По плану экспедиции предполагалось отправить грузы на барже буксирного парохода. Однако наш скудный бюджет не выдержал, в последние дни мы никак не могли уложиться в рамки отпущенных средств. Поломав голову, я решил уговорить товарищей сплавить наши грузы своими силами до самого Якутска, не прибегая к найму парохода.

Мы купили в Качуге грузовой „карбас"—подобие сруба с днищем, чтобы, загрузив его своим снаряжением и домом, сплавить по течению. Мы шестеро составляли команду карбаса и моторного бота, который, буксируя и направляя карбас, должен был итти во главе каравана.

Верхний участок Лены очень труден для сплава. Лена здесь узка, извилиста и мелководна. Узкая борозда фарватера капризно мечется от берега к берегу. Повсюду перекаты и мели — по-местному „опечки". За последние годы партия по исследованию ленского водного пути обставила этот участок судоходными знаками. Но мы на неуклюжем, трудно управляемом карбасе не отважились плыть без лоцмана, тем более, что наш катер „Меркурий Вагин" по причине узости фарватера не мог быть использован в качестве буксира. Катер, идя во главе каравана, в случае посадки на мель был бы неминуемо смят тяжелым карбасом. Было решено, что карбас пойдет на буксире, только начиная с участка, где могут ходить пароходы. А до той поры катер пойдет отдельно. Мы надеялись, что сумеем провести катер сами без лоцмана, руководствуясь знаками и промером.

В Качуге приходило наниматься много „лоцманов", все самоучки, как и все здешние лоцманы. Специальность лоцмана здесь не высока. Поплавает человек года два с карбасами и лодками, а затем становится за руль. В конце концов мы выбрали для сплава карбаса одного солидного мужчину: он основательнее всех рассказывал про „опечки", про какие-то „слизы воды" и „коренные струи". Надежным он показался по той причине, что несколько лет плавал с изыскательской партией. Лоцманы Госпароходства, такие же самоучки, просили совсем несуразные деньги. А с деньгами у нас было туго.

Моторный катер должен был выйти из Качуга в тот же день после полудня, когда будут закончены последние закупки и расчеты. В полдень, когда мы собирались уже отвалить, один из главных агентов Госпароходства, очень скептически относившийся к намерению нашему сплавить карбас своими силами,

не без злорадства сообщил нам новость: карбас стоит на мельничной плотине километрах в двенадцати от Качуга.

— Теперь придется-таки нашего лоцмана брать! Поезжайте скорее выручать, пока вода не сбыла.

Справедливость требует сказать, что этот же агент помог командировать на помощь нам лучшего лоцмана. Помощи не понадобилось. Мы догнали свою неуклюжую посудину только через шесть часов. Она плыла по свободной воде. Однако в Качуге нам не соврали: в самом деле, наш солидный лоцман уверенной рукой направил карбас в мельничную протоку, перегороженную плотиной. Карбас, на мгновение задержавшись, благополучно ее перескочил: вода, к счастью, стояла высоко, через плотину лилась мощная струя. Но лоцман на этом приключении не успокоился. До нашей встречи карбас успел три раза посидеть на мели.

Когда я поднялся на мостик, чтобы спросить лоцмана, как он решился взяться за дело, которого не знает, с лица бедняги уже бесследно исчезли самоуверенность и солидность. Он не рассказывал больше о „коренных струях“ и „слизах воды“. Передо мной стоял без штанов плотный лысый старичок в длинной мокрой рубахе, иззябший и тусклый.

— Не в тую протоку занесло. Лена — она бесшабашная. Ежели не справишь, обязательно в опечек сядешь. Ноне совсем беда. Иной раз до самого Жигалова один-два раза посидишь, а в сей раз много ли прошли, а три раза уже сидели!

Предвидя трудности сплава по Лене, думал я с некоторым смущением, что спутники, столкнувшись вплотную с трудной физической работой, будут не очень довольны ею. На деле же я застал в карбасе дружную компанию голых, но веселых людей. Они, захлебываясь, рассказывали о приключениях карбаса, о полной непригодности лоцмана, о том, как, засев на мель, они заставили почтенного старца вместе со всеми лезть в холодную воду сталкивать карбас при помощи ваг и „оплеух“, и как дивился в деревне народ на питерских, которые лезут в холодную воду без страха. — „Мы бы в жизнь не полезли. Что за охота! Кабы свое добро“.

Убедившись в том, что команда карбаса не растеряется при встрече с новыми мелями и „опечками“, я отправился на моторном боте вперед, чтобы в Жигалове, где строится наш дом, успеть принять его и разобрать к приходу. Но расчет выиграть сутки не оправдался, лоцман на боте оказался столь же удачливым, как и его собрат на карбасе. И этот лоцман столь же уверенно направил наш катер на какой-то „опечек“. Мы налетели на него с полного хода. Винт, зарывшись в гальку, остановил машину. Все лопасти оказались исковерканными, попорчен и мотор. Пришла очередь нашему лоцману с руля пересаживаться на весла, чтобы дойти до Жигалова сплавом. Там можно починить мотор.

Жигалово — богатое село на верхней Лене. Часть грузов из Иркутска идет зимним путем через Жигалово. Поэтому здесь издавна промышляют постройкой лодок и карбасов. В ближайшем будущем до этого села будет продолжено качугское шоссе. Тогда через Жигалово пойдут все срочные грузы.

В семи километрах выше села расположен большой затон для зимовки пароходов. При затоне небольшой лесопильный завод и механические мастерские для ремонта зимующих судов. В этом затоне и строился по чертежам, присланным из Ленинграда, наш будущий дом, вернее — его каркас или основа.

В Жигалове нам пришлось задержаться. Чтобы поместить разобранные части дома, надо было сначала разгрузить карбас и снова загрузить его всем нашим снаряжением и строительным материалом. Здесь же, в мастерских починили и мотор. Только через два дня мы отплыли вниз. От услуг качугских лоцманов, „солидного“ и „рекомендованного“, пришлось отказаться. Строитель нашего дома Минеев нашел нам настоящего, долго ходившего по Лене пароходного лоцмана. Этот оказался настоящим лоцманом, хорошо знающим реку.

От Усть-Кута наш „Меркурий Вагин“ взял карбас на буксир. Его машина всего 7 лошадиных сил. Разумеется, она лишь немногим ускорила движение карбаса, не больше километра в час. Но мотор помог маневрам карбаса, облегчая работу на нем; выклики лоцмана: „На весла!“ — стали редки, лишь при самых быстрых поворотах.

По великой реке Лене

Лена, ниже Качуга неширокая — метров 50—80 — речка, постепенно увеличивается при движении на север. В верхнем течении до Усть-Кута почти за каждым поворотом реки разбросаны между красными обрывистыми берегами деревеньки и небольшие села. Население, заслышав стук мотора, выбегало поглазеть на редкое в этом месте явление — моторное судно. И пароход здесь редко проходит: движение совершается преимущественно сплавом. Мы обгоняли только лодки, неуклюжие карбасы и высокие набитые товарами паузки, с резными флюгерами, с кумачными вывесками, малые и большие. Некоторые из лодок тоже с пристройками — каютами или амбарчиками. Это — рассчитанные на продолжительный сплав пловучие жилища. Здесь обычны также лодки — пловучие кооперативы. Они останавливаются подолгу в каждой деревне, пока несут мужики пушнину, конский волос и другой деревенский товар. У какой-то деревни встретили мы пловучую фотографию. Несколько дальше перегнали труппу бродячих артистов, основавшуюся на такой же лодке, и лодку бродячих циркачей. Владельца ее, гражданина Чернобёревского, глотавшего огонь и державшего мисс Эллу „повисшей в воздухе научными силами гипнотизма“, мы лицезрели потом во время короткой остановки в Киренске, вместе с „леди Элеонорой“, в городском саду.

Крупные сплавные суда, паузки и карбасы, редко плывут до Киренска, чаще до Витима или до Якутска; отслужившие службу карбасы и паузки разбираются. Характерный штрих Якутска и Витима — пробуравленные доски с карбасов на заборах, тротуарах и мелких постройках. Ежегодно с верховьев Лены отплывает множество лодок до ближайших городов и сел. Лодки возвращаются всегда обратно. Мы постоянно встречали одну или несколько таких обратных лодок. Пара лошадей медленно тянет на буксире лодку с дремлющим рулевым. Девка, или парнишка, верхом правит конями.

Виды деревенек за каждым поворотом реки, засеянных пашен, покосов и стоговищ — создают впечатление, будто плывешь по реке, которая протекает по хорошо заселенному краю. Однако внимательный путешественник заметит много странного.

Между деревеньками, начиная от Жигалова, нет дорог, если не считать узкой, почти непроезжей тропы, пригодной лишь для верховых лошадей. Пашни на Лене жмутся к самым селениям, а дальше, куда ни глянь, всюду бесконечный могучий лес. Когда на остановке поднимешься на одну из высоких гор на берегу, увидишь одно безбрежное море сплошного леса, прерванное только гладью реки. Тогда станет понятной действительность: все население этого края (если не считать кочующих тунгусов) живет по Лене. Кругом же — дикий и девственный лес.

Мне пришлось в 1927 году, при возвращении с Ляховского острова, прожить в деревне Павловой на верхнем участке Лены десять дней. Нас застала зима в ту пору, когда мы медленно поднимались против течения на лодке. За время вынужденного сидения я узнал, какая глухая сторона этот край, кажущийся с реки населенным. Медведи здесь буквально заходят в жилые места. За три года до нашего приезда, в деревне Павловой в летнее время, когда все мужики были на сплаве, бабы убили за околицей медведицу и загнали на дерево ее детенышей. В Европейской части СССР с уважением говорят про охотника, убившего несколько медведей. Здесь парень в двадцать лет уже старый охотник на медведя. На парня, не убившего медведя, показывают пальцами. Эти охотники — потомки „государевых ямщиков“, насильно поселенных на Лене для содержания ямских станций. До сих пор здешние жители называют деревни станками. Здесь говорят:

— До Усть-Кута осталось еще пять станков.

Мужики, по памяти „государевой службы“, считают главной своей работой ямщину и отчасти сплав. На втором месте стоит охота за белкой, а на самом последнем — хлебопашество и домашние работы. Это женское дело. По временам хозяин поможет в свободное время вспахать землю или заборонить. Но почти позором для мужика считается уход за скотом, удобрение земли и даже рыболовство. Мне пришлось видеть в Павловой, как женщины в осенний ледоход, подоткнув мокрые по пояс подолы, неводили в ледяной воде. Мужья в это время или отдыхали от охоты, или готовились к ней.

За Усть-Кутом станки попадались уже не часто, а за Киренском они совсем редки. Все теснее охватывают их леса, меньше площадь распаханной земли и вырубок.

Наш караван плыл без остановок. С сожалением провожали мы глазами мелькавшие, как в кинематографе, картины края, который в недалеком будущем наверное будет наводнен в летнее время туристами со всех концов республики. Лена по красоте берегов едва ли имеет соперниц. Только на редких участках она однообразна.

Плывя от верховьев до устья, следишь за сменой панорам с напряжением. Красные обрывистые берега верхнего участка заменяются у Жигалова пологими склонами, заросшими чудес-

ным лесом. У Усть-Кута берега снова становятся обрывистыми, и снова серые каменные утесы сменяются пологими увалами. Ближе к Киренску они становятся выше, оба берега сдвигаются. После Киренска Лена вступает в Щеки, знаменитое по красоте и дикости ущелье. Для сплавных судов здесь есть опасные места. Не мало разбилось их о вертикальные каменные стены головокружительной высоты. При подходе к Щекам установлен наблюдательный пост с сигналами: судам здесь не разойтись. Когда мы подплыли к Щекам, фарватер был свободен. Наш карбас был подхвачен, как щепка, могучим течением реки, бурлящей в каменном извилистом коридоре. Мы с большим облегчением вздохнули, когда миновали скалу Пьяный-Бык, известную многими крушениями судов. Название скала получила после того, как однажды разбилась о нее баржа со спиртом, сплавлявшимся в Якутск.

После впадения в Лену мощного притока Витима она широко разливается. Почти всюду река течет несколькими протоками между островами. Чем ближе к Якутску, тем больше островов.

Слобода Витим — небольшое селение вблизи самого устья реки того же названия. Устье ее знатоки Приленского края зовут „Золотыми воротами". В самом деле, все золото со знаменитых ленских приисков на реке Витиме шло через эту слободу. Здесь хорошо помнят ленские расстрелы. Один из подсобных рабочих на нашем карбасе был мальчиком во время этих событий в Бодайбо.

В Витиме мы расстались с лоцманом. Ниже Витима сплавному судну нечего бояться мелей. Единственная опасность — заблудиться среди островов. Мы надеялись довести наш караван до Якутска без лоцмана, при помощи судоходных карт. Наше судно плыло с высоким паводком. Он должен был помочь нам в том случае, если бы мы сделали ошибки при управлении. Распределив вахты по-морскому — на руле, у мотора и на карбасе, — мы плыли безостановочно. Только вблизи самого Якутска пришлось переждать сильный ветер.

Вообще же говоря, наш караван представлял необычное зрелище. Тем, что мы не останавливались у пароходных пристаней, а плыли мимо и днем и прозрачной ночью, даже провизию покупали на ходу; тем, что наши спортсмены, составлявшие команду обоих судов, коричневые от загара, гуляли по палубам в одних трусиках, и изредка при сменах вахт между карбасом и ботом ходила стройной формы морская шлюпочка с голыми людьми,— всем этим мы возбуждали любопытство.

Бывало еще, что слабосильный моторный бот в местах, где он пытался при сильном течении пересечь реку, внезапно оказывался позади своей баржи и с усилием снова возвращался на место предводителя. Мы называли такие неудачные маневры — „сделать турмана". Один раз при обходе одного острова карбас был подхвачен сильным течением. Оно несло карбас на

остров. Паводок спас нас. Срезав кусок берега, мы по затопленным кустам вытянулись снова на фарватер.

Самое большое затруднение мы испытали вблизи Якутска, когда необходимо было найти среди бесчисленных островков узкую судоходную протоку, на которой стоит город. Мы уже видели город издали. Но по мере движения избранная нами протока начала быстро сужаться до нескольких десятков метров. Стоя у руля и направляя караван, я пережил в этой протоке несколько неприятных мгновений. „Неужели здесь, у самого Якутска, мы попали в глухую протоку? Вывозка всего имущества займет невероятно долгое время. Может сорваться вся экспедиция!“ Как бы в ответ на эти мысли, из-за густых зеленых тальников,— в них, казалось, утерялась уже протока,— показался пароход. Через полчаса мы подходили к самому Якутску. Сделав еще одного „турмана“ на глазах зрителей на набережной, странный караван наш, „слон на буксире у клопа“, с полуголым, бронзовым после месячного пребывания на солнце экипажем, лихо причалил у самого города.

В Якутске нам пришлось задержаться неожиданно долго: затянулся ремонт шхуны „Полярная звезда“. Когда шхуна, наконец, была приведена в относительный порядок, не оказалось баржи с подходящим для нашего груза тоннажем. Нужно было ждать прибытия ее с верхнего участка Лены.

Мы прожили в Якутске двадцать дней. Дни мы проводили в хлопотах по снаряжению, закупая последнюю провизию. За это время успели осмотреть огромный якутский музей с прекрасными экспонатами из северных областей. Посетили питомник лисиц, чернобурых и сиводушек; некоторые были совсем ручные, как собачки. Делали доклады в ученых обществах, перезнакомились со всем городом.

В летний период трудно представить, что в этом же самом городе по зимам стоят шестидесятиградусные морозы, а в селе Покровском, в 80 километрах от Якутска, вызревают помидоры и арбузы. Эти южные плоды подаются зимой в этом странном городе замороженными. В июле не находишь места от жары. По лишенным зелени улицам несется пыль, тянет душный ветер, река полна купающихся, чудесный якутский квас распивается четвертями. Прохлада наступает только вечером. За неимением садов и скверов здесь собираются по вечерам у завалинок. На скамеечке у ворот академической базы, где мы остановились, все места бывали заняты. Засиживались позднее прозрачной полночи, особенно если затягивалась очередная партия в рюхи. В этих партиях, наряду с нашими товарищами, принимали участие жившие по соседству народный комиссар, прокурор республики и дворник метеорологической станции.

Якутяне любят встречать и провожать. К приходу пассажирского парохода собирается едва ли не четверть всего населения. В прошлом году я ехал на пароходе в низовье Лены.

которое посещается два-три раза в навигацию. Тогда нас провожали бесчисленные толпы. Набережная, залитая народом, пестрела, как луг, ситцевыми платками, платьями, пиджаками и рубахами всех цветов. Обе баржи, пассажирская и грузовая, загруженная мешками, бочками, досками, тюками, живым скотом и высокими грудами сена, стояли как возы перед дальним путем. С последним свистком парохода заволновалась толпа. Понеслись с барж и парохода прощальные крики: „Проща-ай, проща-а-й!“ А в городе лаем и воем откликнулись собаки.

Около 1630 года кучка казаков-полуразбойников плыла на самодельных стружках из Мангазеи по реке Вилюю в „великую реку Лену“. Замечая по берегам землянки и юрты диких туземцев, казаки причаливали к берегу, чтобы, по понятиям наших времен, пограбить, а по разумению живших в XVII веке — „взять ясак“, т.-е. обложить туземцев данью. Два года спустя другая группа казаков плыла по Лене из устья реки Куты. Дойдя до места, где ныне стоит Якутск, казаки задержались, устроив здесь по обычаю высокий острог с башнями и бойницами. В ближайшие же годы другие группы смельчаков уже из Якутска поплыли дальше вниз по Лене за добычей и на разведку новых богатств. Но удержаться крепко в низовьи не удалось. Скудная природа и очень редкое население не сулили тут богатой жизни. Так и осталось низовье Лены незаселенным до последнего времени. Была попытка построить большой городок около Жиганска, но заглох он после разорения его тунгусским племенем.

И ныне от самого Якутска до Жиганска судно плывет по пустынной реке. На первых двухстах километрах, невдалеке от берега, стоят еще незаметные с реки небольшие якутские поселки. Дальше же, начиная с устья Алдана и до Жиганска, путник напрасно стал бы высматривать по берегам следы человеческого жилья. Только в Сангар-Хая у недавно начатых разработок каменного угля да в редких местах у тунгусских летних стойбищ можно увидеть дымок, выдающий присутствие человека.

После Жиганска на берегу изредка можно увидать рыбачьи юрты, а ближе к Булуну — и становища; низовья Лены богаты рыбой. Каждое лето из Якутска сплывают сюда на летний сезон рыбаки, с последним пароходом возвращаются домой. От Булуна до дельты берег кажется совсем населенным: всюду у песчаных берегов стоят конические юрты, летние тордохи и рубленые избушки. В действительности же населенных мест ниже Булуна только три: Аякыт, Кумасхурт и Булкур. Каждое из них состоит лишь из нескольких домиков. Все же остальные поселки — сезонные, здесь живут только летом во время хода рыбы.

Самой пустынной Лена кажется в местах, где шире всего раскинулись острова. Тут если бы и было жилье, все равно со стороны реки его бы и не увидать. С палубы парохода коренные берега Лены заметны только издалека. Река ниже Якутска

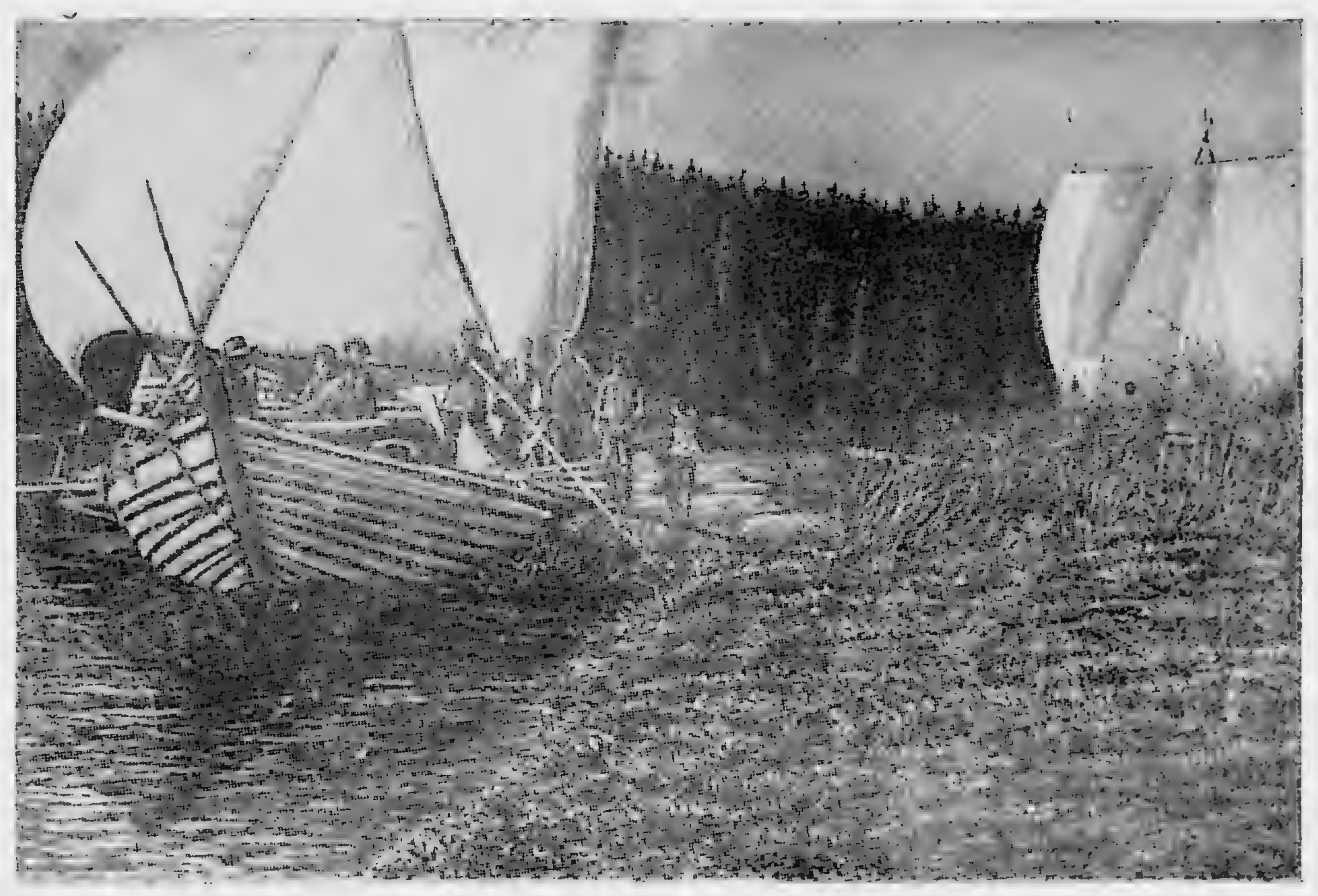
представляется в виде проток между больших и малых островов и островков. Почти все острова заросли сплошь ивняком, елями, лиственницей и ольховником. Редкий из этих островков имеет название, а сколько их — не знает никто. Даже на новейшей карте издания 1928 года Лена изображена лишь частично в виде судоходного русла ее с главными островами, лежащими поблизости главного фарватера. И лоцманы двух плавающих в устье пароходов знают только этот фарватер, но не имеют представления о бесчисленных протоках в стороне от него. На этом участке даже самые опытные лоцманы должны быть все время начеку, чтобы не сбиться с пути между похожими один на другой островками, не завести караван в незнакомую часть реки.

Говорил мне лучший лоцман на Лене — якут Богатырев, что есть, вероятно, кроме обычного пути пароходов, много других судоходных проток. Бывали случаи, лоцманы, заблудившись, выходили к знакомым местам по новому фарватеру. В осеннее время, когда прекращаются белые ночи, лоцманы не берутся вести пароходы ночью, а всегда становятся на якорь при сгущении сумерек. Аэросъемки Лена дождалась только в 1935 году.

Когда плывешь по нижнему участку Лены, она не кажется широкой Только в отдельных местах, где острова не столь часты, получаешь понятие о массе воды, стремящейся в Ледовитый океан. Матерые берега невысокие, большей частью обрывистые, синеют где-то в недосягаемой дали, почти скрываясь во влажной дымке над бесконечным водным простором. В тех местах, где коренные берега низки, в промежутке между островами иногда кажется, что небо сходится с водой, как в море. И воздух дрожит маревом, как в приморской местности.

В самом нижнем участке, перед дельтой, Лена, стесненная высокими Хараулахскими горами, снова собирается в одно русло. Вблизи Булуна Лена стремится одним потоком шириной от 2 до 6 километров. Здесь глубина реки достигает местами 30 метров.

Наш караван состоял из шхуны, которая вела на буксире железную с высокими каютками в два этажа баржу „Тюменку“; за баржей шло несколько шлюпок и наш моторный бот. На палубе баржи совсем усадебная обстановка: штабелями сложены доски и кирпичи. Как на дворе усадьбы, разложены для просушки овощи, золотятся на солнце лук, морковь и картошка. На носу у копен сена — мирно жующие четыре коровы. Плывя на нижней Лене, мы имели достаточно времени заняться всякими хозяйственными делами — распределить на две очереди груз, починить укупорку ящиков, уже проделавших около восьми тысяч километров, и перебрать запасы овощей. До устья плыть далеко. На деле мы плыли даже дольше, чем предполагали. Мотор шхуны начал пошаливать вскоре после отплытия. А после того, как мы посидели на мели вблизи устья Алдана, остановки из-за неполадок мотора стали постоянными. Поэтому, кроме остановок, соответствующих нашим планам, мы имели несколько



Стружки на Лене

совсем непредвиденных. Первая плановая остановка—в Сангар-Хая. Здесь недавно начата разработка каменного угля,— это первые угольные копи в Якутии.

Якутия — страна сплошного леса. До революции никому не приходило в голову использовать многочисленные залежи каменного угля. Вероятно, и в других местах есть богатые залежи угля. В настоящее время известны только выходящие наружу, которые трудно не заметить, плывя по рекам. Слои угля выделяются в обрыве резкой черной полосой: бери, добывай прямо с поверхности и грузи в судно. Сангар-Хая — одно из таких месторождений. У высокого нагорного берега Лены мы заметили стоящую у берега баржу. Мостки с нее вели прямо к штольне, выбитой в вечной мерзлоте. Прямо из штольни уголь ссыпался в баржу. Этот уголь было решено взять для топлива будущего дома на Ляховском острове. Мы быстро нагрузили нужное нам количество из баржи.

Вторую остановку мы сделали в Жиганске, чтобы накосить коровам свежей травы. Жиганск до последнего времени носил название заштатного города. Это одно из самых жалких селений, какие мне приходилось видеть. С ним может поспорить только Усть-Янск, такой же заштатный городок на реке Яне.

После Жиганска мы снова вступили в лабиринт островов. Все эти острова не высоки — несколько метров над уровнем воды — и в большинстве закрываются в половодье водой. Более крупные из них нередко прорезаны узенькими протоками, похожими на маленькие речки и ручейки. Их почти не видно с воды.

На одной из невольных остановок мы высаживались на берег островка, весьма типичного для нижней Лены. Все эти острова образованы наносами. Плывя по реке, можно наблюдать все стадии образования островов, начиная с песчаной мели, образовавшейся от того, что затонуло в этом месте пропитавшееся водой дерево и задержало песок, стремящийся по дну с течением. Раз образовавшаяся отмель всегда имеет наклонность увеличиваться и рано или поздно превращается в песчаный остров. Пройдет много лет, прежде чем остров зарастет ивняком. Во время половодья кусты ивняка станут задерживать грязь, мелкие сучья и щепки. В результате через несколько лет поверх песка лягут слои перегноя, на котором в конце концов вырастет густой лес. В дальнейшей жизни острова на нем продолжают откладываться слои хвои, перегноя растительности, осадков почвы, несущейся с высокими водами, и вот — перед вами типичный ленский остров.

Острова не только рождаются и живут,— они и умирают. Смерть приходит внезапно. Где-нибудь на фарватере по соседству образуется новая мель, из нее вырастает новый островок. Стесненное преградой течение кидается в сторону, фарватер изменяет свое направление, и быстрое течение начинает подмывать старый остров. В несколько лет от него может не остаться

и следа; остров тает буквально на глазах. Проплывая мимо, видишь, как осыпается подмытый берег, как отваливаются в воду лишенные опоры деревья, как садятся в воду целые группы стволов с обнаженными корнями и уносятся водой. Грунт с такого погибающего островка относится на новую отмель. А лес, росший на острове, разбрасывается по берегам всего Ледовитого моря в виде „плавника“. Елями, лиственницами и тополями, выросшими на Лене, будут топить камельки и печи на островах Ледовитого моря. Этим же плавником воспользуются эскимосы в Гренландии. Обломки стволов, вынесенных с берегов Лены, находили на берегах Лабрадора, в Америке.

Когда выходишь на берег ленского острова, покрытого лесом, первыми бросаются в глаза высоко торчащие обломки деревьев и оголенность стволов в нижней части. Это следы могучих ледоходов. Лед обламывает или валит все деревья метров на 10—15 от берега. Кустарники же в прибрежной части изуродованы сплошь. Обыкновенно древесные насаждения на островах очень густы, и лед в глубь леса проникнуть не может. Зато вода в половодье, цедясь через лес, как через решето, оставляет между деревьями множество ила, сучьев, коры, обломков смытых выше деревьев, целые стволы и всякий мусор. Во многих местах скопление плавника столь велико, что и без того густой лес становится совершенно непроходимым. В течение часа мы, не отойдя от берега и четверти километра, прокляли нашу затею проникнуть в глубь девственного леса этих островов. Выбрались на чистый берег, искусанные до волдырей комарами, покрытые грязью с головы до ног: все деревья и плавник залеплены ссохшимся илом. В предыдущем году мне пришлось побывать еще на нескольких островках. Все они различаются только большей или меньшей густотой леса и разной степенью влажности почвы: одни сплошь болотисты, другие — посуше.

Здесь для всякого рода пернатых и лесной дичи истинный рай. Один из наших спутников, побродив с ружьем по узким проточкам и островным озеркам, вернулся с полным ягташем. Едва мы успели войти в лес, как увидели свежий помет медведя и несколько дальше — отпечатки копыт двух лосей.

Среди всех этих похожих один на другой островов резко выделяется единственный на всем протяжении Лены гористый, составленный не наносными почвами, но каменными породами, остров Аграфены. Он стоит в 70 километрах выше Жиганска.

Про этот остров рассказывают легенды, в них быль переплелась с вымыслом. Есть предание, что невдалеке от места, где стоит ныне Жиганск, в древние времена был основан казаками городок Красное. Город существовал недолго, он был уничтожен набегом непокорных туземцев. О существовании Красного и разорении его имеются исторические записи. Дальше легенда говорит, что три обитательницы Красного, из которых одна звалась Аграфеной, не подчинились распоряжению жить в Жи-

ганске, но поселились на гористом острове. Пытались и другие перенести жилье на остров, который никогда не заливается водой, но Аграфена, обладая волшебной силой, губила всех, высаживавшихся туда. В числе погибших от руки волшебницы был и парень, который любил Аграфену. Эта якутская Лорелея обложила данью окрестных жителей и все суда, проплывавшие мимо острова. Проезжие должны были нести дары Аграфене. Существует у якутов поверье, что разбойница Аграфена и ее сестры и поныне живут на острове в виде ведьм, которых всякий проезжий обязан умилостивить приношением дара.

Подобных легенд у якутов рассказывается множество. На лесных и горных тропинках имеется немало приметных мест — необычайной формы дерево, одинокая гора, крутая падь или бурливый поток с водопадом, стоящая отдельно скала. Все эти приметные места дают толчки воображению. Почти с каждым из них связываются суеверные представления. Минуя такие места, якут считает долгом принести дань духам, обитающим поблизости. Всегда около жилищ духов якут остановится, чтобы повесить на куст или ближайшее дерево тряпочку, кусочек ремня, пучок волос из конского хвоста или клок оленьей шерсти, бросить щепотку табаку или старую кость. Даже в пустынной тундре стоят местами одинокие палки или колышки, сплошь увешанные такого рода приношениями.

Плывя в предыдущем году мимо острова Аграфены, я видел, как якуты на палубе задолго до острова начали готовить дары волшебнице. Из бересты делались лодочки с фигурками на веслах и руле, изображавшими подобие домочадцев, приносящих жертву. Эти лодочки были щедро нагружены кусочками хлеба, сахара, спичками, обрывками цветных тряпок и мелкими монетами. С полной серьезностью взрослые якуты, пуская на воду эти лодочки, провожали их глазами, пока жертвы не скрывались из вида. Не исполнившего этого обряда вблизи острова Аграфены, по верованиям якутов, ждут в низовьях реки всякие беды.

Несколько ниже острова Аграфены, главное русло Лены подходит к высокому левому коренному берегу, в обрывах которого всюду видны слои каменного угля. Эти слои выходят также и у Жиганска и дальше до самого Булуна. Здесь же проходит полярный круг. Чувствуется уже дальний север. Лес у Жиганска невысок и состоит почти исключительно из одной лиственницы. Ближе к Булуну леса редеют, становятся ниже; горы издали кажутся почти голыми. Ближе замечаешь низкорослые, редко стоящие, чахлые и искривленные лиственницы, похожие на кустарник. Они группируются теснее по лощинам и на склонах гор. Граница леса недалека, она проходит вблизи острова Тит-ары. Ниже Булуна, у поселка Аякыт, срезал я перочинным ножом взрослое дерево высотой около 4 метров и толщиной 5 сантиметров. По срезу можно было определить его возраст, сосчитав число годовых колец: дереву было 115 лет.

Заполярная Якутия

Ранним утром 31 июля, на одиннадцатый день после Якутска, приплыли мы в Булун. Булун после революции стал административным центром громадного округа, который обнимает весь север Якутии от Хатанги до Алазеи; по площади округ равняется приблизительно Швеции и Норвегии, взятым вместе. Город распадается на две части: самый Булун — на высоком склоне левого берега Лены и Кюсюр — на другой стороне реки, на невысоком заболоченном берегу в расстоянии около 7 километров. В Булуне — окружной исполком и все правительственные учреждения, в Кюсюре — исключительно торговые фактории и склады продовольствия и пушнины. От Кюсюра же идет торговый путь на Верхоянск и Казачье.

Наша первая остановка в Кюсюре — против фактории Якутгосторга. Селения с реки почти не видно. За высоким валом щебня и льда, выброшенных на берег стремительным ленским ледоходом, видны только крыши торговых складов. Остальные постройки разбросаны по тундре тремя группами на протяжении почти 2 километров. Одна из них — поселок, низенькие домики вперемежку с юртами сгрудились у деревянной церкви с покосившимся крестом. Тут же кладбище. Ветхие позеленевшие кресты, колышки и новенькие столбики, увенчанные пятиконечными звездами. Одна из могил привлекает внимание надписью:

РСФСР

Братская могила красноармейцев и комсостава

Булунского экспедиционного отряда, умерших от болезни

цынги — 23 чел. — в начале 1923 года.

Это следы гражданской войны. Волна ее с запозданием докатилась до севера, когда разбитые и вытесненные из Сибири отряды генерала Пепеляева пошли искать в бесконечных лесах и тундрах новых авантюр и пытались насаждать белую власть в населенных пунктах, состоящих из нескольких тунгусских или якутских юрт.

Поодаль от первой группы построек, среди чахлого кустарника в тундре, стоит вторая группа: дом с амбарами и кладовыми. Вокруг свалены груды лиственничных дров, перевернутые оленьи и собачьи нарты, у одной стены возки с кибитками, похожими на маленькие домики с окошечками: в таких разъезжали прежде чиновники, заседатели и исправники. Жилой дом фактории заселен до крайности. Комнаты отделены дощатыми, не доходящими до верха перегородками и ситцевыми занавесками. За занавесками — кровати и нары. В канцелярии — разбитая до крайности машинка ремингтон, на самодельных полках — груды папок, а на столах, закапанных лиловыми чернилами, — бланковые штемпеля и печати из мамонтовой кости.

По случаю приезда гостей на длинном столе в общей комнате блестит большой и пузатый самовар; на блюде — груды сдобных булочек, чудесных кренделей и ватрушек, теплых — только что из печки. В тарелках — юкола, пупки нельмы и стерляжья строганина. Обычай севера — предложить гостям лучшее угощение, — как видно, соблюдается и в фактории. При виде вкусных и свежих постряпушек в обыкновенный будний день подумаешь, что здесь едят их ежедневно. Знакомый с местным бытом знает, что живут здесь в общем скудно, а все эти вкусные вещи и постряпушки подаются только в самые большие праздники и редким гостям. Но на случай неожиданного приезда комплект такой закуски в замороженном виде хранится на погребе в вечной мерзлоте земли и разогревается на скорую руку в несколько минут.

Чинные хозяйки тоже в праздничных нарядах. Туго заплетенные косы, шелковые наколки, платки и платья покроя восьмидесятых годов прошлого столетия, богатые шали, серьги и броши кустарной работы, в руках — серебряные трубочки с мундштуками. Женщины жеманно сидят у уголочка стола, безмолвные и прямые.

В одном из домиков кюсюрских мы посетили мастерскую кустаря-самоучки, резчика и токаря на мамонтовой кости. В темном углу стоит самодельный токарный станок, около него — несколько стамесок и пил. Вот и все оборудование. Во всем Булуне штемпеля и печати — его работы. Показал нам кустарь шахматы, портсигары с надписью „Булун", мундштук, ножи для бумаги и стаканчики для карандашей. Все эти вещи ничем не отличаются от изделий из слоновой кости, хотя работа довольно груба и безвкусна. Изделия хорошо раскупаются местными жителями и редкими проезжими. Кустарь существует безбедно.

В Булун мы отправились на нашем „Меркурии Вагине" под парусами и машиной. До нас моторный катер здесь был известен только понаслышке. По этой причине прибытие его в Булун походило на триумфальный въезд. Со всех сторон развалистым, но легким бегом сбегались якуты, даже хозяйки и старики собирались группами у порогов юрт и избушек. Мальчишки

Гор. Булун (Якутия)

звериными глазками, затаив дух, следили за каждым движением моториста и людей, убиравших на катере паруса. В довершение,— едва мы успели ступить на берег,— от группы якутов отделился молодой человек в пиджаке и ичигах:

— Позвольте приветствовать культуру в лице вашего мотора! Восхищаемся вашим свободным движением среди бурной стихии! Познакомимся. Заведую избой-читальней в этом краю незаходящего солнца.

Булун раскинулся по пологому склону горы на видном месте при устьи речки Булукана. На первый взгляд он похож на небольшое село. Только плоские дерновые крыши, малая величина окошечек, скудная растительность, отсутствие оград, свет полуночного солнца и множество ездовых собак у низеньких юрт напоминают, что этот город — самый северный в Сибири, центр единственной области, лежащей за полярным кругом почти целиком.

Булун сравнительно молод. В прежнее время здесь жили купцы с приказчиками и несколько чиновников. На кладбище пышны могилы этих ушедших властителей тундры. Память о них совсем свежа. Еще помнят старики пословицу: „На небе— бог, в Булуне — Санников". Антипины, Новгородовы, Кушнаревы — эти имена еще не забыты в тундре. Купеческая власть пала позднее царской. Когда с далекого юга дошло и до Булуна известие о свержении недосягаемого белого царя, население тундры не верило. Все чиновничество, купечество и приказчики сидели на своих местах.

Потом, вместо пристава и чиновников, оказались комиссары Временного правительства, стали звать полицию милицией. Но в тундре от того ничто не изменилось.

Только с приходом красных партизан слова революции превратились в дела. В купеческие дома вселились Якторг, кооперативы „Холбос" и „Сибторг". Милицию заняли серьезные люди в фуражках с красным околышем. По-новому сложились экономические отношения. Охотники из тундры снова повезли пушнину и стали получать в факториях свинец и порох, ножи и посуду, масло, муку и мануфактуру.

От Булуна до острова Столба и дальше по бесчисленным рукавам дельты, которыми Лена изливается в море,— самые рыбные места. Здесь возникают уже консервные фабрики и заводы для переработки рыбных отходов, растут культурные поселки. По богатству рыбой нижний участок Лены занимает одно из первых мест нашей республики.

Здесь ловятся лучшие сорта рыб. Из лососевых — голец, нельма, таймень, сиги, чир, пелядь, муксун, хариус и кондовка, из осетровых — помесь стерляди и осетра и множество других, менее ценных видов.

Мы проплыли по этому участку быстро. Дул попутный ветер. Шхуна с поднятыми парусами шла со скоростью пятна-

дцати километров. Впрочем, таким ходом успели дойти только до острова Тит-ары и стали,— опять зашалил мотор. В то время как караван наш стоял, с верху показался идущий в низовье пароход „Лена“ с баржами. Капитан „Лены“ согласился присоединить нашу баржу к своему каравану. Шхуна ушла в бухту Тикси налегке.

Пароход делал остановки у промысловых „песков“. На гудок выбегали из кожаных тордохов местные тунгусы, и приезжие якуты-рыбаки торопливо катили на баржи бочки с соленой рыбой. Спешили в каютку — походную факторию акционерного общества „Туз-балык“ (Соль-рыба), где измученный бессонными ночами человек, заведующий факторией, принимал рыбу и выдавал артельным рыбакам товары: кирпичи чая, связки табака, пряжу для сетей, соль и бочки, щелкал на счетах и рылся в торговых книгах. Как только заканчивались расчеты с рыбаками, пароход давал гудок и шел к следующему „песку“.

В этом году нам не пришлось побывать на берегах самого нижнего участка Лены: пароход стоял у „песков“ недолго. Последний „песок“ главного русла — вблизи островка Столба. От него Лена расходится рукавами, как пальцы от ладони; отсюда начинается дельта. Высокие каменные обрывы Столба видны не только из всех проток и главного русла, но даже со стороны моря.

Дельта Лены — громадная площадь свыше 30 000 кв. километров, до 250 километров в ширину, с множеством пустынных островков,— своеобразный и неисследованный край. Даже усть-ленские промышленники нелегко находят дорогу среди бесчисленных проток дельты.

Безжизненные и плоские острова скучным рядом проходят перед глазами, когда плывешь по одной из главных проток. Все они похожи одна на другую, как камешки на дне. Редко покажется на берегу стадо диких оленей, или рассыплются между кочек серые пятнышки — гусиный выводок, и грациозная, на стройных крыльях, проплывет по воздуху серокрылая чайка.

Почти на каждом острове за невысоким мшистым откосом влажная мшистая почва, обильно покрытая травой и зарослями стелющейся ивы. Редко увидите издали совсем низкие коричневые гряды, заросшие мхом и лишайниками. Чаще всего в поле зрения — однообразная тундра, на ней болотца и озерки на каждом шагу. Вспорхнут с этих озер потревоженные вами утки, разбегутся линяющие гуси, зальются тонким посвистом, но останутся на озерках нервные плавунчики, и понесется в вышине с беспокойным, нудным криком длинноносая гагара. Из-за коричневой гряды выглянет серая в летнее время мордочка песца, тявкнет и скроется. И тучами облепят комары.

По берегам островков всюду плавник. В излучинах проток через скопления его нелегко переползти. А у обрывистых мысов, где происходят во время ледохода напоры льда, берег непри-

ступен. Здесь плавник, лед и взрытая почва представляют изумительный хаос. Выброшенный на берег лед не успевает стаивать за лето. Он скопляется год от года и закрывается почвой.

Ближе к морю больше плавника и чаще следы человека: знаки на островах и деревянные песцовые ловушки — „пасти". Изредка можно увидеть деревянный сруб без крыши или конусообразную, обложенную деревом „урасу". Это — поварни для временных остановок для рыбной ловли или при поездках для высмотра „пастей" зимой. У самого моря есть несколько рыбачьих и охотничьих поселков. У крупнейшего из этих поселков — Быкова мыса — мы пристали, чтобы взять ездовых собак, купленных мною в прошлом году и оставленных в поселке для прокорма. Следующая, последняя остановка—бухта Тикси.

Почти под семьдесят вторым градусом широты, у восточного края ленской дельты, берегами низменного Быковского полуострова и высокими отрогами Хараулахских гор образован глубокий залив моря. В вершине его находится бухта Тикси, по-якутски — убежище.

Бухта Тикси обширна, глубока и безлюдна. Теперь в Тикси строится порт. Но в 1928 году не было на ее голых и пустынных берегах ни одного домика. Бухта эта — в самом деле прекрасное место для устройства торгового порта. В ней два рейда: наружный, прикрытый с моря островом Бруснева, и внутренний заливчик Булункан. К наружному рейду почти вплотную подходит обширный и глубокий залив Неелова, образованный Быковской протокой Лены. Он отделен от бухты Тикси низменным и узким перешейком.

Вероятно, прорыт будет здесь со временем канал, по которому речные караваны пойдут из Лены в Тикси, не огибая Быковского полуострова, а неглубоко сидящие морские суда получат возможность доходить без затруднений до Булуна и выше.

С нашим прибытием бухта Тикси ожила. Между островом Бруснева и берегом, грузные на воде, осели баржи, дым парохода коптит волшебно-чистое небо, и ночное солнце багровеет в его клубах.

На речном караване, на баржах, едва ли не половина населения Булуна и поселка на Быковском мысе,— все ждут парохода из Владивостока.

В 1927 году в Тикси впервые пришел пробным рейсом в устье Лены пароход Совторгфлота „Колыма". Странно было в этой пустынной бухте видеть облепленный баржами пароход с аэропланами на причалах, на палубах чистенькие фигуры комсостава среди кухлянок и торбасов усть-ленских жителей. Еще необычнее здесь, под 72 градусом, выглядели на столе в кают-компании роскошные цветы и фрукты, стоявшие со времени посещения Японии. В тот год пароход, сдав на баржи полный груз муки, галет, чая, мануфактуры, табаку и консервов, благополучно возвратился во Владивосток с грузом ленского угля.



На Быковском полуострове (Якутия)

Но в 1928 году парохода не дождались. По какой причине— так и не узнали до следующего года. В Булуне и на речном пароходе тогда не было еще радиотелеграфа. Лишь впоследствии выяснилось, что посланный в Лену „Ставрополь“ дошел только до Большого Ляховского острова. Встретив в море Лаптевых сплоченные льды, капитан парохода не отважился пробиваться через них и повернул назад. На обратном пути „Ставрополь“ зазимовал у мыса Северного. В 1928 году еще не было ни одной радиостанции на всем пути от Берингова пролива. Это был последний рейс из совершавшихся на-авось. Теперь построены радиостанции по всему Северному морскому пути. Теперь капитаны ведут с уверенностью большие караваны судов, груженых товарами всей огромной республики Якутии. Из Владивостока, из Архангельска.

По морю Лаптевых

В бухте Тикси мы загрузили шхуну до пределов возможности нашим снаряжением с баржи. Едва ли когда-нибудь отправлялось в море судно, столь похожее на воз, груженый доотказа домашним скарбом. На палубе высились горы снаряжения. Трюм был забит, как ящик с плотно уложенным товаром, а в каюты мы с трудом протискивались между многочисленными ящиками. Даже в ящиках под койками были втиснуты кирпичи. Несомненно,— случись шторм, при такой погрузке мы потеряли бы не мало снаряжения с палубы.

Но открытой воды с высокой волной ждать было трудно. По всему было видно, что предстоит тяжелое ледовое плавание; оно, вероятно, займет не мало времени. В прошлом году „Полярная звезда“ не встретила льда до самых Новосибирских островов. Но в этом году даже из бухты можно было различить невооруженным глазом льды, стоящие на горизонте. С прибрежной же возвышенности море казалось занятым льдом, насколько видит глаз.

Разумнее всего было предположить худшее: что шхуна не успеет сделать два рейса. Поэтому мы постарались забрать с собою все необходимое.

Мы вышли из Тикси в ночь на 11 августа. И сразу же попали в лед. До вечера 12 августа „Полярная звезда“ кое-как пробивала себе дорогу через скопление льдов. Но около полуночи встретились очень тяжелые льды. Остановились, пришвартовавшись ледяным якорем у небольшой стамухи, милях в четырех от берега.

Эта стоянка оказалась очень длительной и беспокойной. Все время дули упорные ветры, державшие нас под страхом быть выжатыми льдом на берег. Пользуясь вынужденной стоянкой, мы осмотрели часть берегов.

Эти берега — одно из чудес природы. Надо сказать правду: в этом чуде нет ничего красивого. Приближаясь, видишь обыкновенный крутой склон берега, похожий на глинистый обрыв, мокрый, как после сильного дождя. Обрыв, действительно, влажен. По нему всюду стекают струйки воды. Только подойдя вплотную, начинаешь понимать причину влажности обрыва: весь он составлен изо льда, а темный, похожий на глину цвет его

происходит от грязных струек, стекающих по склону. Только в некоторых участках лед виден ясно, большая часть его закрыта тонкими слоями грязевых потоков, — они плывут сверху, с тонкого слоя почвы, прикрывшего ископаемый ледник. Грязевые потоки текут и из заполненных почвой трещин во льду. Такие потоки, скатываясь книзу, образуют конусообразные возвышения; они, как зубья, торчат внизу откоса.

Мне приходилось уже в прошлом году видеть обнажения ископаемого льда на Быковом полуострове у бухты Тикси. Однако, на Быковом нет столь полных обнажений, нет столь высоких скосов, искрящихся на солнечных лучах. Там картина затушевана. Как и на Быковом, лед залег здесь непосредственно под почвой. Прикрыт он нетолстым слоем тундрового перегноя. Вблизи морского побережья в Якутии ископаемый лед встречается повсюду от устья Лены до Колымы. Можно многие сотни верст ехать по тундре, не подозревая, что под тонким слоем почвы всюду лежит мощная, не тающая в течение тысячелетий толща льда. Только вблизи берегов, сильно разрушаемых морем, или в ущельи, вырытом рекой, показывается лед, полускрытый оплывами грязи. Если отскоблить верхнюю грязную корку, легко добраться до совершенно чистого, слегка мутноватого пузырчатого льда. Иногда стены льда прерываются пластами почвы, как будто широкая трещина, наполненная почвой, прорезала его. В таких пластах легко найти остатки растений, которые здесь не растут, и животных, вымерших много тысяч лет назад. Находили в подобных откосах не только кости, но и вполне сохранившиеся в промерзшей почве трупы животных, или вымерших повсеместно, или живущих теперь в теплых и тропических странах. На севере Якутии обычны находки костей дикой лошади, первобытного быка и носорога, овцебыка и ископаемого оленя-великана. Особенно часто находят кости мамонта. Добыча мамонтовых бивней прекрасной сохранности, которые в продаже идут почти наравне со слоновой костью, в северных областях Якутии — доходный промысел. Эти бивни отличаются от слоновых большей величиной, изогнутостью и наружным слоем коричневой, красной или синей эмали. Скелет мамонта и части его тела, украшающие Зоологический музей Академии Наук в Ленинграде, найдены в подобном же откосе с ископаемым льдом.

Нам в эту поездку, несмотря на кратковременное пребывание на берегу, удалось найти несколько костей мамонта, ископаемого оленя и других животных.

Хотя мы видели на берегу большие стада диких оленей и множество гусей, я запретил брать на берег ружья, чтобы быть в ежеминутной готовности вернуться на судно, если лед разредится. В мясе мы не нуждались. Я боялся, что в нужный момент мы не соберем ярых охотников, когда они завидят оленя или окружат стадо линяющих гусей!

Впрочем без охоты не обошлось. В устьи речки плавало множество гусей, линяющих и молодых. Большая часть гусей при нашем приближении успела убежать в тундру, но один выводок почти летных гусей задержался. Его окружили наши безоружные охотники. Гуси попытались спастись в речке. Вот здесь-то и началась охота! Собиравшие плавник не могли удержаться от искушения добыть дичь, плывущую под носом в нескольких шагах, и открыли канонаду... палками. Гуси, ловко ныряя, укрывались от первобытного оружия. Большая часть выводка спаслась. Но все же два гуся достались нам в качестве трофеев.

Пользуясь стоянкой, наши механики занялись ремонтом машины. Еще до бухты Тикси сломались зубцы в шестеренке распределительного валика. Во льдах несколько раз нашим механикам приходилось чинить шестеренку, ввинчивая и припаивая медью железные зубцы целыми сериями.

23 августа совершилась благодетельная перемена в состоянии льдов: поздней ночью они начали разрежаться. В то же время слегка разорвался туман. Впереди оказались большие разводья у самого берега. Мы, распрощавшись с нашей ненадежной стамухой, начали лавировать по разводьям без особенных затруднений. Однако после полуночи встретились тесно сжатые ледяные поля. Пришлось остановиться.

К утру погода улучшилась, а в полдень, при перемене приливного течения, снова разредились льды. Пробираясь из одной полыньи в другую и протискиваясь между тесно сжатыми полями льда, мы разбивали перемычки, застревали, снова вырывались, вклиниваясь в каждую трещину, и крошили лед, насколько это могла делать наша маленькая шхуна. К вечеру упрямство наше было вознаграждено: я мог, наконец, спуститься из наблюдательной бочки; впереди — широкие полыньи, а за ними — окруженный чистой водой Ляховский остров.

Вторая советская полярная станция

Задержавшись во льдах больше двух недель, мы сильно опоздали против намеченных по плану сроков. Попали на Ляховский остров только в начале сентября. Эта пора на Новосибирских островах — переход от короткой осени к внезапно наступающей зиме.

Уже буреет в эту пору тундра; на маленьких водоемах, озерках и ручьях везде корочка льда, хрустит она и под ногой, когда идешь по низинам и падям. Птицы успели вырастить птенцов и улетели, нет ни веселых пуночек, ни куличков, ни краснозобиков, ни туруканов; одни на кочках, как комья снега, сидят неподвижные полярные совы, и прячется от них меняющая перо тундровая куропатка.

Мы предполагали приехать на место по крайней мере месяцем раньше. Тогда за лето и за осень мы успели бы с большим напряжением силы выстроить дом для второй советской станции в арктике и поставить при помощи талей и воротов тридцатиметровую мачту для радиостанции. Вся наша экспедиция была рассчитана на крайнее напряжение сил, и запоздание в сроках грозило ей полным срывом. И стал я сумрачным, когда, ступив на берег, увидел, что вершина горы за прибережной тундрой уже подернулась сеточкой инея. Но день спустя, когда закипела работа, начал думать: справимся, если дружно возьмемся за дело.

Нас было девять, считая и старичка — нашего повара; два плотника, радист с мотористом и четверо научных сотрудников. Когда на берегу выросли груды бревен, досок, кирпича, бесчисленных ящиков, бочек и всякого добра, мы поняли отчетливо, как мало нас, чтобы все эти материалы быстро превратить в большой десятикомнатный дом полным ходом работающей полярной радиостанции.

К тому же было три срока — непререкаемые. Первый — ближайший, когда падут глубокие снега полярной зимы; к тому времени дом должен быть под крышей, иначе под снегом растеряем и перепортим все свое добро. Второй — через месяц — начало крепких морозов, когда в доме должно быть тепло, иначе погубим аккумуляторы, овощи и всякие жидкости, и третий срок — великий праздник Октября,— к этому сроку новая

станция должна быть готова совершенно, а мы должны отсюда, за двенадцать тысяч километров, о том рапортовать по радио в Москву.

Когда небольшой отряд вблизи противника ведет траншею, он не может прекратить работу, пока не закончит ее и не установит связи со своими. Враг близок. Опасность и желание сомкнуться со своими заставляют делать чудеса. Траншея бывает готова в кратчайший срок. Так и у нас: наши три срока и враг — зима у порога — заставили работать себе на удивление.

Через неделю пустынный берег у моря стал неузнаваем. Там, где тянулся однообразный, голый, на много километров безжизненный увал, вырос новенький светлый дом, еще без окон и крыши. Оттуда — веселый, дробный стук молотков. Ближе к берегу стояли: подобие амбара — стропила, затянутые брезентом, где хранилось все снаряжение, две палатки, жилой брезентовый же барак и такая же кухонька. Это наш временный лагерь. От лагеря к морю бежали по молодому снегу в гору тропинки к постройке и к складу досок. Струилась тонкая полоска дыма; перекликаясь, сновали темные на снегу силуэты людей, и всюду шныряли собаки. Поздней ночью, когда лагерь успокаивался, потухали в палатке тусклые огни, и в небе начиналась игра северного сияния — лучи и ленты, а лай и вой собак заглушался грохотом разыгравшегося прибоя, местность казалась пустынной. С рассветом берег снова оживал.



Полярная сова

Мы работали весело и споро, — песни, шуточки, крепкие словечки. Все забыли свои анкетные „роды занятий“. Труд умственный и труд физический потерял свои границы и сливался в полную гармонию. Наш богатырь-биолог, оказалось, в студенческом прошлом имел звание старосты артели грузчиков; он научил всех сноровке „брать на спину“, „наливать“ и „кантовать“, потом показал себя умелым плотником: „рубанил“ и „фуганил“ — на первый сорт. Геолог сначала имел тяготение к работам земляным и подрывным, а впоследствии, поступив на печную работу, оказался и тут молодцом: вывел голландскую печь наславу. Геофизик, он же художник, избрал сначала специальность поближе к небу — кровельщика, а потом, по старой, видно, памяти сделавшись маляром и стекольщиком, не пытался больше отскабливать с рук смолу и замазку.

День за днем, без перерывов — только на еду — мы носили в гору на спинах тяжелые грузы, стучали молотками, пилили, строгали, рубили, копали и таскали песок, рвали тетрилом мерзлую землю. Но эти дни проходили с изумительной быстротой, хотя вставали мы с рассветом, а шабашили не раньше темноты. Когда, — через пять недель после начала постройки, — как раз перед наступлением морозов, был назначен первый день отдыха по случаю окончания черновой отделки дома, мы оглянулись назад, — показалось, что прошли те недели, как несколько суток.

Переселились из палаток в дом в средине октября. Уже стояла давно зима, морозы доходили до 25°, часто налетали жестокие вьюги; в последние дни лагерной жизни нередко приходилось подолгу работать железной лопатой, пробивая в плотном снегу тоннель, чтобы выйти утром из палатки.

Первым делом после постройки дома, разрушив лагерь на берегу, мы перенесли все машины, снаряжение и провизию в кладовые, затем надо было приниматься за внутренюю отделку, электропроводку, установку приборов и машин и, наконец, радиостанции. Третий срок приближался.

Радиомачту ставили глубокой зимой. Дни в эту пору стали уже коротки перед полярной ночью. Морозы ужасно осложнили все работы на воздухе. При установке будок метеостанции за полсуток мы проходили ручным буром в мерзлой почве (для взрыва ее) не больше сорока сантиметров. Стылые доски ломались при ударе топором.

Когда ставили радиомачты, хрупкое на холоде бревно сломалось в замке от собственной тяжести. Заменив обломок новым бревном, с трудом натянули промерзшие оттяжки.

Наконец навесили и приключили антенну. Немой радиоприемник заговорил. Вести всего мира — в этом соединенном с антенной маленьком ящичке. Мы уже не одни, мы знаем кое-что из новостей республики и говорим о них. В один из первых дней поймали отрывок телеграммы о чествовании итальянцами



Ляховская полярная станция

героев „Красина“, о подвигах „Малыгина“,— там все друзья, и они побеждают на севере! Наши полярники вышли на мировую арену! Вот весть о новых хибинских богатствах. Там строится город. Скоро-скоро и мы подадим весть о себе.

Установка и настройка новой станции — не шуточное дело — в обычных условиях производится инженерами с завода, изготовившего станцию. Среди избалованных высокими ставками инженеров нам не удалось найти охотника поехать за двенадцать тысяч километров, чтобы строить своими руками дом и радиостанцию. Пришлось устанавливать все собственными силами.

Правда, у нас имелись подробнейшие схемы не только радиомонтажа, но и всей электрической и силовой установки. Однако это был едва ли не первый случай пуска в ход промышленной станции без присмотра инженера-специалиста. Волновался не только наш радист Володя, собиравший сам всю станцию, но и все мы. Ведь радиосвязь новой станции — важнейший рычаг ее работы. Без радио станция не закончена. А 7 ноября на носу.

2 ноября — день первой пробы. Как будто все готово. Заработал мотор. Вспыхнули лампочки на щите, полились на снег яркие лучи электрического света. Володя сосредоточенно дотронулся до ручки рубильника. Когда начал заунывную песню мощный умформер, качнувшись впервые на распределительном щите, ожили стрелки приборов. Передача включена.

Столпившись у входа в наш „радиоцентр“, с лицами серьезными не менее, чем у его хозяйна, мы следили за каждым малейшим явлением. Еще одно движение руки,— и между золотых спиралей передатчика, ясно накаляясь, загорелись генераторные лампы.

— Володя, прибавь оборотов!

— Миша, смотри хорошенько за реостатом!

— Больше, больше оборотов!.. До двухсот двадцати вольт. Не сдавай!

Под телеграфным ключом замелькали яркие голубые искры. В эфир полились волны — пробный сигнал: три точки, тире.

— А ну-ка, Миша, пойди вот с этим приемничком в дальнюю комнату. Настрой детектор... Ну, как?

— Ревет, как проклятый, ушам даже больно!

Велики наше счастье и гордость. Советская вторая станция — второе звено цепи на Северном морском пути — вступила в строй. Ее построили мы собственными руками.*

---

* Первая советская полярная станция была выстроена в 1923 году в Маточкином шаре на Новой Земле.

На пустынном острове

Зимовали мы хорошо. Теплый дом, тесноватые, но по своему вкусу устроенные комнаты, живая и интересная работа, живое знакомство с местной природой, связь с далекой родиной,— мы чувствовали себя хорошо. Единственное, что ощущалось, и особенно остро — зимующими в первый раз,— это отсутствие солнечного света. Но ощущение тьмы полярной ночи имело место только в ее конце, да и то по причинам, от движения солнца совсем не зависящим: перегорели все электрические лампочки, питавшиеся от батареи аккумуляторов. Мы внезапно лишились электрического света, который заставлял нас почти забывать про окружающую суровую природу арктики.

Вместо яркого электрического света пришлось довольствоваться тусклым освещением керосиновых фонарей, так как во время постройки полопались все ламповые стекла.

Был еще случай, заставивший всех новичков быть осторожнее с незнакомой природой. В средине ноября, когда солнце не поднималось больше над горизонтом, и формально наступила полярная ночь, мы отправились охотиться на оленей. В это время полуденный рассвет продолжается около семи часов.

Погода была хороша. Можно было весь светлый промежуток дня использовать для охоты. Во второй половине дня двое из нас заметили стадо, третий — спугнул его. Олени убежали. Через полчаса я и Вася Б. заметили второе стадо и начали было к нему подкрадываться с двух сторон. Олени сделали спокойную перебежку и скрылись в сумерках, быть может, невдалеке. Горячий охотник Вася, бывший впереди меня на расстоянии километра, побежал по следу. Видя, что сумерки сильно сгущаются, и зная, что олени сделали перебежку на ночь, чтобы выйти на открытое безопасное место, я несколькими выстрелами в воздух хотел вернуть увлекшегося охотника. Но он скрылся в глухих сумерках.

Проискав Васю около часа,— до времени, когда на небе исчезли все следы полуденной зари, я вынужден был вернуться на станцию, чтобы поехать по свежим следам отыскивать охотника при помощи собак. Вася Б. был нашим плотником. Вася, уроженец Смоленской губернии, не имел понятия о том, как

нужно находить дорогу в тундре. Он не знал того языка, которым говорит тундра с родившимися в ее просторах, языка, который понимает каждый северный мальчик. Я пытался давать ему уроки пользования компасом, рассказывал, как находить дорогу по звездам и как вместо компаса пользоваться следами ветра на снегу. Но эти уроки на практике им еще не применялись. Они скорее служили во вред.

Поиски и возвращение на станцию заняли около трех часов, еще полчаса отняло запрягание собак. Когда сани прибыли на место, где скрылся Вася, прошло около пяти часов. За это время поднялся ветерок с метелью. Он замел все следы. Искавшие, исколесив километров пятнадцать, к полуночи вернулись домой.

В окружности станции мы воздвигли несколько высоких маяков с фонарями, повесили фонарь и на верхушку двадцатитрехметровой радиомачты. Часов с пяти утра все бывшие на станции, в том числе и гость, местный промышленник, снова отправились на трех упряжках собак искать пропавшего товарища. В общей сложности мы исколесили за время рассвета больше двухсот километров. В результате всех поисков в одном месте найдены были следы, не вполне занесенные снегом, быстро оборвавшиеся. Они вели в глубь острова, в сторону, противоположную станции.

В самом подавленном настроении мы возвращались домой. Неужели наш веселый Вася забрел в центральную часть острова? Как не мог он выйти на берег? Неужели не найдем мы Васю до весны, когда стает снег?— С такими мыслями входил я в наш одинокий домик. И... встретил там новых гостей — промышленников. Они подобрали охотника, найдя его лежащим у песцовой ловушки в 45 километрах от станции.

Как он попал туда?— У меня есть странички Васиного дневника. Мои уроки сослужили Васе плохую службу. Компас он потерял в горячке охоты. Когда стемнело, Вася направил свой путь по звездам и... принял за Полярную звезду Юпитер, в то время бывший на юге. Вот как описывает в дневнике Вася свое приключение:

„Ходил на охоту за оленями. Я увидел вперед всех 25 штук. Мы стали подкрадываться с Николаем Васильевичем. Я подкрался на 300 шагов, но мой мавзир не стрелил. Другие стреляли пять раз, но не выбили ни одного, олени бежали далеко. Пошли дальше и еще нашли много оленей. Мы с Николаем Васильевичем разошлись, и я отстал от него. И стало совершенно темно, я сбился с дороги. Николай Васильевич стрелял два раза. Я пошел к нему и миновал. Тогда пошел, куда — не знаю, и проходил всю ночь. Мороз был двадцать градусов, и ветер семь метров в секунду. Небо было закрыто облаками. Под утро немного расчистилось небо. Я увидел Северную звезду. Тогда стало немного веселее, и я взял направление на юго-восток. Потом через несколько времени стала видна

серебристая заря. Когда стало немного виднее, я увидел торос у ног. Оглянулся,— я иду в море. Позади увидал гору на острове и пасти на берегу. Тогда я повернул обратно. С моря по уклону снежному уже не было силы взобраться; три раза скатывался назад в море. Потом собрал последние силы, кое-как взобрался, пополз к пасти, вижу — в ней песец попался. Ну, думаю, должны приехать промышленники проверять пасти. Лег я у пасти, потому что мог только ползти, а итти уже не мог. А еще потому, что голодный приполз. Через час смотрю, идет человек — промышленник. Я стал стрелять, он потащил меня в юрту. Там отогрели меня, вскипятили чаю. Я выпил две кружки чая и съел три крошки оленины. Потом запрягли собак и довезли меня до станции. Приехали,— ни одной души нет в доме. Все пошли искать



Охотники в белой защитной одежде

меня, но не в ту сторону, куда я пришел. Отморозил себе руки и правую ногу, но мне оттерли спиртом, растерли всего и дали хорошую порцию внутрь. Николая Васильевича еще не было. Он вернулся в 11 вечера на собаках. У каждого были с собой спирт, по плитке шоколада и спальный мешок. Николай Васильевич был очень скучный, когда меня не было, ходил взад и вперед, ни с кем не разговаривал. Это мне сказали после".

Ляховские острова пустынны и однообразны. На острове Большом — слабоволнистая сухая тундра прерывается четырьмя возвышенностями: Каврижка, Хаптагай, Кигилях и Эми-Тас; они расположены почти крестообразно. От станции видна только ближайшая — Эми-Тас. До нее около восьми километров. Она одна, выделяясь двумя вершинами, девственно чистыми на темном фоне зимнего неба, разнообразит безнадежную правильность линии горизонта. Тундра, чуть занесенная снегом, почти голые бугры с кустиками засохших растений, овраги с нависшими на крутизне карнизами снега, твердого, как алебастр; вдали — синие пятна на террасе белой горы, вблизи же, на серой тундре и всюду под ногами — торчащие коробочки засохшего полярного мака, плодики лютиков и камнеломок и ветром склоненные метелки на стеблях злаковых растений. Вот все, что можно увидеть, если отойти от берегов, безразлично — на один или пятнадцать километров.

В начале зимы, когда еще не смерзлось море, наш остров казался живей. Еще сидели на вершинах байджерахов молчаливые и неподвижные, как часовые, белые полярные совы, бегали всюду, собираясь стаями, белые куропатки. Видали мы стада оленей. По мере того как увеличивался у морского берега ледяной припай, казалось даже, тундра оживляется. Так было и в самом деле. И олени и куропатки собирались со всего острова на южный берег. Они ожидали установки льда, чтобы переправиться по нему на материк.

Мы видели много куропаток еще во время постройки дома. Одна из первых, любопытная, уселась на конек крыши. Потом, спорхнув на землю, эта птичка резво побежала под откос горы, но, встретив на пути собаку, заметалась и угодила в открытую дверь нашей кухни. И стала жертвой повара. С начала октября в окрестностях появились куропатки во множестве. Мы видели стаи штук по триста.

Наши охотники добывали куропаток преимущественно в ясные солнечные дни. Только при такой погоде возможно заметить куропаток издалека. В пасмурную погоду, когда белесое небо и снег сливаются в одну мутную пелену, как ни старается охотник, одетый в белую одежду, разглядеть, куда села стайка, он не замечает ее, пока не подойдет почти вплотную. Чаще всего в такую погоду замечают стаю уже после взлета, когда с мягким взрывом и шуршанием крыльев со всех сторон вздымаются

птицы, показывая черные полукруги в развернутых веером хвостах. Даже в солнечный день куропатка видна только при боковом освещении. В других условиях трудно отличить чистую окраску перьев от белого снега.

С половины ноября тундра опустела. Острова и материк соединились льдом, сковавшим море. Все живое ушло на материк. Первые признаки смерзания льда мы заметили 29 сентября. В этот день отметил я в дневнике появление вблизи берега едва заметных и тонких иголочек льда, плававших в морской воде. С 1 октября берег начал обрамляться тонким припаем из смерзшихся кристалликов, выброшенных морем, к припаю стали примерзать и блинчики тонкого льда, образовавшиеся из тех же иголочек. Эти блинчики к 6 октября достигли толщины 5 сантиметров. Береговой припай рос с каждым днем, а образовавшиеся из блинчиков пластины льда соединялись в крупные поля. Пролив заполнялся ими. В половине октября мы видели движущиеся льды только на горизонте, а с двадцатых чисел совсем не стало видно воды.

Но в средней части семидесятикилометровый пролив долго не смерзался. Куропатки пытались с конца октября переправляться на материк, но всегда возвращались. Они боятся лететь над водой. Каждое утро мы видали стайки, улетевшие в море, но к вечеру они снова бродили по тундре. Только в начале ноября стайки исчезли совсем. Дикие олени ушли в половине ноября. Стадо, за которым гнался Вася, было последним, виденным нами в этом году.

Из дневника

2 декабря. Утром слабый морозец 16° Ц, ясное небо. Небольшая поземка-метель и яркая заря на юго-востоке. Около полудня выпустили шар-пилот. Хотя небо в зените было совершенно ясно, шар исчез на высоте полутора километра: он словно расплылся в сумерках полуденного рассвета. Небо над головой — бархатная лазурь. На севере оно еще темнее. Похожая на двойную срезанную пирамиду, гора Эми кажется завешанной синей вуалью. После обеда, когда начал рокотать и пускать колечки из трубы мотор, я прошел на север. Никаких следов, кроме песцовых и белых цепочек от лапок леммингов. Эти следы ведут к отверстию в снегу. Я разрыл осторожно, действуя саперной лопаткой, снег вблизи одной из норок. От входа, оказалось, идет лабиринт подснежных коридоров. Все коридорчики сходились у странного сооружения. Там лежал шар из травы, довольно туго сплетенный, величиной в человеческую голову. Внутри его помещалось гнездышко лемминга. Хозяин успел удрать по запасному ходу.

Если судить по количеству норок, этих зверьков здесь множество. Часто находим норки, уже разрытые песцами.

Песцовых следов больше всего ближе к берегу. Наши охотники понаставили всюду капканы, надеются на богатую добычу.

Но песцов еще не поймано ни одного. Впрочем, попалась — одна собака. Наши следопыты ставят капканы по двум способам: простому — где попало, и — „психологическому". Психологическим капканом они называют приманку, обставленную капканами со всех сторон. Вся беда в том, что капканы, простые и психологические, поставленные не в надлежащем месте, заносятся снегом, твердым, как земля, и не действуют.

Хорошо хрустит снег под ногой, когда идешь по безмолвной тундре! Так красивы карнизы на обрывах берега и скульптурны снежные заструги!

На серебристой поверхности снега, словно взмахом острого инструмента, вырезаны углубления и черты. А от каждого возвышения на почве, от каждой былинки и кочки, как изваянные смелой рукой, тянутся в стороны хребтики. Если вглядеться внимательно, на поверхности снега увидишь целый ряд таких хребтов. Каждый из них проведен по направлению дувшего когда-то ветра. Можно заметить, что около выдающегося препятствия такие хребты расходятся звездой, напоминающей те „розы ветров", какие мы чертим, изображая характер ветров, дувших в какой-нибудь промежуток времени. Здесь сама природа начертила эти „розы". По ним можно восстановить, какие ветры дули за последние недели, и даже судить о силе ветров. Сильные метели оставляют высокие хребтики с изъеденными боками; чем продолжительнее ветер, тем длиннее хребет. После слабой метели остаются невысокие, ровные грядки. А последовательность этих метелей возможно определить по чистоте линии хребтика.

12 декабря. Наши дни начинают укладываться в размеренные рамки. Утром дежурный по станции, закончив наблюдения и разбудив повара, начинает скучать. Пускает в ход граммофон с пластинкой погромче. К шуму метели за окнами примешиваются чуждые ей звуки арий Бертрана или дуэта Глинки. Если накануне ребята не засиделись за шахматами или за книгой, достаточно бывает одного завода механизма. В противном случае Бертрану приходится петь довольно долго, даже после того как подан кофе, и наш Михаил Андреевич провозгласит во всеуслышание:

— Гражданы, кофе поданный!

Столовая, — у нас чаще называют ее по-морскому кают-компанией, — понемногу наполняется людьми. Заспанный и сердитый со сна, приходит в машинное отделение моторист. Оттуда доносится сначала шипение примуса, подогревающего мотор, затем пыхтение мотора. В доме вспыхивает яркий свет. Разговоры становятся веселее.

Чаще начинают хлопать наружные двери. Федор идет кормить собак. Михаил Андреевич убедительно просит принести сегодня побольше снега для воды:

— Ах, эта вода! Она убьет меня. Что за страна! Только и делай, что воду растапливай. Когда же я буду тесто месить?

Когда консервы оттаивать? Когда мясо вырубать? А все требуют, чтобы обед был во-время. Но сами посудите, как сделать вовремя? Дрова — ведь это ужас, сырой плавник!

Замирает пыхтение мотора, слабеет свет. Теперь везде горят лампочки от аккумулятора. Кто-то впускает любимца-собаку, чаще всего веселого Алеута или серого, как волк, пушистого Виндворта.

Собаке теплая комната — верх блаженства: помои на кухне и часто косточки от вчерашнего ужина. Впрочем, блаженство недолговременно. Скоро Виндворт и Алеут со сбруей на плечах выводятся наружу и припрягаются к саням. Двое людей едут собирать на берегу дрова — плавник.

Сели на нарту. Отвязаны передние собаки.

— А-а-а! Батта!

Передовой Ермак, широкогрудый и плотный, с железными ногами, косит умным глазом на ряд собак позади него, запряженных попарно. И вдруг, тявкнув тоненьким голосом, прыжком рвет потяг. Еще прыжок. Все собаки ложатся грудью в постромки, крутится снег под полозьями и лапками. Низкая нарта скрывается за поворотом у мыса.

Сегодня ясно. Сигарообразные застыли над головой Эми серо-розовые облака. На снегу играют отсветы южной зари. На черной поверхности стены дома завязли в порах кустики изморози; белым пухом облеплены стекла. И белая же, вся в инее, болтается ниточка на антенном проводе. В такие дни, как сегодня, воздух приобретает какую-то звонкость. Часто слышишь разговор и тявканье собак на расстоянии 2—3 километров. Топор при рубке дров впивается в полено со звоном, и вкусно хрустит раскалываемое дерево.

В это время года около полудня на воздухе почти все. В сумрачных комнатах не тянет сидеть. А, с другой стороны, всегда находится работа на воздухе, которую в другое время суток делать сложнее из-за темноты. Так и сегодня. Близ станции маленькими точками шевелятся фигуры. Один режет из плотного снега тяжелые белые кирпичи для нового снежного домика; двое, кидая в воздух редкие фразы, мешают их со звоном пилы. Четвертый, с головы до ног запорошенный снегом, чистит на метеорологической станции будки, забитые снегом во время метели. Еще один, на морском льду, размеренно вонзает пешню в зеленоватый лед. Там рубится новая прорубь.

К часу дня, когда заметно блекнет рассвет, все сходятся в столовой. Входят, обирая иней с усов и бород, вешая металлические инструменты и ружья близ печки. Засовывают варежки в теплые печурки. Граммофон играет веселый марш. Михаил Андреевич несет кастрюлю с супом.

Под конец обеда ярко вспыхивают лампочки, жужжит умформер, наполняя комнаты однообразным шумом. Под звуки его начинается мертвый час.

30 января. Метель и оттепель —19° Ц. Сегодня у нас событие. Взбесилась Мод. Еще вчера выла она с особенной тоской; инстинктивно начали со вчерашнего дня кидаться в сторону при приближении Мод другие собаки. Это третья собака, которую мы теряем. Боясь распространения заразы среди других, я посадил ее на цепь. Но Мод с неслыханной силой разорвала цепь, вбежала в дом и покусала своих щенков. Кидалась и на людей. С большим трудом мне и Мише удалось накинуть на нее ременную петлю и привязать на новую толстую цепь. Час спустя собака порвала ошейник и снова оказалась у дома. Завидя ее, Вася бросил глыбу снега и, как пушинка, взлетел на крышу бани, а Михаил Андреевич едва успел захлопнуть за собой дверь кладовой. Т. выстрелом из маузера прикончил несчастную собаку.

Здесь, в оазисе, среди пустыни, на отлете от мира, сживаешься с животными, как с людьми. Нам до тонкости известен характер каждой собаки. Среди них есть симпатичные, безразличные и малопривлекательные. Есть даже уважаемые. Как же не уважать добродушного неряху Керемеса, увешанного лохмами слежавшихся волос, который в упряжке работает, как лошадь? Разве можно не ценить ум Ермака? Он, идя передовым, ну, право, временами оглядывается на наших неопытных каюров, управляющих нартой, по меньшей мере с презрением! Слыша неправильную команду, он почти никогда не следует ей и избирает путь уверенно и твердо. И как не любить Алеута? Этот весел всегда. В упряжке он тянет весело, крутя тугим кренделем хвоста. Столь же весело сбивает он, почуяв след песца, всю упряжку в сторону. Алеут, с правом весельчака, нахально врывается в дом, и первым делом в кухню, и с хохотом собачьим, подпрыгнув, лижет ваш нос.

Вот старый Мальчик. Этот много повидал на своем веку. Глаза Мальчика гноятся, работать ему тяжело. Он хитер и увертлив. Только отвернись, удерет из упряжки, отрезав, как бритвой, ременный алык, и надолго скроется в укромное место. Если не хочешь, чтобы место в упряжке осталось свободным, необходимо заранее посадить его на цепь, пока ленивец не заметил приготовлений к поездке. Мальчик велик и кудлат, его хвост с бахромой шерсти, свалявшейся в войлок, волочится по снегу. Пользуясь весом и густой шерстью,— только не догляди,— Мальчик отнимет у слабой собаки кусок. Отнятое он прячет, зарывая глубоко в снегу. Таких складов у него несколько. Никто не умеет так ловко, как Мальчик, представиться у двери дома больным или замерзшим.

24 февраля. Пасмурный день. С утра проехал на собаках вдоль берега на восток. Лед замерз довольно ровно, собаки везли прекрасно. Много песцовых следов. Обратный путь совершил напрямик по тундре. Километрах в пяти от станции собаки, видимо, заметили песца и, несмотря на противодействие передового Ермака, понеслись было в сторону. Но умница

Ермак, пробежав минуты две, сделал вид, что он заметил что-то новое в нужном нам направлении, тявкнул несколько раз и возвратил собак на правильную дорогу.

5 марта. Морозный ясный день, — 36° Ц. Воздух кажется застывшим. Лучи низко стоящего солнца скользят по белым снежным застругам, как по мертвому старческому лицу, изборожденному морщинами. Синие тени от кочек переплетаются с розовыми отблесками солнца. И искрится брильянтовый убор на заснеженных былинках. Когда стоишь часами у теодолита, видишь, как от товарища столбом поднимается облако пара. Заиндевели брови и ресницы; иней, обрамляя белым венчиком лицо, осел на шапке и белым фартучком повис на груди. Когда приближаешь на несколько секунд свои глаза к окуляру теодолита, он успевает за это время от испарения тела покрыться тонкой корочкой льда. Нужно счищать эту корочку спичкой и протирать чистой тряпочкой. Выпущенный шар в последние дни поднимается свечой. До высоты 200—300 метров полное безветрие. Но и выше воздушные течения очень слабы.

Островники

С островными людьми,— они зовут себя „островники“,— мы познакомились в день прибытия шхуны. Когда шхуна стала на якорь, заметили мы на берегу дымок. Подойдя на моторном боте ближе, мы увидели у склада досок, оставленных мною в прошедшем году, большую груду мамонтовых бивней. Около них сидели два человека в серой ровдужной* одежде. Поздоровались. Один из этих серых людей,— узнали мы,— звал себя Петра Еремеев; другой, лысый, весь в добродушных морщинках, сказал, что зовут его Василей Устинов. Оба казались смущенными, не находили слов для разговора. Из нескольких фраз на ломаном русском языке поняли мы, что островники ждут провизии, которую обещал прислать им Госторг со шхуной. Действительно, представитель этой организации просил меня доставить провизию на остров, но мы не могли взять ее: нехватало места и для своего груза. Разочарованные промышленники рассказали нам о недостатке у них продовольствия и просили, не будет ли возможности отпустить из экспедиционных запасов сухарей и масла. Я удовлетворил их просьбу, прося уплатить долг оленьим мясом, когда у островников будет избыток его.

Пожалуй, еще более смущенными казались наши новые знакомые, приехав к нашему лагерю месяц спустя. Тогда пустынная местность с одиноким складом досок сделалась неузнаваемой. У моря раскинулись лагерь и склады, на горе вырос большой дом с большими окнами; в доме, не виданная якутами, стояла голландская печь. Звучали веселые песни, раздавались стук инструментов и визжание пилы; с буханием и звоном мерзлой земли взлетали к небу при взрывах черные столбы. В доме устанавливались неведомые машины. В палатках, обогревая их, горели примусы, стояли койки, столики и табуреты — множество чудес. Островники привезли убитого оленя и тотчас же, накинув белые рубахи, снова ушли на охоту. С темнотой Василей и Петра вернулись. Поужинав с нами и получив, как и другие, праздничную порцию, в которую входила и рюмка водки, наши новые знакомые почувствовали себя в дружеской обстановке.

---

* Ровдуга — грубо выделанная замша.

Мы расстались друзьями. Дружба особенно укрепилась после того, как я оказал медицинскую помощь старику Митрею. Тогда станция в целом попала в число „догоров“* всех наших соседей — островников. И мы всегда были рады их приезду.

В конце октября побывал в гостях единственный русский промышленник на островах — Семен Надыбин, квадратный человек с маленькими бегающими глазками, живущий на Малом Ляховском острове. Подкатил он к станции с шиком, лихо затормозил хореем нарту и привязал хороших, откормленных собак. На станцию вошел без всякого смущения, заговорил развязно.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Дюже рад познакомиться с нашими учеными соседями, с испидиторами. Приехал проведать. Я здесь русский один. Мы, выходит, с вами, как братья.

Был он в щегольской кухлянке, белых камусах, в шапке, отороченной песцом, жилет носил песцовый.

От Надыбина впервые узнали мы об островниках по-настоящему.

„Наш русский брат“ оказался человеком совсем образованным. Родился и вырос в Якутске, знал грамоту и любил подпустить ученое слово.

Спрашивают у него станционные горе-промышленники, как ставить капканы на песцов? Надыбин капканы видит в первый раз, но не смущается.

— Капкан — машина деликатная. Ставить его надыть ординарно, на ровном месте.

— Островники, я вам скажу,— сообщал Надыбин, расстегнув жилет после пятого стакана кофе,— народ совсем некультурный. С таким темным народом беда была мне, когда стал ходить на острова. Теперь научился говорить по-якутски не хуже, чем по-русски, и даже думать стал по-ихнему. Такой язык удобный. Удобно живут и островники. У них все налажено: день за днем идет по назначению. Каждый знает вперед, что будет делать через месяц. Все по заведенному уставу. Год пройдет, не увидишь, куда время ушло. Приехал на острова, пасти надо осматривать. Закончил высмотры, нужда заставляет оленя добывать на распутицу. Там птица летит, когда ей положено. Надо ее промышлять. Запасов с собой, изволите видеть, мы не берем, живем охотой. Весной птица валом валит. Прозеваешь,— голодным останешься. Кончилось весеннее время,— нужда гонит оленей искать. Вот и бродим с тордохами** по всему острову, как дикие волки. Волк позади стада идет, нет-нет да отобьет одного. И мы так же. Так и маемся. На острова приехал,— будь готов неделю-другую без питания сидеть. Человеку одному

* Догор — по-якутски — друг.

** Тордох — кожаная коническая палатка.

легко бы здесь прокормиться,— с собаками горе! Собак надо кормить в первую очередь, а то и песцов не соберешь и с острова не выедешь! Самое трудное время для островника — летнее время. Олень в середине лета пасется на ровных местах, по-нашему, якутскому, „алы“ называются. На алы олень видит охотника издалека. Охотники здесь хорошие, но и олень здесь пуганый. Много хитрости надо, чтоб к стаду подойти на открытом месте. Голод — не тетка. Хитрим, да не всегда удается. Бывает по неделе, а то и по две одним „батагосом“ питаемся, извините, якутской похлебкой. А какая сытость, если в нем, этом батагосе, одна вода и трава с горсточкой муки.

Мы слушали рассказы Надыбина с большим интересом. Он был первым человеком, от которого можно было толком разузнать, что за люди заселили Новосибирские острова. Раньше считалось, что острова не населены, но только посещаются по временам жителями Казачьего для добычи мамонтовой кости.

Когда задаешь вопрос Надыбину, он отвечает не сразу, долго обдумывает. По возможности старается ответа избежать. Силился выведать у всех наш „русский брат“, зачем построена станция, а самое главное — опасны ли мы?

— Вот, можно сказать,— сладко и издалека начинает Надыбин,— и наши пропащие острова дождались иликтричества. И дом, можно сказать, такой, что в Якутск на главную улицу выставить не стыдно, тысячи, наверно, стоит? Только мы думаем, к чему такой большой расход? Острова, можно сказать, самые захудалые! Какой от них толк? И народ-то на них ведь не настоящий — якутишки. Опять сказать, такие образованные люди,— и ехать такую даль. Двенадцать тысяч километров, вы говорите.— Ну, видите! Конечно, научное дело — дело серьезное. Ну, что здесь можно найти? Тундра и тундра. Какой интерес? Для научного дела южные места способнее, пожалуй. Мы думаем — расход порядочный. Опять же слыхали, что вот вы, люди образованные, собственными руками черной работой изволили заниматься. Якуты — народ подозрительный. Как им объяснишь, что наука — дело серьезное? А я думаю так: что если советская власть прислала вас и пошла на расход, так это дело политическое. Якуты политику разве могут понимать? А как вы считаете,— не может быть от этого островникам какого-нибудь убытка?

Слушает хитрец наши разъяснения задач станции, как будто понимает. Говорим, что охотникам беспокоиться нечего, что север теперь оживляется, что мы — пионеры новых культурных центров далекого севера,— как будто верит. Но видно по пустым глазам, что он считает эти ответы „ненастоящими“, ждет объяснения „большого расхода“.

— Так, понимаем. Значит, северному жителю должно как будто выйти облегчение, а государству — доход. Конечно, можно пойти на расход в таком случае. Только народ-то здесь несто-

ящий — якутишки. Как вы, люди антилегентные, можете из-за такого народа беспокойство на себя принимать? Кого бы попроще прислали... А жалованне ваше как?

Впоследствии узнал я, что Надыбин при возвращении со станции объяснял якутам: „Дом на острове называется „сытанцыя“. Приехали люди из города нового, от Якутска он далеко, называется Ленина город. Народ не опасный, но лишнего болтать не следует. Записывают! А от записи не откажешься. Люди на станции рослые, простые. Торговлей не занимаются, купить ничего невозможно. Выпросить можно провизии, если пожаловаться, что корма-де плохие. Народ доверчивый. Если расспрашивать будут про песцов, представляйтесь, будто не понимаете, и правды не говорите“.

В течение зимы перебывали на станции все островники, промышлявшие на Ляховском. Новый гость всегда привозил в подарок оленину; один раз получили мы ногу медведя, убитого у становища Дымная. В ответ мы давали гостям сухарей, масла или табаку, угощали компотом, консервированными фруктами, кофе с сухим или сгущенным молоком и другими диковинками, которых нет не только в Устьянском крае, но и в Якутске.

Самыми желанными друзьями для нас все же остались Петра и Василей. Эти два простых человека помогли нам во многом, особенно во время доставки грузов и при выезде со станции. Не прошло и полугода, эти два промышленника, освоившись со станцией и подружившись с ее обитателями, приезжали в наш дом, как в дом близкого друга.

Промышленники начали отъезжать в Казачье с середины ноября. Самые последние уехали с Ляховского в конце декабря. Остров опустел до марта.

В начале марта Петра и Василей, с отмороженными скулами и носами, снова появились на станции. Привезли подарки — мороженую нельму и сигов из Казачьего. Приехали они очень озабоченными: в Казачьем было получено распоряжение закрыть въезд на острова для промысла. Это распоряжение было вызвано ходатайством устьянских промышленников, считавших, что люди, осваивающие острова, истребляют слишком много песцов в ущерб промыслам жителей Устьянского края.

К тому времени мы получили уже в общих чертах понятие об объеме промыслов на Новосибирских островах, знали в круглых цифрах количество построек и промыслового инвентаря. А главное, убедились, что все островники входят в своеобразный дикий коллектив с обобществленными орудиями промысла. Для меня была очевидна поэтому несообразность внезапного прекращения промыслов с оставлением на произвол судьбы тысяч песцовых ловушек, сотни юрт, избушек и погребов, сделанных руками небольшой группы энергичных людей. Из них подавляющее большинство было бедняками, не имеющими за душой ничего, кроме одежды, нарты, винтовки и двух-трех оленей и собак.

Поэтому я предоставил охотникам возможность снестись по радиотелеграфу с Якутском и получить оттуда благоприятный ответ о том, что отдано распоряжение разрешить временный въезд на острова для ликвидации промыслового имущества.

В марте же 1928 года радиотелеграф принес и нам очень неприятное известие о том, что шхуна „Полярная звезда" не прошла дальше устья Лены. Она зазимовала в заливе Неелова в очень неблагоприятных условиях и не может быть использована для рейса к Ляховскому острову. В той же телеграмме сообщалось о зимовке „Ставрополя" у мыса Северного. Следовательно, не будет рейса на Лену и из Владивостока. Нам предлагалось экономить провизию и ожидать прибытия смены сухим путем в декабре будущего года.

Провизия была у нас рассчитана для восьми человек на один год. Больше взять мы не могли. В действительности на станции зимовало девять человек.

Нужно было сказать правду: было от чего почесать затылок, получив такое известие. Из Ленинграда рекомендовали нам отправить половину сотрудников санным путем, четверым же остаться на станции и постараться добыть себе пропитание охотой. Такой совет был не плох. Особенно на крайний случай. Промышленники,— мы знали,— живут на островах совсем без провизии. Впрочем, большинству из нас раньше, чем начать удачный промысел, следовало сначала поучиться. Но нас беспокоило не это. Промыслить еду мы в крайнем случае сумеем. Но как же быть с научной работой? Обслуживать большой дом, геофизическую станцию и радиостанцию силами четырех человек возможно, только сократив объем исследований, даже чисто станционных. А как быть с исследованием островов? Неужели, пробыв два года, вернуться почти с пустыми руками, не нанеся на карту, не исследовав геологического строения, не подвинув ни на шаг разрешения заманчивых здешних загадок, не обследовав подробно быта и экономики населения?

Как всегда в важных случаях нашей жизни, я созвал совещание сотрудников. Мое предложение было таково: отправить на юг только двух человек, а остальным исполнить все наши задания, не уменьшая, но по возможности расширяя их. Для этого придется сжаться и позабыть о хорошем питании. Если ввести нормированный паек и попытаться достать из Казачьего немного муки, сахару и других основных продуктов, мы будем в состоянии продержаться до смены, не потеряв ни часу на охоту. Если в Казачьем муки не получим, займемся охотой. Все сотрудники согласились с такой программой.

30 марта я отправился в Казачье с промышленниками, которые ехали сдавать пушнину весеннего промысла. К их упряжке мы подбавили четыре станционных собаки.

Нормированный паек был введен с 1 апреля. На нем мы сидели до декабря.

По устьянской тундре

Все сборы кончены. Нарты увязаны. С визгом рвутся передовые собаки, но крепко держатся в снегу хореи, воткнутые через копыл. Еще задержка с запутавшимися собаками. Последнее рукопожатие. Хореи вырваны, запряжки во весь дух с лаем и гомоном бегут вдоль берега. Сзади глухо в морозном воздухе стучат выстрелы салюта. Скоро собаки замедляют бег,— нарты нагружены до предела. На них наше снаряжение, багаж двоих отъезжающих, пушнина и мамонтовые бивни — имущество островников. Только один человек сидит на нарте по очереди, а остальным приходится итти быстрым шагом рядом или впереди. У Петровой артели собаки плохие, а груз велик. Попути пришлось сбросить мамонтовую кость.

От станции до Ванькина стана 60 километров проехали за 12 часов. Это становище основано первыми посетителями островов. Со временем его название исказилось в сокращенное: „Ванька"; якуты зовут его „Банка". Теперь становище состоит из двух занесенных доверху якутских построек.

В Ванькином стане нам предстояло сделать остановку на несколько дней, до наступления ясной погоды. Тогда легче будет совершить переход с острова на материк. Пользуясь этой остановкой, я уходил на целые дни с аппаратом и буссолью для изучения окрестностей.

Морской берег к западу и востоку от становища обрывист. Он состоит почти целиком из ископаемого льда. Всюду тянется высокая, до 25 метров, стена грязноватого и мутного льда, во многих местах носящего следы широких древних трещин и странных овальных пустот, теперь заполненных почвой.

В отдельных местах обрыв отделялся современными продольными трещинами. Тогда вблизи берега образовывались ущелья в таком же мутном льду. На одной из отдельно стоящих ледяных скал я увидел торчащий из почвы большой бивень мамонта с совершенно свежей эмалью. Рядом висели какие-то лохмотья — нето заплывшие грязью куски костей, нето полуистлевшие обрывки мяса. Бивень находился в вертикальной стене, от основания не ниже 10—12 метров. Достать без приспособлений было невозможно.

Таких скоплений ископаемого льда, как на Новосибирских островах, нет нигде во всем мире. А обнажения между Ванькиным станом и становищем Ипсы — одни из самых высоких и длинных на островах. Все исследователи, начиная с самых первых посетителей островов, рассказывали о льде, подстилавшем почти всю почву на островах и обнажающемся в местах, где море сильно подмывает берега.

Из людей науки первый исследовал это удивительное явление доктор Бунге. Он объяснял происхождение льда образованием его из снега, скоплявшегося в трещинах почвы. Такие трещины образуются во время сильных морозов.

Следующий исследователь, Толль, высказал предположение, что острова во время ледникового периода были покрыты могучим слоем ледников, которые впоследствии, при изменении климата в этой части света, не отступили и не стаяли без остатка, как это было в средней и северной частях Европы, но были занесены земляными отложениями и сохранились в течение многих тысячелетий. Такого взгляда держатся и другие ученые. К такому же выводу привело и наше изучение островов.

Среда, 5 апреля. Когда вышел я ранним утром из домика, стояла прекрасная погода. Мороз 30,7° Ц. Уже готовились в путь. Петр и Федор, перевернув нарты, мазали полозья, обмакивая кусок оленьей шкуры в теплую воду. Василий осматривал и перевязывал копылья у нарт. Они стояли, уже увязанные.

В избушке у очага—„огоха"— большое ведро, доверху набитое кусками оленины. Но мы, не дожидаясь мяса, садимся за чай. Из черного пузатого чайника льется густая черно-коричневая струя. Пьют без сахара. Двух чайников нехватает. Быть может, нехватило бы и третьего, но Федор пробует ножом оленину. Готова. Он выкладывает мясо на широкую доску, а суп, вернее густой бульон, наполовину состоящий из жира, сливает в небольшую чашку.

Каждый собственным ножом отрезает большие куски мяса. Каждый, держа в одной руке кусок и хватая его зубами, ловко у самого носа отрезает лишнее. Отрезав кусок, макают его в бульон. Еда совершается торжественно.

Потом все одеваются. Теперь предстоит запрячь собак, перенести на нарту железную печь и погасить огох. Когда это сделано, снова садятся пить чай.

— Зачем?

— Тепло запасти на дорогу,— говорит мне Федор.

На том берегу пролива четкой белой линией обрисованы вершины Святого носа. До него более 75 километров. Часа два мы идем по сравнительно ровному льду. Потом начинаются невысокие торосы. Еще через полчаса перед нами встают огромные горы торосов. Безобразные глыбы льда, грядами до 10 метров высотой, едва запорошенные снегом. Их невозможно пересечь с санями. Идем отыскивать дорогу. Скользя по



Берег с ископаемым льдом на острове Большом Ляховском

склонам торосов, проваливаясь по пояс в пустоты, предательски закрытые снегом, с трудом взбираемся на вершину высокого ледяного холма. Куда ни посмотри — всюду такие же гряды, с ничтожными пластинками невзломанного льда. Море торосов. Но в одном месте гряда несколько ниже. За ней небольшое, но сравнительно ровное поле. Пытаемся пробиться в этом месте. Один идет вперед. Двое по его следам срубают кирками целые глыбы и, размельчая в куски, слегка ровняют дорогу. В хребте прорубается брешь — зеленоватая дорожка из крупных ледяных кусков.

Теперь можно продвинуть нарту. Один впереди упряжки показывает дорогу собакам, другой — у дужки нарты. Недолго тянут собаки. Заклинивается нарта между двумя глыбами льда. Освободить ее можно, только вырубив киркой держащие нарту куски. Затем нужно, упершись, притянуть за потяг одной рукой собак, рвущихся за ушедшим вперед человеком, сразу отпустить и другой рукой рвануть нарту со всей силой в один момент с собаками. После нескольких рывков нарта обыкновенно освобождается и движется несколько десятков метров до нового препятствия. И снова слышится хруст льда под кайлой, снова натужные крики красных и потных людей.

— А, батта, батта! Серый, вперед! Батта!

Через полчаса такого пути сбрасываются дохи, кухлянки, даже меховые жилеты и шапки. Теперь головы у нас повязаны платками. Даже руки без рукавиц, а мороз 30°. И от людей, и от собак густые клубы пара.

Ширина взломанного поля была не больше одного километра. Но, чтобы пройти этот километр, нам пришлось потратить больше двух часов.

Наконец, они позади. Часа два-три идем по сносной дороге, потом опять торосы.

Не любят промышленники торосов, но проходят их мастерски. Вспоминая свои первые скитания в торосах у Новой Земли, когда с грузом мы проходили за целый день только пять или шесть километров, я должен признать, что мы были плохими, неопытными каюрами. Вероятно, такими, как мы, были и другие, рожденные на юге, полярные путешественники. С такими каюрами, как островники, даже в полярном бассейне можно бы делать по тридцати километров.

Ширина пролива около семидесяти километров. Промышленники обыкновенно пересекают его в один день. В этот раз нам пришлось заночевать немного дальше середины его.

Быстро раскинули Василей и Петра защитную стену от ветра — полог с нарты — и развели костер из дров, взятых с собой на такой случай. Напившись горячего какао, мы улеглись под торосом в спальные мешки и довольно хорошо проспали до рассвета.

Когда я вылез из мешка, солнце еще не выходило из-за горизонта. Носились в воздухе мельчайшие кристаллы замерзших

испарений от нашего лагеря, но небо было безоблачно. Только выше гор Святого носа, застывших в розовом воздухе, как нарисованные, висели слоями одно над другим три розовых облака. Я не стал дожидаться свертывания лагеря и через пролив пошел пешком.

Сто лет назад жил в Устьянском крае бездетный старик Сыпсай. Задумал он построить две поварни — у Святого носа и у Аджейгардаха. Говорил старик:

— Нет у меня сына и внучат. Помру — некому будет вспомнить, что жил на свете охотник Сыпсай. Если построю поварни, быть может, люди, которые будут отдыхать в хороших поварнях, вспомнят, помянут и меня добрым словом.

Сыпсаева поварня на Святом носу,—зовут ее „Чай-поварня",— подгнила, еле держится. На полу вековые отбросы, никогда не выметавшиеся, толщиной около метра. Теперь в избушке стоять можно, только согнувшись. Люди давно забыли про имя Сыпсая и хорошее его побуждение. Из островников один Василей слыхал про старика. А имя его узнал я от Сыллагая.

В Чай-поварне мы застали две островных артели с Малого острова — одна с Надыбиным во главе и другая — Митрофана Иванова — с Котельного острова. Тут же был Киргелий Бочкарев, сухой, подвижный, лучший на островах охотник за оленями. Этот прибежал в Чай-поварню пешком из становища Зимовье. С нашим приходом в избушке собралось одиннадцать человек, а снаружи—около восьмидесяти собак.

Я застал в избушке одного Надыбина. Остальные ушли в горы у Святого носа на охоту. Скоро охотники вернулись. Первым пришел Митрофан Иванов, выборный староста или „князь" всех островных артелей. Он хорошо говорил по-русски. За Ивановым подошли и другие—молоденькие спутники его и товарищ Надыбина—якут Марков. Эти вернулись с добычей. Недалеко от Святого носа убили трех оленей. Часа через два олени были привезены. Собаки получили по хорошему куску мяса. И у нас на железной печке в ведре лучшие кусочки оленьих туш.

На следующий день начался довольно трудный переход через горный хребет Святого носа. Пять нарт одна за другой растянулись, как звенья цепочки, по голым безжизненным склонам по перевалу у горы Хаптагая.

Дав отдых собакам на перевале, каюры наши пустили упряжки полным ходом под гору. Из-за тормозов понеслись потоки снежной пыли; в некоторых местах погонщики, вися на нарте, тормозили ногами. Но, несмотря на это, нарты неслись со скоростью поезда. Меньше чем в полчаса мы оказались на морском берегу у полуразвалившейся поварни — Горохов стан. Теперь предстояло пересечь широкую губу Эбеляхскую. Лед в ней замерз совсем спокойно. Несколько раз пересекали мы следы диких оленей, прошедших куда-то на север. Собаки, за-

чуяв след, всегда прибавляли ходу. Верстах в пяти от берега наша запряжка словно взбесилась. С визгом и лаем собаки понеслись по направлению берега. Не понимая, что случилось, я спросил каюра, что он видит. Он ответил:

— Жилье почуяли.

Здешние ездовые собаки — одни из лучших в мире. Если спросите колымчанина, где лучше, он скажет:

— Наши колымские собачки беда хороши. А сказывают люди, что лучше наших — на Лене.

На Лене скажут, что лучше ленских — аллаихские или устьянские. В Устьянске говорят, что на Колыме собаки хороши для быстрых переходов на легкой нарте, но колымский подбор не сделает с грузом четырех тысяч километров, которые покрывают за одну весну собаки островников.

Старики говорят, что измельчали собаки, стало их меньше.

Теперь трудно подобрать безукоризненную упряжку.

В самом деле, в Устьянском крае порода собак теперь довольно пестра. Наряду с прекрасными чистокровными лайками, по большей части серыми, широкогрудыми, с точеными ушками, с волчьим прямым и коротким хвостом, встречаются собаки со слегка повислыми ушами и довольно слабой шерстью. Но таких немного.

Обыкновенная нагрузка на одну собаку островников колеблется между 30 и 40 килограммами. Весной, когда дорога особенно хороша, промышленники, выезжая на острова, нагружают нарты с четырнадцатью собаками до пределов возможности, иногда пудов до 60, иначе говоря, на собаку приходится до 70 килограммов. Здешняя нормальная упряжка состоит из двенадцати собак, из которых две — передовые. Обыкновенно одна из них — главный передовой „бастын", вторая — запасной, обучаемый.

Собаками управляют исключительно при помощи голоса.

Запрягают их длинным цугом — парами, одна за другой. Несложная сбруя собаки, или „алык", к концу переходит в ремень с палочкой, которая закладывается в ременную петлю потяга. Вдоль этого потяга парами на таком расстоянии, чтобы собаки не мешали друг другу, вделаны петли. С нарты видишь два ряда пушистых комочков с поднятыми кверху хвостами. Быстро мелькают лапки. Иногда собака кидается в сторону, хватает снег и снова налегает на алык. Только рядом со следом нарты остается продолговатый желобок. Плотно влегли в алыки передовые. Главный передовой — весь внимание. Его язык всегда на стороне, высунулся красной тряпочкой из открытой пасти, в такт дыханию вырываются плотные комочки пара. Вот препятствие — подъем или торосы. Передовой удваивает усилия, но сзади, где запрягаются обыкновенно ленивые, собаки замедляют ход и останавливаются. Передовой жалобно тявкает, пытаясь рывками сдвинуть нарту. Ему вразброд помогают другие. Но в трудном

месте нарты им не сдвинуть. Каюр помогает, бранясь. Нарта снова трогается с места.

Хороший каюр должен помочь собакам, не допуская остановки нарты. По этой причине „езда“ на собаках, особенно с груженой нартой, там, где нет дорог, понятие весьма относительное. Иногда половину пути, а то и всю дорогу приходится бежать рядом с нартой. Темперамент собак не переносит изменчивости нагрузки. Идя безостановочно, собаки утомляются меньше. Всегда при виде хотя бы небольшого подъема все сидящие на нарте соскакивают и бегут с нею рядом, а в самых трудных местах помогают тянуть,— лишь бы не допустить остановки нарты.

Даже плохие собаки берут с остановки галопом. Потом упряжка успокаивается и бежит ровной рысцой. Рысца мало-помалу замедляется. Хороший передовой не допускает снижать темп бега. После трудной дороги он налегает на алык с удвоенной силой, тявкает, всеми силами стараясь сохранить быстроту движений, на которую способна упряжка. Но эти уловки передового не помогают, когда собаки уже утомлены. Тогда каюр сам начинает применять всевозможные бодрящие средства.

У хорошего каюра на пути, где он обычно ездит, есть в промежуточных поварнях корм. Он неизменно дает у этих мест собакам по рыбе. Собаки запоминают эти места. Завидя поварню, где когда-то дан корм, они несутся вскачь. Достаточно трем-четырем собакам, вспомнив, внезапно удвоить усилия и перейти в галоп, как вся упряжка обязательно заражается и несется некоторое время, как бы собаки ни были утомлены.

Ездок на собаках знает все слабости собачьего темперамента и пользуется ими. Если он завидит издали куропатку, оленя или песца, он, приучая собак, неизменно повторяет одни и те же слова, вроде: „Хара бар! (черное видно)“, или: „Кыл бар! (зверь, зверь)“.

Привыкнув к таким словам перед встречей зверя, собаки обыкновенно при подобном окрике настораживают ушки, а наиболее горячие кидаются вскачь. Точно так же задолго до поварни каюр начинает понукать словами „Кор бар!“ или „Кор догор! (близко дом, дом друга)“.

Когда собаки совсем утомлены, и никакие восклицания уже не помогают, применяется другой метод: собакам дается небольшой отдых; иногда их кормят рыбой, а в это время один из путников быстрыми шагами отправляется вперед. Собаки, видя впереди темное пятно, обязательно начинают рваться вслед, но их не пускают. И, лишь когда путник почти скроется из вида, каюр трогает с места нарту, а упряжка с воем и лаем несется вскачь за ушедшим. Когда собаки догонят, человек, пропуская упряжку, прыгает на нарту, а собаки идут тем же темпом, что и в угон. Если идущий впереди не хозяин, или человек, к которому собаки не привыкли вполне, он, увидя запряжку метрах

в 10—15 от себя, должен быстро отскочить в сторону,— иначе вся запряжка набросится на него и жестоко потреплет.

Еще один прием употребляется, когда из утомленных собак хотят выжать последние силы. Несколько раньше собак, после остановки, выезжает вперед человек на оленях. За оленем собаки несутся, не помня себя, с каким угодно грузом вскачь. Здесь уже не упряжка собак, а стадо диких животных на охоте. Вот это стадо начинает догонять оленя. Уже бьет в ноздри аромат животного. Еще одно усилие — и вся стая вопьется в добычу. И в этот самый момент едущий на оленях круто сворачивает в сторону, вся запряжка проносится мимо и, разгоряченная, бежит еще несколько времени таким же темпом. В это время олени после короткого отдыха, необходимого им, стороной обгоняют запряжку собак и снова показываются на пути. Снова начинается погоня. Применяя такой способ, мы проехали от Налла до Устьянска 55 километров в три часа.

Только с надежным передовым можно ездить в угон оленям. Передовой должен рвануть упряжку вперед, в то время как остальные при быстром повороте оленей кинутся в их сторону. Что произойдет в случае, если передовой не удержит остальных? Олени будут разорваны в несколько секунд.

Мне в Казачьем пришлось выступить на суде в качестве ответчика за одну из упряжек островников, в которой шли и наши собаки.

В становище Налл вблизи дороги паслись олени. Передовой этой упряжки не мог отвлечь собак. Несмотря на то, что правивший нартой Федор Говоров пружил хореем изо всех сил, а другой человек висел на нарте, бороздя снег, собаки не остановились. Как стая волков, они врезались в оленье стадо. Из юрт выбежали люди, колотили собак и отрывали их от оленей. Но совладать с одичавшими животными в такой момент невозможно. Один олень был загрызен, два других поплатились серьезными ранами. Собак можно было оторвать от добычи только с куском мяса в зубах. Вот за этих-то собак пришлось мне отвечать.

Когда дорога хороша, а собаки свежи, хорошо проходят дорожные дни. На нарте обыкновенно два человека. Проводник-якут мурлычит бесконечную песню. Иногда люди соскакивают, бегут рядом. Потом опять на нарту. Острый взгляд проводника-промышленника скользит по простору тундры. Он видит все, что недоступно взгляду новичка, не бывавшего в тундре. Видит полузанесенный снегом след песца, пробежавшего две недели назад, отпечаток веера крыльев куропатки, старый след оленя и даже маленькой мышки. Все это отмечается в его уме с необычайной отчетливостью, которой мы понять не можем, но которая через несколько месяцев поможет ему не только вспомнить виденное место, но и прочесть, что тут произошло в его отсутствие.

Редко, очень редко пересечет караван след чужих саней. Житель тундры знает, чей это след. Если не знает, то при первой же встрече с людьми будет выяснено по характеру его, чья незнакомая нарта взбороздила след. А если не выяснит, то испугается.

Вглядываясь в даль, человек напевает. Песня прерывается только при необходимости холодными руками набить трубку и, обернувшись спиной к ветру, раскурить, или при встрече препятствия: торосов, оврага или гладкого, обнаженного от снега, льда. Так тянется день. По бездорожью, руководствуясь неуловимыми для новичка приметами, движется маленький караван. К вечеру собаки начинают уставать. На препятствиях останавливаются. Если же дорога гладка, замедляют темп. Мерзнут руки и ноги у проводника. Чаще и чаще люди соскакивают с саней, чтобы согреться на бегу. Темнеет.

И вдруг собаки, что-то почуяв, несутся вскачь. Через несколько минут перед вами признаки жилья. Поварня.

Начинается обычный, твердо установленный порядок приготовлений к ночлегу. Собачий потяг надвязывается длинной веревкой. Конец ее крепится к воткнутому в снег хорею, и в петельки этой веревки вдеваются палочки от алыков. Теперь собаки привязаны по одной. Они располагаются длинным цугом в таком расстоянии, что не могут дотянуться одна до другой. Второй человек в это время раскапывает поварню, если она занесена, ставит железную печь и растопляет ее. Дрова готовы: на островах существует обычай при отъезде из поварни оставлять после себя запас сухих дров, сухой растопки и льда для воды.

Скоро печь разгорается, и поварня наполняется теплом. В ведре или чайнике растопляется лед. В это же время дают собакам корм. Пока варится несложный обед, путники чинят изорвавшуюся сбрую и одежду, колют дрова на утро и строгают растопку. Сразу после обеда и чая, раскладывая на нарах-оронах или на полу оленьи шкуры, все готовятся ко сну.

Такой же распорядок был и у нас.

Северная часть устьянской тундры умеренно возвышена. Невысокие, очень пологие холмы или ровная местность в промежутке между отдельными группами гор с множеством больших и малых озер и лужиц. Вся эта местность не населена. Только в отдельных местах, большей частью у берега моря, стоят отдельные поварни. Первое жилье — на Муксуновке. У устья этой речки и у Ванькиной есть несколько избушек, принадлежащих тунгусу Конону Томскому. Мы подъехали к его избушке поздним вечером. Нас встретили лай собак и переполох обитателей. Гости здесь бывают только несколько раз в год.

После утомительных переходов по безжизненной тундре и ночевок в холодных поварнях (последняя была без двери) человеческое жилье представляется верхом комфорта. Можно, оставшись в одной фуфайке, высушить основательно одежду, не нужно

беспокоиться о дровах, воде и ужине. Гостеприимные хозяева обидятся, если гость сделает лишнее движение в сторону самостоятельности. Везде на севере гостя усадят на почетное место, для сна хозяин уступит свой орон. Через десять минут напоят чаем с юколой и строганиной. А к обеду маленький качающийся стол будет заставлен яствами, которые хранились год для гостя или для самых обильных обедов в большие праздники.

Молодым парнем взят был Томский биологом Бирулей, участником экспедиции Толля, в качестве рабочего. Он летовал с этим исследователем на Новой Сибири. О летовке Томский вспоминает, как о времени неслыханного блаженства:

— Еды было сколько угодно. Консервы были, какава, сахар и молоко в банках — целые ящики. И Алексей Андреевич из собственных рук подносил иногда даже чарку „арги". Хороший человек. Я всегда его, как отца, вспоминаю. А работа какая — настрелять оленей, да покормить собак, да дров приготовить. Когда Алексей Андреевич уезжал, расплатился он со мной без всякого обмана и даже прибавил за усердную работу. А лучше всего пожелал он мне: „Желаю тебе, Конон, чтобы было у тебя много оленей и много детей". И вот с этих самых слов и началось мое счастье. Стало у меня много оленей и много детей. Смотрите, сколько. Да еще не все тут.

В самом деле, тесная избушка полна ребят. Они, дичась, попрятались теперь по углам и высматривают, как мышки из норки. Каждое мое движение,— вижу,— отпечатывается в их мозгу навсегда. И нож у меня иной, и беру его иначе, и, вместо трубки, у меня во рту папироса. И странные вещи у меня имеются: карманный анероид, часы, в которых сама движется стрелка, и странный предмет вроде тонкого кусочка льда, за которым ничего нет, но, если к нему близко придвинешься, увидишь грязную мордочку с такими же черными, как у братьев, косыми глазами или грязную ручонку. И говорю по-иному, непонятно.

От урасы Томского до Казачьего тридцать пять „кез" собачьих и двадцать оленьих. В северной Якутии мера пути — „кез". Вначале нам было дико воспринимать такое разделение мер длины на оленьи и собачьи. Но в этой кажущейся нелепости одна из сторон предметного мышления. „Кез", в сущности,— время, потребное для варки чая из куска льда, иначе говоря — единица времени. Понятие получится совершенно наглядное, его в конце концов в среднем можно перевести и в километры. Грубо говоря, до Казачьего двести пятьдесят километров.

После Муксуновки места считаются населенными. И, в самом деле, мы ехали почти что по дороге, точнее говоря, по старому следу чьей-то нарты. Иногда встречались пересекавшие этот след другие следы оленьих запряжек. Чаще попадались на пути поварни. Однако на ночлег нам пришлось остановиться в низкой землянке-поварне без двери и огоха.

Мы двигались быстро, делая за день по 80—90 километров. Зимой дорога здесь ровная, без заметных возвышений, и местами она пересекает мелкие заливы, в которых тут и там торчат кусты травы и плавник. Летом здесь эта местность почти непроходима. Берег моря очень отмел, он не имеет даже постоянной границы. Море то надвигается на берег при ветрах с морской стороны, то уходит далеко, когда подует ветер с берега, оставляя множество мелких озерков и лайд с соленой водой. Такова почти вся местность от Муксуновки до устья Яны.

Ближе к устью тундра меняет характер. Появляются кое-где отдельные, трудно отличимые от травы низкорослые кустики полярной ивы.

Перед самым устьем Яны зачернела на горизонте какая-то полоса. Подъехав ближе, мы увидели, что эта полоса состоит из сплошной заросли корявых, перепутанных кустарников ивы, не превышающих человеческого роста. Кустарник рос на берегу маленькой янской протоки, называемой Мохнатка, вероятно, по обилию мохнатых обрамляющих протоку кустиков.

На льду этой протоки мы увидели первую настоящую, хорошо укатанную дорогу. Она лишь местами занесена была следами недавней метели.

С устья Яны начались ночлеги в теплых юртах. В них при нашем приезде сбиралось множество народа. Какими-то загадочными путями становилось известно о приезде „испидиторов". Люди приезжали за 20—30 километров, чтобы взглянуть на невиданных гостей. То же самое происходило во всех попутных урасах. В каждой мы неизменно останавливались ненадолго, выпить чашку чая.

К югу от небольшого селения Налл, где застали мы разъездную факторию и по случаю ее прибытия большой съезд окрестных промышленников, начинается лес. Сначала попадаются невероятно искривленные лиственницы, на большом расстоянии одна от другой. Потом они становятся гуще и выпрямляются. Около Устьянска, в тридцати километрах от Казачьего по берегам Яны уже настоящий лес низкорослых, но довольно толстых лиственниц.

Устьянск некогда считался городом. В настоящее время этот „город" состоит из одного рубленого домика и пяти якутских юрт. В одной из этих юрт мы переночевали перед последним переходом в 30 километров до Казачьего.

В полярном городке

Мы въехали в Казачье с неожиданной торжественностью. Приезд островников с севера каждый раз большое событие в Казачьем.

Но в этот раз „капсэ“, * перегнавшее нас на двое суток, оповестило жителей полярного городка о том, что едет с островитянами „испидиция“.

Когда бешено несущиеся к жилью собаки докатили нас до угора, на нем уже было не мало народа. Нарты сразу были окружены, множество рук подхватило их и помогло поднять на угор. На верху его сани остановились. Со всех сторон сбегались обитатели Казачьего с откинутыми назад тунгусскими шапками. Вытягивались из камусных рукавиц руки. Каждый считал долгом поздороваться и сказать свое капсэ, затем отойти в сторону и, разинув рот, смотреть на странное наше, не похожее на местное, полярное одеяние и весь нездешний облик. Когда церемония приветствий закончилась, поднялся спор, куда вести нас. Было решено — в „спалком“.

Исполком — две низкие рубленые избушки, соединенные сенями. На плоской крыше его — несколько саней и небольшой красный флажок. Рядом полузасыпанный метелью возок, куски голубого льда — запас воды — у входа.

Внутри — нечто среднее между якутской юртой и русским домом. Вместо камелька — железная печь. На стене портреты вождей и агит-плакат, на котором изображена история тойона и хамначита.

На плакате одетый в пеструю рубашку пузатый тойон, с войлочной шляпой на голове, надменно смотрит на стоящего перед ним полураздетого покорного хамначита; поодаль у хотона полуголые хамначитовы ребята. На плакате история эксплоатации забитого хамначита и путь его освобождения. Впоследствии этот плакат гостеприимно встречал меня во всех более чистых юртах на длинном пути от Ледовитого моря до Якутска. Он являлся как бы символом приобщения хозяев юрты к современности.

---

* „Капсэ“ — разговор, весть.

В исполкоме встретили нас приветливо. Заместитель председателя сразу отвел помещение в читальне клуба и самолично отправился таскать дрова и топить промерзшую комнату. Мы довольно оживленно разговаривали, хотя собеседник не говорил по-русски. Отдельные слова вроде „кыхыл-армия“, „хамначит“, „белобандит“ вместе с оживленными и выразительными жестами и с моим запасом якутских слов дали понятие о несложной истории молодого работника, прошедшего с красными партизанами по всей Якутии. А теперь он временно осел в самом северном исполкоме Якутии в качестве работника на все руки, начиная с заместителя председателя и кончая сторожем.

Клуб в Казачьем — довольно странная постройка.

Она состоит из четырех срубиков, прилепленных один к другому. Два из них побольше. Стена между ними прорублена, получился довольно обширный на здешний масштаб зал. Устроена сцена с занавесом. На стенах и перед сценой на кумачных полотнищах лозунги на якутском языке. Раз в неделю или две собираются сюда закутанные в меха узкоглазые жители. У входа колотят по меховым торбасам палочкой или обухом своего ножа и, сгибаясь при входе в низкую дверь, протискиваются в холодный зал и терпеливо ждут начала спектакля.

Я был на одном представлении. Пьеса шла на якутском языке. Поневоле пришлось перенести внимание с артистов на зрителей в зале, сизом от дыма крепкого балаганского табака. Зрители в большинстве молодежь.

На следующий день я успел побывать чуть не во всех домах Казачьего и в факториях.

Дома факторий — лучшие в Казачьем. Они остались в наследство от купцов. Дом „Холбоса“ (объединение кооперативных обществ) имеет даже крышу, и не простую — железную. У факторий всегда несколько оленьих запряжек. Понурые, стоят с прекрасными задумчивыми глазами заиндевевшие олени, пока хозяин сдает пушнину и набирает в лавке товар. У кладовки большие весы. Здесь на морозе отвешивают кулями муку, пилят двуручной пилой мясо и рубят топором куски замерзшего масла. Всюду бродящие собаки подбирают крошки. У фактории целый день толчея. Люди все в кухлянках с откинутыми назад шапками-бэргиэге. Почти у каждого в руках мешок или сверток. Скуластый якут, заведующий факторией, ловким движением рук встряхивает шкурки принесенных песцов, дует на них, подносит к свету, глядя на ворс, и объявляет цену. Почти всегда следует короткий торг, касающийся не качества песца, но платы за него. И промышленник и приемщик оба знают в точности качество шкурки. Но промышленник почти всегда за шкурку хочет получить дефицитный товар, а не деньги. Приемщик же соразмеряет выдачу этих товаров с отклонением качества песца от основных норм, а также со многими другими обстоятельствами. Он должен помнить наизусть долг промышленника, учесть его

действительную нужду в товаре и не забывать о том, что завтра, быть может, придет новый промышленник с большой партией пушнины, которую нельзя упустить. Никогда промышленник не сдаст крупную партию сразу. Он обойдет все фактории, держа подмышкой одного песца в платочке. Приемщик должен угадать, а лучше — знать, каков весь промысел человека, пришедшего с одним маленьким узелком, обязан быть в курсе его семейных потребностей и других обстоятельств: сколько выиграл или проиграл в карты, сколько отдал или получил за долги.

К концу дня стены фактории покрываются почти сплошным ковром рядами висящих песцов. В продуктовой лавке толпятся сдавшие пушнину.

Наконец, закрыта дверь за последним посетителем. Усталый зав принимает участие в сортировке принятой пушнины. Теперь она расценивается без побочных соображений, точно по сортам, и снабжается деревянными бирками. Большими связками кладут помощники пушнину в мешки. Когда накопится много, ее отправляют в Булун запакованной в огромные кожаные, похожие на почтовые, чемоданы. А в это время в ста — трехстах, а может и в шестистах километрах выгрузит промышленник у своей урасы несложные предметы обихода и провизию.

Второй людный домик — в длинном срубе из тонких бревен. Над одними дверьми надпись по-якутски: „Амбулатория", над другими — „Аптека". Внутри против первой двери скамейка для ожидания и ситцевая занавеска. За занавеской маленький самодельный шкафик с лекарствами. На самодельных же полочках бинты, вата, бутылочки, свертки и несложные инструменты. Против входа — ветхий венский стул, столик с лекарствами, с чашкой, полной хирургических инструментов, рядом таз с тампонами ваты, окрашенными кровью и гноем.

На скамье ожидания три-четыре человека, почти все больны глазами. Редкий с перевязанной рукой. Целыми днями фельдшер занят промывкой слезящихся век, впусканием капель и раздавливанием трахоматозных зерен.

Каждый приезжающий в Казачье,— безразлично, болен или здоров,— обязательно заходит в больницу выпросить иоду, ваты, бинтов и порошков „от ревматизма" и „для головы". Фельдшеру трудно отказать. Человек приехал за 200 или 300 километров, а ему все болящие соседи наказали привезти лекарства. Остается или выдать лекарство, или ехать самому. А ехать нельзя по пустякам. Во время отъезда может приехать гонец из местности, не так отдаленной, от больного, требующего неотложной помощи.

Больница в Казачьем — завоевание революции. Прежде все население Устьянского округа было предоставлено лечению собственными средствами. А собственные средства,— выжигание язв раскаленным железом, остановка крови — замазыванием человеческими экскрементами, лечение порезов и ран — настойкой из

дождевых червей и оленьих личинок-паразитов; все же остальные болезни лечились камланием шаманов.

— Теперь иное,— лекарства сюда нужно доставлять пудами,— говорил мне фельдшер.— Просят со всех сторон. Быть может, человек и не болен, но как могу я проверить? Ничего не поделаешь, даю обычные лекарства и радуюсь, что ими заменяются знахарские и шаманские средства. Теперь аспирин цинковые капли, иод и слабительную соль знают в каждой юрте. Приходится каждому посетителю читать лекцию о чистоте, об уходе за ранами, о том, как избежать заражения трахомой, приучать к согревательному компрессу. Когда приехал сюда, трудно было, руки опускались. Больных принимал с женой-якуткой. Она была за переводчицу. Теперь научился, за два года, объясняться с якутами о болезнях на их языке.

Вся жизнь обитателей Казачьего — за занавесками. Служащие факторий, фельдшера (в Казачьем есть свой ветеринарный пункт), два учителя и партийные работники размещаются в тесных домах и юртах, разделенных занавесками на клетушки.

Люди живут на виду, зная друг о друге все. Якуты не знают другой жизни, но некоторые пришлые работники этой неустроенностью тяготятся. Они смотрят на жизнь здесь, как на временную.

В Казачьем „двадцать три дыма“. Поселок раскинулся на пригорке левого берега Яны. Если отойти от Казачьего на километр, увидишь невысокую, потемневшую от времени колокольню без креста и несколько домиков по сторонам ее. Вокруг домиков и между ними какие-то темные кучки, похожие на тундровые байджерахи,— это якутские юрты.

Поселок вырос после перевода сюда административных учреждений из Устьянска. Казаки были поселены в этом крае для сбора ясака. Поселенцы эти с течением времени совершенно утратили русские черты, некоторые забыли даже русскую речь. Все путешественники, посетившие Казачье до революции, описывая казаков, отмечали, что черты их почти не отличались от туземного типа. В последнее время перед революцией казаки занимались, как все местные жители-тунгусы, главным образом охотой, рыболовством и перевозкой грузов. Единственным отличием и привилегией казаков был получаемый с момента рождения всеми казаками паек на каждого члена семьи мужского пола, безразлично, рожден ли ребенок был от замужней, вдовы или девицы. Да еще право носить шашку и засаленную фуражку с красным околышем.

Есть еще один вид промысла в Казачьем — охота на гусей. Весной, когда обнажаются проталины, а на Яне, посиневшей и вздувшейся, протянутся у берегов темные водяные забереги, все жители от мала до велика ждут весеннего перелета. И вот, наконец, показались на бледном небе четкие треугольные ниточки гусиных стай. За первыми вестниками птицы летят сплошной

чередой. Они снижаются у открытой воды, садятся в каждую лужицу, другие тянутся дальше. В воздухе стоит свист крыльев. Он смешивается с весенними шумами, с журчанием ручейков, с уханьем пластов оттаявшей земли на ярах.

Везде, на плоских земляных кровлях селения, на пригорках и на мысах, сидят в это время, обернувшись лицами к югу, люди с дробовками в руках. При приближении гусиной стаи охотники начинают кричать, с удивительным искусством подражая гусиному гоготанию: „лы-ы-глы“, „лы-ы-глы“. Часто, заслышав крики, стая снижается и начинает искать место для спуска. Тогда отовсюду взлетают к небу белые дымки, слышатся выстрелы, и падают, ухая, крупные птицы. Мальчики, не имеющие ружей, мчатся добивать палками раненых и подбирать убитых.

Птица валит валом в течение нескольких дней, а иногда и неделю. В это время ночи уже нет. Охотники почти не спят во все время пролета. Второй сезон охоты на гусей начинается в августе во время линьки.

Если выйти ранним утром на улицу, увидишь в морозном воздухе ряд высоких столбов дыма над каждой юртой. Вечером к небу поднимаются из труб высокие столбы искр: в Казачьем топят почти круглые сутки. Во всем селении нет ни одной голландской печи. Даже в лучших домах Сибгосторга, Холбоса и Якутторга и в больнице — всюду железные или чугунные печи. С утра видишь на дороге из леса упряжки собак или оленей. На нартах — дрова. Дровами завалены площадки и улицы. Груды дров внутри помещений. Устьянская больница, по площади не превышающая средней городской квартиры, сжигает в зиму около 150 кубометров дров.

После полудня реже видны нарты с дровами. Теперь люди толпятся в факториях, у исполкома и в лавках,— это дневные клубы казачинцев. Когда необходимо отыскать нужного человека, идут по учреждениям и лавкам. И только в редких случаях если человека там не окажется, идут на квартиру.

В ясную погоду, когда учреждения закрываются, все Казачье собирается близ складов Холбоса играть в лапту или в футбол. Крепко сшитый кожаный мяч настигает бегущих и чувствительно даже через верхнюю одежду бьет их. Особенным шиком считается свалить бегущего метким и сильным ударом мяча. Когда смеркается, улица пустеет. Редко послышится скрип мягких камусов по твердому снегу, еще реже пройдет в клубах пара усталая запряжка поздно приехавшего путника.

Теперь все население по домам. В юртах, освещенных светом камелька, а у тех, кто побогаче,— огарком свечи, сидят раскуривая трубку за трубкой и беседуют якуты так же, как беседуют во всех уединенных юртах всей Якутии. Единственное отличие — тема разговора. Здесь они обширнее. Сюда сходятся новости из Булуна, из Жиганска, из Верхоянска, Аллаихи и

Русского Устья, приезжают свежие люди, и раз в месяц приходит даже почта из самого Якутска. Оттуда слабым отголоском доносятся вести о жизни всей республики, изредка и остального мира. Преломленные многими устами, проникают в Казачье слова, рожденные в культурных областях, и с трудом, но находят отголоски и здесь.

В Казачьем я застал всех промышленников с Новосибирских островов. Среди населения Казачьего они держались особняком. И на островах и в пути видели мы островников в обстановке исключительно тяжелой, в непрестанной работе, в постоянной нужде и тревоге за завтрашний день. Здесь это были совсем другие люди. Вслед за нами, в следующие дни щегольски подкатывали к Казачьему нарты других островников. Нарты были нагружены песцовыми шкурками и мамонтовой костью.

Островник в эти дни — желанный гость в каждой юрте. Он щедро платит за квартиру и продовольствие. От него можно ожидать хорошего подарка. Каждый островник по приезде в Казачье чувствует себя богачом и героем севера, благополучно одолевшим трудности жизни на островах. Здесь он живет роскошно, отъедаясь крупичатыми булками, кониной, курит дорогие папиросы. Если подвернется возможность достать запрещенного плода — спирта или бражки, островник не пожалеет выбросить за бутылку двух или даже трех песцов. Соблазны жизни особенно сильны после лишений.

На станции мы встречались только с промышленниками Ляховских островов. Промыслы на этих островах считаются более легкими. На Большом и Малом много поварен, и всегда можно найти диких оленей. На дальние острова новичок не поедет. На Котельном и Фаддеевском промышляют артели, во главе которых стоят опытные промышленники, люди исключительной энергии.

Начать с длины пути. Желающий промышлять на дальних островах должен проехать до тысячи километров только для того, чтобы добраться до своей промысловой базы. Каждый промышленник этих островов в год совершает две поездки с островов в Казачье и обратно. В общей сложности нужно проехать от трех до четырех тысяч километров, это только на поездки в Казачье. А осмотры пастей! В каждый осмотр промышленник должен проехать от 150 до 400 километров.

Промышляющий на южных островах имеет возможность в случае недостатка провизии выехать в Казачье еще до начала полярной ночи, уйти вслед за дикими оленями, которые покидают острова около половины ноября, как только замерзнет пролив.

С дальних островов нельзя выехать раньше средины полярной ночи. Бывали случаи, когда море не смерзалось до конца января. Промышленнику с дальних островов нельзя засиживаться долго и в Казачьем. Сдав пушнину, он сразу же отправляется на острова осматривать свои ловушки, иначе он не

поспеет в Казачье к началу мая, когда нужно закупать снаряжение почти на целый год и снова ехать для летовки на острова.

Из островников самым удивительным человеком мне показался Костромин, тридцатишестилетний, на вид совсем молодой якут, по прозвищу „Суорсун“ (Ворон). Он ближе острова Фаддеевского не промышляет. Первым Суорсун построил песцовые ловушки на острове Новая Сибирь, который отстоит от Казачьего на тысячу километров. Много раз, живя в одиночестве на отрезанном от всего мира острове, Суорсун бывал на краю гибели. Несколько раз съедал этот промышленник своих собак и приходил в Муксуновку, везя нарту на лямках. Но каждый год, после короткого отдыха в Казачьем, Суорсун снова отправлялся на промысел.

Я подробно расспрашивал Суорсуна об острове Новая Сибирь, который он знает, как свою винтовку. Рассказывал он многое про животных этого острова, про „деревянные горы“, сообщил предание о гибели на Новой Сибири девяти промышленников, отважившихся до него заехать на остров за мамонтовой костью. Кости этих несчастных Суорсун находил и предавал земле.

Самым тяжелым годом для него был 1924. Море в этот год замерзло только в начале января. В летнее время не заготовил Суорсун провизии на осень,— можно было летом настрелять гусей во время линяния их. Но Суорсуну было недосуг заниматься такой охотой: он починял песцовые ловушки и строил новые пасти в расчете настрелять оленей осенью.

Осень наступила ранняя. В конце августа выпал глубокий снег, а с половины сентября началась оттепель, пошел крупный дождь, затем снова ударил мороз. Весь остров оказался закованным льдом. Дикие олени остались без корма: они не могли пробить слабыми копытами толстого слоя льда, закрывшего траву и мох. Несчастные бродили по югозападному берегу острова, ожидая, когда замерзнет море. Но у берега острова был неширокий припай молодого льда, а дальше плескалось открытое море. В половине октября все животные до одного погибли. Всюду, особенно много на морском берегу, Суорсун и его товарищи находили трупы оленей.

— Беда пришла,— рассказывал Суорсун.— Олени передохли, птицы все улетели, на острове остались мы двое и двенадцать собак. А в море открытая вода. Что делать? Думал — и мы пропадать будем. Съедим собак, а дальше что?

— Разве нельзя было подохшими оленями кормить собак?

— Не ели собаки. Олени от голода умерли, мяса совсем не было, одни кости да жилы остались. На морозе затвердели. Бросишь собаке, погрызет, окровянит себе зубы и оставит. Мы тоже пробовали есть. Совсем нельзя,— тошнит.

По счастью, убил Суорсун медведя. Песцовые ловушки стали осматривать раньше времени ради песцового мяса. Съели

несколько собак. В конце января исчез туман над морем. Оно замерзло, можно было идти. С большим трудом, помогая оставшимся собакам тянуть нарты, добрались до Котельного. На этом острове нашли в погребе немного провизии и в феврале, еле передвигая ноги, приплелись в первое жилье Устьянской тундры.

В те времена, когда Казачье было в руках купцов, на острова ездили артели, снаряжавшиеся купцами для добычи мамонтовой кости. В артели нанимались жители Казачьего, реже — промышленники из Булуна. Промыслов песца на островах в те времена почти не было, тогда шкурка стоила дешево. В первом десятилетии этого столетия цена песцового меха на мировом рынке резко поднялась. В Казачьем появились новые люди, искатели наживы, охотники за песцами. В устьянской тундре все лучшие места, где можно было промышлять песцов, были уже заняты местными жителями. Новосибирские острова, как более отдаленные, были еще свободны. К тому же устьянские жители, устремив все свое внимание на добычу песцов, почти перестали ездить на острова. Это и было причиной появления на Казачьем новой группы „островников", пришлых с юга людей.

Мало-помалу новые люди стали заселять острова. Они привозили по временам богатую добычу, иногда терпели бедствия. Многие искатели, испробовав горя на островах, несмотря на богатую добычу, бросали промысел навсегда.

Другие по неумению или по несчастью разорялись. Из этого переменного состава малу-помалу отсеивались настоящие „островники"— люди, круглый год промышлявшие на далекой окраине Якутии, приезжавшие в Казачье только для сдачи промысла и пополнения охотничьих запасов.

Самым видным из таких пионеров был Михаил Михайлович Санников, купеческого рода. С удивительным упорством, забросив все дела на материке, Санников год за годом ездил на острова, не получая ощутительной прибыли по причине широты своих замыслов. Богатый промысел одного года съедался неудачей другого или каким-нибудь несчастьем. Например, в одно лето пробовал Санников для вывоза мамонтовой кости привезти на острова лошадей. Все лошади пали. Санников сам, без промысла, с трудом добрался до Казачьего. Но Санников дела не бросил. На следующий год отправился с оленями. Падали олени на трудных переходах в северной части устьянской тундры, где не растет белый мох, служащий оленям пищей. Не все олени выжили на островах. Приспособлялись Санников и его товарищи, выбирая более выносливых животных, надергивали руками мох в запас для переезда через пролив. В конце концов стали летовать с оленями. Опыт Санникова и первых промышленников использован. Теперь оленей отправляют на острова возможно позднее, перед распутицей, в середине мая, и уводят с островов в половине ноября, как только смерзнется в проливах лед.

Революция внесла сильные изменения в жизнь островников. Прежде артель редко снаряжалась на общие средства; теперь купец отошел в область предания. Островники снаряжаются на артельных началах. Артель — от двух до четырех человек. Промысел делится на паи, в зависимости от степени участия в расходах по снаряжению. На острова отправляются ежегодно от десяти до пятнадцати артелей. В Казачьем, во время съезда промышленников и на островах бывают общие собрания. На собраниях выбирается старшина — „князь". Он указывает время начала и конца промыслов, решает, когда нужно покидать острова, назначает время увода оленей и судит мелкие тяжбы между артелями. На островном собрании промышленники делят участки. Каждой артели отводится часть острова для охоты, промысла песца и для добычи мамонтовой кости.

Все постройки, возведенные на этом участке, погреба, песцовые ловушки — от трехсот до пятисот на артель, заготовленные раньше дрова и мелкие промысловые орудия артель получает в пользование на один год. Обыкновенно артели год за годом промышляют на одном и том же месте. Думая о своих удобствах и об успешности промысла, они возводят новые постройки, пасти и промежуточные для остановок поварни.

Опыт жизни на островах научил промышленников бороться с трудностями жизни и промыслов. Теперь островники составляют одну спаянную семью. Артель не оставит в беде товарища другой артели. Островник не возьмет чужой провизии, не станет осматривать чужих песцовых ловушек, что частенько случается на материке. Он не забудет перед отъездом из поварни наколоть дров и нащепать лучины для едущей за ним артели, пополнит запас израсходованного им льда, он заботливо закроет дверь, чтобы метель не забила снегом поварню. Но островник уверен, что и ему по приезде в поварню не нужно будет, усталому и иззябшему, делать работу, которую легко исполнить при отъезде, потому что последний бывший в поварне посетитель поступил так же, как он.

По дальним островам

В Казачьем мне пришлось пробыть семнадцать дней. К концу апреля все дела были закончены. Закуплены в кредит необходимые для станции продукты, подобраны с помощью островников семнадцать домашних оленей, которые должны были после летовки на острове отвезти зимой в Казачье наши коллекции.

Мы выехали в полночь на 28 апреля. Конец апреля на севере Якутии считается началом весны. Ночи уже совершенно прозрачны; еще несколько дней пути на север,— и покажется полуночное солнце. Днем уже тает на солнце. Дорога темна и мягка. На Яне местами у берегов вода.

Но весна с трудом проникает на север. Вблизи янского устья попали мы в самую настоящую зимнюю жестокую метель. Не успели отъехать по тундре десятка километров от устья, метель усилилась настолько, что среди белого дня не видно было передовой собаки. Ветер дул прямо в лицо. Собаки старались укрыться от него, прятали морды от несущихся и колющих глаза снежинок и постоянно сворачивали в сторону. В результате, проехав около часа, мы не выехали на морской лед, как следовало, но все еще двигались по слабоволнистой тундре.

Внезапно перед нами выросла какая-то гора. По ней Митрофан узнал, где мы находимся: собаки завезли нас слишком вправо. Пришлось обходить гору слева. Только успела гора слиться с диким потоком несущегося снега, мы оказались на краю какого-то обрыва. Обойдя его, стали править по компасу. Еще полчаса езды навстречу буре. Собаки попрежнему кидались от ветра. Снова встал на пути какой-то откос.

Посоветовавшись, решили мы вернуться к юрте, в которой провели ночь.

— Найдем ли мы дорогу?—спросил я у Митрофана.

— Собаки сами найдут.

В самом деле, меньше чем через час после того, как завернули мы собак на собственный след, они привезли нас к маленькой избушке. Тут живут два брата Портнягины, бывшие устьянские казаки. Мы не застали хозяев дома, они уехали осматривать песцовые ловушки.

На другой день ветер слегка утих. От метели осталась небольшая поземка. Снова выехали на северо-восток. В этот раз мы делали на отдохнувших собаках большие переходы. Перегон от устья Яны до Муксуновки проехали без остановки. Следующая остановка была в ненаселенной поварне, затем в „Чай-поварне“. Сто пятьдесят километров от поварни до станции, несмотря на ужасные торосы в проливе, мы прошли за одни сутки, с короткой остановкой для чаепития уже на Ляховском острове.

Такие переходы были в состоянии совершать только хорошо тренированные собаки Митрофана. Его упряжка известна по всему Устьянскому краю. Из четырех станционных собак только две выдержали путь, но и они под конец совершенно обессилели.

Митрофан Иванов в этот год решил промышлять на Большом Ляховском острове. На Котельный надо было съездить за оставшимся там снаряжением и припасами да осмотреть в последний раз зимой заряженные пасти. Я решил проехать с Митрофаном: нужно было своими глазами увидеть жизнь и промысел на дальних островах. Не задерживаясь на станции, пробыв там всего три дня, выехали мы 10 мая снова в дальний путь, на Котельный остров. Вместо двух утомленных собак Митрофана, припрягли двух лучших станционных.

Иванов — высокий, крепкий мужчина, лет сорока пяти. Если бы не некоторая утомленность взгляда серых не якутских глаз, нето с суровым, нето с страдальческим выражением, Митрофан походил бы на тридцатилетнего. Он бодр, легок в движениях, в темных волосах и в густых коричневых усах ни одного седого волоса. В лице Митрофана заметна большая примесь русской крови. Иванов — единственный грамотный среди якутов-промышленников. В молодости он был улусным писарем где-то далеко на юге в Вилюйском округе. Грамотность наложила печать интеллигентности на его лицо. В отличие от своих собратьев по промыслу, он совсем легко воспринимает понятия отвлеченные, выходящие за пределы повседневной жизни. Ничего не стоило разъяснить ему в течение получаса основные методы топографической съемки и принципы конституции Союза.

Митрофан ходит на острова уже семнадцать лет. Он ученик Михаила Санникова. Если Суорсун может считаться самым отчаянным промышленником на островах, то Митрофан — самый опытный, уверенный и умный. Много лет Митрофан состоял бессменно „князем“. Быть может, привычка быть авторитетом для большой группы людей, быть может, прирожденные качества тому причиной, но каждое слово и действие Митрофана чрезвычайно обдуманны. На Митрофана можно положиться. Он немногословен и точен в выражениях.

Иванов промышлял на всех островах за исключением Новой Сибири, но больше всего на Котельном и на Малом. Большинство пастей,— всего за жизнь Митрофан выстроил около восьми-

сов — поставлено им. И промежуточные поварни на этих островах — тоже его работа. Я спрашивал Митрофана:

— Какая тебе выгода была ставить столько пастей и избушек, ведь ими пользуются теперь другие?

— Мне своей работы не жалко. Если не работать, какой от нас след останется?

Митрофан прямолинеен:

— Детям нашим будет жить хорошо. По-новому. Только я стар. Буду жить до смерти по-старому. Сыну скажу, чтобы шел в комсомол.

На Котельный остров промышленники едут сначала вдоль южного берега Большого Ляховского острова до урасы Ипсы, от нее поворачивают на север, начинают пересечение острова к устью реки Блудной (Булуной). Затем дорога идет через пролив Этерикан к Малому Ляховскому острову, по западному берегу его, до местности Станчик в северовосточном углу этого острова. Пересечение широкого пролива Санникова совершается от Станчика к мысу Медвежьему на острове Котельном. Конечно, нигде дороги никакой нет. Есть только промежуточные поварни, в которых можно переночевать или переждать непогоду.

Все берега Ляховского острова обставлены песцовыми ловушками-пастями. Когда едешь вдоль берега, на склоне его, по пригоркам, в тех местах, где снег не заносит землю, повсюду высятся пасти. Издали они похожи на указующий перст. Этот перст в самых разных положениях указывал нам дорогу до самых Ипсов. От Ипсов мы ехали, пересекая остров по волнистым увалам малых возвышенностей.

Стояла ясная морозная погода. Несмотря на хорошую видимость, взору не на чем было отдохнуть среди бесконечных заснеженных увалов. Когда едешь целый день по такой пустыне, взгляд невольно следит за синей скользящей по снегу тенью нарты да за собаками. Долго смотришь на черные отверстия в снегу — ходы леммингов, на бисерные цепочки — нежные следочки этого зверька. То попадется, похожий на звериный, след мохнатых лапок белой куропатки; отмечаешь, как к следу со стороны подходит размеренный песцовый след и дальше — за оборвавшимся следом куропатки — три-четые ряда симметричных царапин на снегу: куропатка взлетела. На других местах на нескольких километрах не увидишь и этого. Тундра, голая тундра.

Ближе к северному краю острова проехали мы по лабиринту озер Хааз-Тыр, само название которых („Гусиная охота“) указывает, что в летнее время здесь бывает хороший промысел гусей. За озерами начинается возвышенность, с вершины которой открывается широкий горизонт. Отсюда мы увидели на западном конце острова крутые склоны горы Кигилях („Человеческая“), с ее гранитными скалами, похожими издали на окаменевших великанов; на северо-востоке — пологие горы Каврижки и

вдали, в дымке, затернувшей полярное море, — едва заметный Малый Ляховский остров.

Задолго до урасы Булуной, где мы ночевали, в далеком расстоянии от моря начали попадаться торчащие из снега куски древнего плавника. Я не мог сразу объяснить себе находки плавника столь далеко от берега. Быть может, страшный напор льда, или поднятие уровня воды в здешнем мелководном море, после продолжительного ветра занесло его сюда? Лишь впоследствии при сопоставлении с другими обстоятельствами мы выяснили что берег здесь поднимается.

В таком же затруднительном положении оказался я во время маршрутной съемки, когда пришлось определить положение берега у Булуноя. Из-под снега, закрывающего морской лед, выставлялись многими рядами концы плавника. Только по расспросам удалось мне выяснить, что береговой черты, то-есть резкой границы между морем и сушей, здесь не существует. Море настолько мелководно, что дикие олени перебредают в летнее время весь пролив Этерикан, разделяющий острова Ляховские Большой и Малый. При ветрах с суши море уходит за два-три километра от урасы Булуной и подходит близко при нагонных ветрах.

По причине мелководья, в проливе между Ляховскими островами не бывает крупных торосов. Мы встретили в нем только мелкие гряды из нагромождений тонкого осеннего льда.

Берег Малого Ляховского при первом взгляде напомнил окрестности станции: такой же невысокий скат к морю с редкими вспучиваниями — байджерахами, приплеск с редким плавником, и на взлобочках те же указующие персты-пасти.

За Петра-станом впадает в море река Кубалах („Лебединая"). Вряд ли прекрасные лебеди посещают этот суровый полярный остров. Вероятно, название — плод поэтического движения души якута, впервые летовавшего в этом глухом уголке земного шара и вспоминавшего родные покинутые места при весеннем перелете, когда лагуна у устья реки Кубалах кишмя кишит водоплавающей птицей. Во время весенней распутицы к этой реке со всего острова стягиваются промышленники. Здесь, благодаря обилию птиц, они не испытывают в распутицу таких затруднений, как на других островах. Последняя остановка на Малом Ляховском острове — Станчик. Тут стоит небольшая коническая ураса-колыма, построенная Митрофаном в том месте, откуда выгоднее всего начинать поворот к острову Котельному.

От Станчика до Котельного считается больше 80 километров. Мы прошли это расстояние неожиданно быстро — в один день. Утром совсем недалеко от берега попали было в гряду, казалось, совсем непроходимых торосов. После долгих поисков удалось найти между ними лазейку, через которую при помощи кайлы и топора пробили дорогу для нарт. Вторая гряда, шириною около двух километров, закрыла путь уже в середине



Станция на Малом Ляховском острове

пролива. Местами обходя торосы, местами прорубаясь, мы проложили след и через это препятствие. Дальше до самого острова серьезных торосов не встретили.

Не в первый раз дивился я искусству Митрофана находить дорогу и прокладывать курс по компасу. Мне известны случаи, когда водители морских судов, образованные люди, пользуясь прекрасными компасами и лагами, делали крупные ошибки. Едва грамотный якут Митрофан при помощи обыкновенного карманного компаса держал курс прекрасно. Мы вышли совершенно точно в то место к становищу Елисей, куда держали курс.

Недалеко от Станчика осторожно, как величайшую драгоценность, вынул Митрофан из заветного мешочка компас, где хранился он вместе со спичками, огнивом и кусочком трута, поставил компас на снегу совершенно горизонтально и долго ждал, пока успокоится стрелка. Потом хореем провел по снегу черту в продолжение направления, указанного компасной стрелкой. Под некоторым углом к этой черте провел еще вторую, отнес компас на один шаг, обождал, снова начертил две линии. Сверив первый чертеж со вторым, убрал компас и проложил линию до пересечения с резко выраженной застругой. Я понял: Митрофан нашел курс под известным углом к направлению заструг.

Когда мы оставили далеко позади тяжелые торосы, встреченные посредине пролива, и взобрались на хорошо занесенную гряду льда, Митрофан внезапно остановил нарту, начал вглядываться вдаль, потом сказал:

— Стар я стал! Глаза плохо видят.— Но довольная улыбка на коричневых скулах не вязалась со словами.— Посмотри-ка, что это там?

Я вгляделся. Прямо перед нами почти незаметным, совсем неясным силуэтом, похожим на нежнейшее облако, виднелась земля.

— Как будто бы земля.

— Давно ее вижу,— подтвердил Митрофан.

— Думаю, стар стал, себе не верю и глазам своим. Но они еще служат.

Мы выехали точно к становищу Елисей. Виденная впереди земля, похожая на опрокинутый котел, была мыс Медвежий на острове Котельном.

Стан Елисей — маленькая, рубленая из бревен избушка, с плоской крышей и крошечными окнами — единственное пятно на пригорке. Она низка, в рост человека. У трех стен ороны, в четвертой — низкая дверь, в которую нужно протискиваться, согнувшись в поясе. Угол занят камельком, в противоположном углу на тонких ножках столик, около него два обрезка бревна, исполняющие роль стульев, и несколько полочек по стенам — вот внутреннее убранство промыслового стана на северном острове.



На съемке берегов острова Котельного

Когда мы вошли, в избушке было темно, слабый сизоватый полусвет пробивался через окошки, в которые не просунешь и головы. В одном были вставлены осколки стекол, искусно врезанные в доску, в другом — тонкие пластины льда. Несмотря на тесноту, избушка выглядела уютной, особенно когда Митрофан разжег камелек. Этот камелек — гордость Митрофана — и в самом деле был лучшим из виденных мною.

Якутский камелек — „огох“ — представляет собой обыкновенный камин с широкой трубою. Устройство камелька довольно остроумно: внизу небольшой срубик, в три венца, плотно забивается землей. С краю этой земляной площадки ставится в слегка наклонном положении кольцо из жердей. Внутри его — второе. А промежуток между двумя получившимися цилиндрами набивается и плотно утрамбовывается сухой землей. Когда земля утрамбуется, подобно летней дороге, и станет твердой, как камень, внутреннее кольцо осторожно вынимают. Образовавшийся земляной цилиндр для крепости обмазывается изнутри глиной. Теперь остается вырезать отверстие в нижней части и обмазать его глиной,— камелек готов.

Достоинство камелька — быстрое обогревание помещения и хорошая вентиляция юрты, создаваемая тягой воздуха через широкую трубу. Недостаток — огромный расход топлива. Камелек Митрофана отличался особенной тщательностью работы и всевозможными усовершенствованиями для придания прочности и удобств при таянии льда и приготовлении пищи.

На следующий же день после нашего приезда разыгралась буря. Не обращая внимания на метель, Митрофан уехал для осмотра пастей по западному берегу. Я остался с тремя собаками для исследования и съемки южного берега.

Митрофан вернулся через неделю после отъезда сильно похудевшим, с обозначившимися, как у мертвеца, глазными впадинами на пепельно-сером лице. Он задержался из-за сильных метелей и из-за „лета“, которое настало в местности севернее лагуны Нерпалах. Видимо, близко у северо-восточной части была открытая вода: видел Митрофан „темное небо“ всюду — на севере, на востоке; появилось там множество птиц: чаек, турканов и уток-морянок. Добыча Митрофана средняя — 23 песца, медведь, съевший отравленную ворвань, и маленькая нерпа. Предположение об открытом море на севере подтверждается тем, что шкура белого медведя успела подопреть.

На острове Котельном самым интересным участком для меня был почти не нанесенный на карту берег между мысом Медвежьим и рекой Балыктах.

Для исследования этого участка я отправился 25 мая с Митрофаном на полной упряжке собак. На острове Котельном нарождался новый промысел — рыбный. Пионером его был как раз Митрофан Иванов. Давно ходили слухи о том, что водится в реке Балыктах красная рыба. Митрофан первым завез туда

легкую лодочку — „ветку“ и сети. За последние годы он вылавливал в реке Балыктах и в рядом лежащей реке Ньюкола достаточное для него количество рыбы. Хватало для себя и для собак. Уговаривал Митрофан и других островников заняться рыбным промыслом, но до сих пор еще никто не последовал его примеру. Еще бы! Оленья охота с ее приключениями и удачами во много раз завлекательнее скучного рыбного промысла. Тем более — на острове, где температура летом держится лишь немногим выше точки замерзания, где постоянно свирепствуют сильные ветры.

Мы двигались довольно медленно,— задерживали съемка и остановки у каждой пасти. Нарта шла у самого берега, это было очень удобно для составления карты его.

Собаки островников привыкли к объезду пастей. Как крестьянская лошадь в конце борозды, они останавливаются без окрика против каждой пасти и без понукания бегут дальше, как только промышленник садится на нарту. Однообразный берег, торосы в море, мглистый воздух. Пока я вожусь у педометра и записываю отсчеты, маленькая, в белом просторе фигурка моего спутника сливается с пастью, чернеющей на пригорке. Потом отделяется, быстро растет; одна рука отставлена. Только вблизи различаешь: песец или куропатка. Митрофан молчалив и одинаково сосредоточен, когда с осторожностью укладывает в полог на нарте пушистого песца или досадливо швыряет туда же замерзшую в виде лепешки белую куропатку. К концу дня в пологе набирается десяток песцов и около дюжины куропаток. В другом месте осмотрели медвежью пасть. Митрофан сердит на белых медведей: множество пастей — не меньше тысячи — поломали у Митрофана медведи. Раз отведав готовой добычи, медведь идет по берегу и занимается высмотром. Если он очень голоден, ломает все подряд ради насыпанных для приманки мясных крошек. Сытый — ломает только те, где есть попавшийся песец. Такую пасть медведь растаскивает до последних колышков, чтобы легче было отвалить бревно. Бьет нещадно Митрофан медведя из ружья, разбрасывает отравленное сало. Устроил им несколько пастей с двумя рядами тяжелых бревен, которые надо поднимать системой рычагов.

К такому сооружению подошли мы посмотреть, не попался ли зверь. Пасть стояла открытой, и ворвань в ней была не тронута. Следы веднелись рядом с пастью в большом количестве со всех сторон. На одном из бревен остались следы когтей. Видимо, мишка долго ходил, дивясь человеческой хитрости, но не поддался искушению закусить бутербродом ворвани и ушел бормоча: „Поищите дураков попроще!“

В первый день мы сделали небольшой переход. Снег был мягок, по-весеннему уброден и липок. За день не сделали и 20 километров. Остановились на ночлег в небольшой „колыме“ у устья крупной, не нанесенной на карту реки Корга-юрях,—

так называет ее Митрофан из-за торчащих повсюду в мелководном море коряг плавника.

В Корга-юрях решили устроить дневку. Днем дорога стала слишком тяжела. Ночью слегка подмораживает, легче идет нарта, меньше страдают от жары собаки. Митрофан занялся съемкой шкурок, чтобы не везти на нарте лишнего груза. Шкурки снимает он артистически, не торопясь, но быстро. Аккуратно разберет пробор на животе, быстрым и верным взмахом сделает три разреза на животе, в пахах и, ловко помогая ножом, обдирает песца. Минут через десять шкурка лежит аккуратно свернутая.

Митрофан все делает основательно. Если строит избушку,— из-под умелых рук выходит высшее достижение якутской архитектуры. Его нарта велика, но легка на ходу и прочна. Упряжка собак Митрофана — лучшая в Устьянском крае. Собачьи алыки искусно пригнаны каждой собаке по росту. На остановке он не войдет в поварню, прежде чем нарта не будет разгружена и перевернута, собаки накормлены и привязаны, осмотрены их лапы, заготовлен лед и дрова с излишком. Я не видал его ни минуты без дела. Даже во время пути он не потерпит не малейшего беспорядка на нарте и в упряжке, а сейчас же исправит.

Наш следующий переход оказался на редкость тяжелым. С вечера пошел густой снег, пришлось всю дорогу брести по колено в глубоком и липком снегу. Прекрасная упряжка Митрофана с трудом везла почти пустую нарту. Около реки Ньюкола оставили мы в поварне все имущество; теперь нарта шла без всякого груза. Но и это не помогло: собаки выбились из сил и постоянно останавливались. Мы проходили не больше полутора километра за час.

У реки Балыктах сделали мы короткий привал, чтобы осмотреть ее и рядом лежащую Землю Бунге.

К этой земле подходит больше якутское название „Улахан-кумах“ („Большой песок“). Трудно определить в это время года, где же берег ее? Земли не видно. Она отличается от моря только отсутствием торосов. По словам Митрофана, в летнее время тут видна бесконечная, почти не возвышающаяся над уровнем моря, песчаная отмель. Она тянется на сотни верст, беспрестанно меняя очертания участков, граничащих с морем. Только в средине земли есть несколько невысоких холмиков, известных под якутским названием „булгуньяков“.

По находкам остатков доисторических ископаемых животных можно предположить, что и Земля Бунге еще не так давно была похожа на другие острова Новосибирской группы. Так же, как на Ляховских, везде под тонким слоем почвы залегал и здесь ископаемый лед. По какой-то причине разрушение верхнего слоя земли, предохранявшего лед от стаивания, совершилось здесь быстрее, чем на других островах. В конце концов от огромного острова остался один след: отмель, еле возвышающаяся над уровнем моря. Вероятно такая же судьба ожидает

и другие острова. От них останутся лишь отдельные каменистые вершины, окруженные таким же, как этот, песком.

Вернулись мы утром 27 мая. Остатки этого дня и следующий прошли у меня в разборке собранных коллекций. Митрофан же все жердочки под потолком заложил замерзшими песцами. Даже в избушке посветлело. Потом занялся съемкой шкурок.

Наши дела на Котельном были кончены, пора бы уезжать, засушить шкурки можно и на Ляховском острове. На два дня задержала нас метель. Только 30 мая она немного улеглась. Накануне вечером приехали на Котельный якуты из артели Сыллагая-Варламова. Мы их перегнали еще у устья Яны. Эти молодые промышленники долго жили в Чай-поварне, охотясь на оленей, корма для собак у них не было. Убили восемь оленей на материке, восемь на Большом Ляховском острове, а на Малом добыли медведицу с двумя медвежатами. В проливе молодые островники запутались, еле вышли на Котельный. Четыре ночи провели в торосах. К приезду на остров все их жизненные припасы состояли из медвежьего окорока, дюжины сухих оленьих ног и полупуда муки. Напившись чаю, два молодых охотника, не отдохнув от трудного перехода, пошли на охоту,— не удастся ли убить оленя. Я подивился на дерзость молодежи, приехавшей совсем без провизии. Митрофан тоже покачал головой. Повинуясь какому-то душевному движению, он взял три песцовых шкурки и сунул каждому парню по штуке.

— На счастье! Бери, бери! Бери от старого, лови, как я ловил! Мой последний — пусть будет твой первый.

Молодые парни сказали нам, что на острове Ляховском застал их крупный дождь. Там много проталин. Митрофан забеспокоился:

— Не засесть бы нам на Малом! Успеем ли проехать на южный берег на Большом?

Не дожидаясь прекращения вьюги, мы выехали на Малый остров. В начале июня даже на этих северных островах близка распутица. Хотя температура держалась около —5°Ц, и продолжалась вьюга, рисовавшая по-зимнему свои узоры, снег все же был мягок, липок и рыхл. Нарта шла по нему с трудом. Дружная упряжка собак останавливалась перед каждым препятствием, нужно было помогать на каждом торосе. Все же за день мы прошли километров около сорока — половину пути до Малого острова. На ночлег остановились в торосах, сделав из опрокинутой нарты и груза прикрытие от вьюги. 1 июня пришли на Малый остров. Запасливый Митрофан вез с собой из Казачьего кусок листового железа для подбивки полозьев. Теперь лед на них совсем не держится. Железо сослужило добрую службу: нарта пошла в два раза быстрее.

На Малом острове повсюду волнующие картины начала полярной весны. Едва мы выехали на берег севернее Станчика,

над головами резво пролетела стайка краснозобиков. Следом за ней — три поморника и чайки. Щебетали веселые пуночки, свистели кулички. У самой избушки, нахохлившись, токовали самцы куропаток. Они в любовном экстазе и в азарте драки с соперником, не различая ничего, кидались почти под ноги нам. В вышине плыли стада турканов курсом на северо-запад. Птица валила валом. Митрофан хмурился и резонерствовал:

— Во, птица полетела, а мы все еще едем. Не перебраться нам на южный берег! Будем у Булуноя летовать.

Предполагал я на обратном пути с Котельного проехать по восточной стороне Малого острова. Этот берег нанесен на карту пунктиром, только со слов. Когда я сказал Митрофану о своем желании, он руками замахал.

— Что ты, что ты! Залетуем на этом острове. Там поварни одна от другой на сорок верст и дорога плохая. В два раза длиннее. Там собакам и тридцати верст за день в это время не пройти. В снегу все время будем ночевать. И с острова не выйдем, собак погубим. Смотри, совсем лето настает.

Пришлось согласиться с разумностью доводов. В самом деле, словно в подтверждение слов Митрофана, только мы успели съехать с берега Малого острова на морской лед, полил проливной дождь. Всю дорогу через пролив мы маялись, помогая тянуть собакам нарту по вязкой каше снега, пропитанного водою. У берега Большого острова мы тянули нарту по разлившейся на льду воде. Мокрые, задыхающиеся от усталости, собаки ложились через каждые пять минут. Митрофан, почти никогда не бивший собак, в этот раз не выпускал из рук кнута. Дождь не прекращался всю дорогу. Можно представить, в каком виде оказалась наша меховая одежда, когда маленький караван наш, до крайности измученный, дотащился до Булуноя!

В этой поварне пришлось устроить дневку. Мы нуждались в основательной сушке одежды, а собаки по меньшей мере в суточном отдыхе. Но мы вздохнули свободно. Теперь-то уж на своем острове! Если бы снег начал сходить чрезмерно быстро, мы могли бы попасть на станцию кружным путем, вдоль берега, по морскому льду. Он еще долго не стает. На наше счастье в ночь на 3 июня слегка подморозило. Без особенных затруднений, лавируя между проталинами и оврагами, заполненными водой, мы пересекли остров.

События второго года

Если вам нет надобности передвигаться в июне, нет лучшего времени на крайнем севере. Весна добралась и до него. Уже нет разницы в эту пору между ночью и днем. Солнце в полночь стоит высоко над горизонтом. Повсюду быстрые бегут ручьи. Каждый день, выйдя утром, замечаешь, что упорная работа незаходящего солнца подвинулась вперед. Все меньше и меньше становится белых пятен на горах. Какая волшебная перемена! Как быстро исчезла строгая белоснежная пелена на тундре и возвышенностях! Только море одно еще остается белым. Но и на нем у берегов скопилось много воды, а в устьях рек и ручейков везде появились промоины.

Вернувшись на станцию, я не узнал ее окрестностей. Мы покидали товарищей в мае во время сильной метели. Тогда вздымались клубы взрыхленного снега, мелькали через них закутанные в меха фигуры, прятавшие лица и руки. Теперь от тундры поднимался темный пар. Всюду весело шныряли из норки в норку лемминги, толклись на парно́й земле стайки куликов-плавунчиков, грязевиков и песочников. С веселым свистом перепархивали у озерков за байджерахами живые краснозобики. Их веселое щебетанье не прекращалось день и ночь.

Особенно шумливо было при весеннем перелете. С юга стая за стаей тянулись в высоте вереницы гусей; к острову снижались. Впрочем, гуси у нашего становища не задерживались, они летели дальше к озеркам в северовосточной части острова. Туда же летели серые турканы в брачном наряде.

Болотные птицы сваливались стаями в мелкие озерки. В весеннюю пору птицами кишела каждая лужица. Шли токованье, ссоры и драки из-за гнезда. Злые поморники преследовали всю мелюзгу. На вершинах байджерахов, светлые на фоне вытаявшей почвы, стали заметны полярные совы.

Короткое полярное лето действительно внесло в жизнь нашей маленькой группы чрезвычайное оживление, жажду деятельности. Мы постарались использовать теплую пору для исследований острова в самых широких размерах. По два и по три уходили мы в тундру на несколько дней. Иногда с оленями, иногда с мешком за плечами. То тот, то другой приносили

убитых птиц, коллекции растений, грибов, разных водорослей, образцы почв, морских и пресноводных животных, остатки ископаемых или записные книжки, заполненные картографическими материалами. Наш геолог кочевал с островниками по всему острову.

Одна из небольших экскурсий оказалась очень интересной. Мы нашли остатки ископаемого леса. На довольно возвышенном участке, где почва осела в результате таяния ископаемого льда, из нее выглядывали стволы и ветви легко рассыпавшихся деревьев. Здесь были только нижние части стволов с ветвями и корнями; верхние части деревьев сгнили много тысяч лет тому назад. Некоторые деревья лежали на боку, другие находились в наклонном положении, но были и стоявшие прямо. Уцелевшие части деревьев толщиной не превышали 7—8 сантиметров. Наша находка была остатком зарослей ольховников, какие можно видеть и в наше время по берегам небольших речек или озер в более южных областях. Эти деревья в доисторические времена были занесены илом, смешанным с перегноем и остатками различных растений, и оставались замороженными в течение тысячелетий.

Какая-то перемена климата была причиной сохранности этой древней, давно исчезнувшей растительности. Мы провели у „леса" целый день, терпеливо выбирая из почвенных слоев, в которых росли эти деревья, листья умерших растений, дерновинки мха, кусочки обломившихся сучьев, коры и остатки насекомых,—все то, что можете видеть и теперь, если ляжете в летнюю пору на берегу озера у зарослей ольховника и будете внимательно исследовать верхнюю часть почвы.

Из событий этого лета я могу отметить только прилет аэроплана, посетившего новый поселок на пустынном Ляховском острове. Он был первым разведчиком воздушного пути на крайнем севере. Экспедиция была организована Осоавиахимом ради выяснения условий полета над восточносибирским побережьем.

Прилет не был для нас неожиданностью. С представителем Осоавиахима в этой воздушной экспедиции Г. Д. Красинским я разговаривал по радио, после того как самолет, совершив перелет от Петропавловска до реки Колымы, остановился в Среднеколымске. Красинский сообщил, что вылетает на следующий день. После разговора прошла уже неделя. Мы начали думать, не случилось ли несчастье.

16 августа все были заняты обычной работой: одни в своих комнатах, другие на воздухе. Слышался стук топора, размеренный скрип пилы по металлу и звон посуды в кухне. В эти мирные звуки внезапно ворвался гул мотора. Он сдул, как ветром, нашу обыденную работу. Сделав красивый вираж над станцией, аэроплан спустился на воду и подошел под мотором к берегу. Минуту спустя мы встречали гостей: Г. Д. Красинского, летчика О. А. Кальвицу и краснощекого механика Леонгарда.

Только тот, кто прожил год в отдалении от всего мира, может понять возбуждение, овладевшее нашей маленькой колонией. Правда, мы изредка получали новости из внешнего мира при помощи радио. Но разве может сравниться с ним живое слово! Рассказы о быстрых темпах жизни, о чрезвычайном развитии исследования окраин Советского Союза, о работах на севере, чему наглядным примером был прилетевший к нам аэроплан, вести о знакомых, о Москве и Ленинграде, о наших соседях на острове Врангеля — ничто не насыщало: „Рассказывайте дальше!"

Летчики привезли нам почту: несколько писем с острова Врангеля и из Средне колымска и даже подарки: килограмм прекрасного кофе и свежее сливочное масло! Не нужно говорить, что мы постарались устроить гостям покой и заслуженный отдых после приключений во время вынужденной посадки на пути к Ляховскому острову, когда летчикам пришлось провести несколько дней без сна в упорной работе при выводе на воду обмелевшего самолета.

Следующие два дня стояли густые туманы. Продолжение полета в такую погоду казалось невозможным. Все же 18 августа наши гости покинули станцию при весьма ненадежной погоде и при слабом тумане Через два дня мы получили известие от



Остатки мамонта: бивень и части черепа

промышленников о том, что аэроплан пролетел благополучно над западной частью острова.*

Мы много смеялись над разными описаниями полета тремя промышленниками, которые наблюдали полет чудесной металлической птицы в разных местах. Киргелий Бочкарев говорил:

— Ироплан — совсем как большая птица, ныряет, как чайка.

Старик Федор уверял, что самолет машет своими крылышками, как гусь. И только положительный Петр описывал полет вполне точно и ясно:

— Большой ироплан, идет ровно, немножко боком, гудит, как шмель, а спереди что-то блестит, как сияние округ звезды.

Эффект появления аэроплана на дальнем севере, где человек отроду не видал машины, нельзя сравнить ни с чем. Одно дело — россказни новых людей-большевиков о чудесах каких-то стран, где зима коротка, как лето, о „железном следе“ (железная дорога), о домах высотою с гору, где населения больше, чем в целом улусе, о том, что человек в один день делает десятки ножей, о нартах с колесами, о том, что летают люди по воздуху и говорят между собою на расстоянии месяца езды.

Ко всем этим россказням северный туземец относится не то, что недоверчиво, а так, как к шаманскому действию; шаман тоже производит чудеса: вызывает духов, разговаривает с ними, выгоняет из людей болезни в виде червячка и заклинает погоду. Шаману можно верить, но... можно и сомневаться; шаман, попавшийся в неудачном фокусе, развенчивается навсегда. Рассказчик о чудесах культурного мира всегда находится в положении шамана: рассказам можно верить, можно и сомневаться. В особенности, когда большевик начинает завираться, рассказывая, например, о том, что земля кругла, и ходят люди по другую сторону ее вниз головами!

Другое дело — предмет, который можно видеть среди бела дня, ощупать и рассмотреть. До появления аэроплана на Ляховском оставались еще сомнения в правдивости наших рассказов про действительность культурного мира. Было видно, что некоторые из островников с большим подозрением относятся даже к реальности работы радиотелеграфа. Выражались деликатно:

— В Казачьем радива была. Слышали мы, как говорил в трубку голос разные слова. У вас — не слышно. Теперь и думаем, не было ли в Казачьем обмана?

Несколько телеграмм — ответов островникам из Якутска — как будто бы рассеяли сомнения. Но они оставались. Только с появлением аэроплана все сомнения окончательно рассеялись, как туман под лучами яркого солнца. Теперь наши новые

* Бывший на Ляховской станции самолет Юнкерса Ю-176 с тем же летчиком Кальвицей и борт-механиком Леонгардом погиб в марте 1930 года при воздушной катастрофе, случившейся вблизи Сангарских копей на реке Лене ниже Якутска, Кальвица и Леонгард разбились насмерть. Экспедиция Осоавиахима в 1929 году закончилась благополучно.

друзья готовы были даже поверить на слово, что на юге люди ходят вниз головой! Мы (кстати сказать, в глазах якутов мы все большевики, то-есть новые люди) оказались действительными представителями новой жизни, которая скоро придет и сюда, на север. Теперь нам верили, что мы приехали для изыскания путей к улучшению жизни и облегчению ее применением машин. Эти машины были перед глазами, их можно было ощупать. Теперь нам можно было верить.

1 сентября исполнился год с тех пор, как шхуна оставила нас на островах одних. Все рассчитывали в сентябре находиться уже в пути к родным местами. В действительности же — до возвращения осталось еще не менее восьми месяцев. Все же отъезд был не за горами. К этому времени мы уже знали, что на смену едут новые работники, они рассчитывали в декабре по санному пути добраться до нашей отдаленнейшей станции. Пора была и нам начинать подготовку к трудному путешествию по зимнему пути в темное время года.

Мы совсем не рассчитывали на возвращение санным путем. Где добыть в достаточном количестве теплую одежду и походное снаряжение для санного путешествия? У нас было запасено четыре комплекта одежды для исследовательских поездок. Но они в большей части уже отслуживали свою службу. По этой причине осенью нам пришлось заняться шитьем спальных мешков, переделкой меховой одежды, изготовлением обуви, фонарей и разных мелких принадлежностей, необходимых в пути.

Еще хуже, чем с одеждой и походным снаряжением, обстояло дело с собаками. Весной у нас была хорошая упряжка собак. Я отдал их на прокорм лучшему охотнику на острове — Киргелию Бочкареву. Осенью мы узнали о несчастьи, случившемся с собаками: две из них погибли от бешенства, а пять собак были случайно отравлены вместе с другими собаками промышленника. На одной из остановок Бочкарев, найдя в погребе ободранных песцов, накормил ими собак. Это мясо оказалось отравленным: песцы, видимо, попались на стрихнин.

По условию,— промышленник, взявший на прокорм собак, должен был пополнить их убыль или помочь нам выехать с острова. К этому времени у нас уже установились прекрасные отношения с промышленниками-островниками. Даже в том случае, если бы мы остались совсем без собак, промышленники, конечно, помогли бы выехать, как помогают своей артели, оказавшейся в затруднительном положении. 28 октября старшие промышленники Митрофан Иванов и Киргелий Бочкарев приехали на станцию по собственному почину, чтобы условиться о совместном отъезде с островов.

Радушно, как всегда, встретив наших друзей, мы угостили их праздничным ужином. Показали новые фотографии с знакомых мест. В этот вечер я уговорился с Митрофаном о доставке хороших ездовых собак в Ленинград, когда они понадобятся для

давно задуманной экспедиции на Северную землю. А Митрофан сам предложил быть каюром.

На следующее утро я был разбужен какой-то необычайной нотой в голосе Федора Черезова, в комнате которого ночевал Митрофан.

— Митрофан! Митрофан! Что ты?

И тотчас же по нашему дому пронеслась какая-то тревога.

В одном белье, рванув дверь в комнату Черезова, я увидел Митрофана в позе спящего, лежащим на своей постели, устроенной на полу. Федор с искаженным лицом тряс Митрофана за плечо: он, казалось, крепко спал, совсем как после трудного перехода через торосы. Но Митрофан не просыпался. Он был мертв. Среди нас не было доктора, который бы мог точно установить причину этой неожиданной смерти. Если судить по громадному вздутию в области груди, причиной смерти был разрыв аорты.

Во время совместной с Митрофаном экспедиции на санях я всегда изумлялся выносливости своего спутника. Но замечал иногда, что усилия и напряжение походной жизни все-таки даются Иванову на легко. Нередко вечерами видел я на его коричневых обветренных скулах и на лбу серый, как пыль, оттенок, так поразивший меня после возвращения Митрофана из поездки по западному берегу Котельного. Но все же Иванов казался еще крепким. Его трудно было назвать стариком.

Накануне, при встрече мне бросился в глаза тот же оттенок Митрофанова лица. Я спросил, трудна ли была дорога.

— Однако, трудна. Рассол выступил на лед. Почти всю дорогу бегом бежал.

Во время чая удивила необычайная нервность нашего друга. Когда падала ручка чайника, Митрофан вздрагивал, подпрыгивая, как нервная женщина. Киргелий рассказывал нам, как в тот же вечер Митрофан говорил ему несколько раз по-якутски:

— Киргелий, слышишь, как градусники разговаривают?

Киргелий вышел на улицу. Было тихо. Очень слабым, почти невнятным звуком доносился изредка скрип флюгера на метеорологической станции. Но этот слабый звук не мог быть слышен в комнате. Потом мы поняли: у Митрофана был шум в ушах. Киргелий же рассказывал, что прошлым летом он видал у Митрофана опухоль на груди, внезапно появлявшуюся и внезапно исчезавшую. Видимо, Митрофан страдал аневризмом. Но все это стало известным уже после смерти. В несчастное утро 29 октября внезапная смерть лучшего друга станции поразила, как взрыв бомбы, брошенной с аэроплана, подкравшегося незаметно.

Мы похоронили Митрофана в глубокой могиле, взорвав мерзлую почву тетрилом и сняв ее до ископаемого льда. В него и погрузили оклеенный бумагой гроб. Печальный ряд людей, заснеженная нарта с гробом, люди с лопатами. Небольшая надгробная речь. Непрошенный комок у горла. Несколько залпов из ружей. Гулкая дробь мерзлых глыб земли на крышке гроба...

Домой

Незадолго до начала второй полярной ночи была получена телеграмма от новой радиостанции в Булуне. Булун сообщал, что наши преемники-зимовщики выехали на остров по первому санному пути.

— Скоро, скоро домой! — сказал радист, кладя мне на стол телеграмму.

В половине ноября мы отправили в Казачье двух товарищей со всеми коллекциями и с грузом. Они уехали с оленьим караваном промышленников, в нем были и станционные олени. На станции осталось пять человек.

В последний месяц на станции жилось неважно. Мы чувствовали себя, как в осажденном городе. Провизия подходила к концу. Небольшое пополнение получили мы от островников, они почти всегда являлись с задком или ногой оленя. Еще одного оленя удалось убить нам, когда большое стадо подошло к метеорологической станции, в то время как я делал отсчеты инструментов. Но все же последние запасы должны были иссякнуть к двадцатым числам декабря.

Мы ждали новых своих преемников в начале декабря. Пролив давно смерзся. Давно уровнялись снегом торосы. Начиналось полнолуние — лучшее время для поездки. 7 декабря, вместо людей с материка, приехали промышленники для совета, как быть: провизия у них на исходе. Песцов поймали немного, нечем кормить собак. Остаться до двадцатых чисел декабря, как было условлено раньше, островники не могли: собакам грозила голодовка. Как ни хотелось нам встретить новых людей полным составом, пришлось согласиться на отъезд трех товарищей вместе с островниками. На станции оставались лишь крохи провианта.

11 декабря наш одинокий дом опустел. Замолчал радиотелеграф. Мне удалось уговорить Петра и Василия задержаться, пока не съедим последние крохи. Нужно было дождаться новых сотрудников во что бы то ни стало. Прервать работу станции — значило обесценить наполовину ее наблюдения. В пустом доме остались плотник Бадеев и я.

С отъездом всех товарищей на нас легло множество забот: нужно было держать в тепле дом, пилить дрова, во-время про-

изводить многочисленные наблюдения, носить снег для воды, прибирать помещение после спешного отъезда товарищей и самим готовиться к пути.

На всем острове в это время оставалось четыре человека: Еремеев с Устиновым в 30 километрах, в становище Дымная, и мы.

Когда станция опустела, первым делом собрали в одно место остатки провианта. Выяснилось, что с этими остатками можно при большой экономии прожить на станции еще недели три. Можно было ждать следующего полнолуния в январе.

Так долго ждать нам не пришлось. В ночь на 19 декабря я услышал какой-то шум в коридоре и Васин тревожный голос:

— Кто там? Кто там? Петра, это ты?

В ответ молчание. Мелькнула мысль: не медведь ли забрался? Я протянул уже руку к винтовке, но в это мгновение на вторичный окрик Бадеева послышался глухой ответ:

— Радист новой смены. Здравствуйте! Ну, и темно же у вас.

В комнату ввалился в закуржевевших мехах, с обледеневшей оторочкой у лица, невысокий, плотный радист Андреев. У крыльца возились с собаками два якута — проводники из Казачьего.

— Смена приехала!

Андреев привез с собою провизию, письма и несколько сотен прекрасных, душистых папирос. Они после листового табака казались вкуснее пряника! Андреев сделал хороший переход на собаках от Чай-поварни до станции по компасу в течение двадцати двух часов.

Всю ночь мы курили, ели сладости, осматривали комнаты и радиостанцию и говорили, говорили, говорили.

Еще через два дня приехала вторая партия: заведующий станцией Шпаковский и моторист Криворотов. Несколько сумбурных дней: сдача станции, ознакомление с ней новых людей, наши рассказы об островах и бесконечные разговоры о жизни в двух красных столицах и опредстоящей жизни новых хозяев в домике, выстроенном нашими руками.

В полуденный рассвет 27 декабря, в самые темные и безлунные дни, наша нарта спустилась на морской лед невдалеке от станции. Совсем слабо розовели пологие склоны снежных завалов берега. Отблески полуденной зари были совсем слабы и неясны, они выхватывали только отдельные торосы в море. Верхушки их казались повисшими в неясной лиловой дымке курящейся поземки. На горизонте мгла. В этот раз мы решили сделать пересечение пролива напрямик, к Чай-поварне. Торосов в этом году немного. Лед окреп спокойно.

Мой спутник Николай Алексеевич Горохов, по прозвищу Меник (Шалун), известен в Казачьем как прекрасный проводник.

Для него поездка за сотню километров в средине полярной ночи — обычное дело. Съехав с берега, Меник остановил собак и начал, совсем как Митрофан, колдовать с компасом. Предвидя возможность поездки к Чай-поварне напрямик, я давно взял точное направление в градусах на горы Святого носа. Хотя до гор от станции 110 километров, они в особенно ясные дни видны совсем отчетливо. Поэтому я с особенным интересом наблюдал, как проводник чертил свои линии на снегу. Святой нос в это время нельзя было видеть. Когда окончательная черта легла по снегу резкой бороздкой, и Меник стал заботливо прятать компас в заветный мешочек на груди, я тоже поставил свой компас на эту черту. Направление было взято правильно.

Мы двигались довольно быстро, только часа через четыре, уже далеко от берега случилась задержка: застряла нарта в узкой расщелине между торосами. При попытках освободить нарту оторвался полоз. Пришлось развязывать тонкие обледеневшие ремешки, соединяющие копылы с полозом, и перевязывать их заново. Оледеневшие ремни развязать на морозе возможно, только оттаяв их голой рукой.

Эта неприятная работа была окончена уже в темноте, в третьем часу. Ветер усилился. Когда мы снова тронулись в путь, разыгралась метель. В темноте даже вблизи не видно приметных точек, по которым можно было бы проверять, правильно ли мы держим направление. Но Меник правил так же уверенно, как если бы ехал днем, лишь изредка поглядывая на еле заметные заструги. Часам к семи метель разыгралась не на шутку. Наша нарта с собаками казалась движущейся в бесконечном молочносером пространстве. Меник все чаще стал соскакивать с нарты, чтоб рассмотреть, наклонясь, следы прошлых ветров. В конце концов остановил упряжку: ветер менял направление. Заструги на снегу разобрать было невозможно. Меник подумал, осмотрелся и сказал:

— Утуяр надо! Утуй! *

Походив недолго кругом, мы отыскали гряду торосов, с ровной площадкой между ними, пригодной для ночлега. Без долгих приготовлений, лишь откинув полог с нарты, мы улеглись на снег.

Меник оказался владельцем прекрасной оленьей дохи, которая доходила ему до пят. Поверх теплых торбасов он натянул еще меховые калоши. Захлопнул отверстие для лица приделанным к дохе кусочком меха, подогнул доху и сжался в комок. Я забрался с головой в свой испытанный спальный мешок. Вместо одеяла мы прикрылись пологом. Вскоре вьюга набросала на полог целый сугроб.

Так провели мы первую ночевку в пути.

---

* Спать надо. Спи.

Часов около пяти утра вьюга начала ослабевать. Мы вылезли из-под сугроба и, приготовив чай на нескольких взятых с собой поленьях, запрягли собак. Поехали дальше. Отдохнувшие собаки везли хорошо. Вскоре мы заметили слабые очертания берега. Проводник сразу опознал его: Чай-поварня была всего в пяти километрах.

В избушке встретил нас Бадеев с проводником (он выехал со станции двумя сутками раньше). Тут же был и И. М. Протопопов, четвертый сотрудник нашей станции, уроженец Якутска. Было видно, что этот человек искушен в скитаниях. Он расположился в Чай-поварне со всевозможными удобствами. Поварни не узнать: сделаны сени из мороженых оленьих шкур, аккуратно застлана постель на опрокинутых нартах, как на кровати, в углу умывальник; никогда не метенный пол впервые был чист и ровен, дыры в стенах заткнуты кусками меха и бумагой, посредине поварни хорошая железная печь. Протопопову предстояло жить тут около месяца, пока будут подвозить на оленях из Казачьего продовольствие и снаряжение для станции. Часть грузов — небольшая кучка — уже лежала вблизи избушки: это — олени, доставившие груз, а теперь убитые на мясо. В суровое время года, при спешном передвижении, они пришли совсем ослабевшими, им было не дойти до Казачьего. Поэтому сорок пять оленей было убито на мясо для собак, перевозящих грузы.

До нашего проезда Протопопов сидел в поварне одиноким, хотя на-днях его посетил интересный гость — чрезмерно любопытный песец. Он забрался в поварню через отверстие возле трубы. Гость поплатился жизнью, Протопопов убил его поленом. К сожалению, шкура его оказалась испорченной: песец прыгнул на раскаленную печь и спалил себе весь бок.

В Чай-поварне мне пришлось задержаться на четыре дня. Первые два дня Меник ездил по ближайшим ловушкам, на третий день разыгралась сильная вьюга. Выехали мы только 1 января. Бадеева я отправил напрямик. Мне же предстояло сделать изрядный крюк: Меник, везший меня, должен был по дороге осмотреть ловушки.

Вопреки ожиданию мы поехали совсем не на юг. Мы сначала направились вдоль пролива почти по направлению станции, затем от реки Отчугуй повернули к юго-востоку в тундру, потом опустились к югу до озера Бус-Тас. Описав от него широкую дугу, выехали на реку Санга-юрях, как раз к месту находки мамонта, остатки которого теперь в музее Академии Наук. От этой реки проехали к Харастанской возвышенности и через ее отроги выехали, наконец, к реке Ванькиной, близ Муксуновки. Во время этого путешествия,— оно длилось пять дней,— я хорошо познакомился с приемами устьянских промышленников при ловле песцов.

Поездка была для меня очень интересна, хотя мы ехали все время, за исключением трех-четырех часов рассвета, во

тьме. Погода стояла пасмурная, рассвет был очень слаб, луна не всходила. Около полудня еще можно было различить линию горизонта в южной стороне. Все же остальное время — одинокая упряжка в безмолвной тундре, в которой не различить ничего, кроме неба и голубовато-серого света.

Вспоминая теперь дни скитаний в тундре, я ясно представляю эту голубоватую мглу и внезапно обрисовывающиеся неясные очертания какого-то темного предмета: мы подъезжаем к пасти. Меник кричит собакам: „То-о-ой!" Собаки останавливаются. Он осматривает пасть и снова садится на нарту.

— Батта, батта!

Собаки идут вперед. Снова погружаемся в серый однообразный студень, пока не встанет близко новый черный силуэт. Иногда пастей не было на протяжении десятков километров. Тогда мы ехали часами, ничего не встречая и ничего не оставляя за собой, кроме той же давящей тьмы тундры, слившейся с небом.

Меник в Устьянском крае считается лучшим проводником. За все пять дней нашей ночной поездки он ни разу не терял представления о местности. Уезжая утром из одной поварни, мы поздней ночью внезапно останавливались у другой с такой же уверенностью, как поезд у станции. По первому впечатлению такое искусство кажется совсем сверхъестественным. Впоследствии, присмотревшись, я понял, что искусство это основано на чрезвычайной внимательности.

Меник свои пасти строил и починял летом. Бывал у них много раз. Конечно, он прекрасно знает взаимное расположение пастей. Но этого мало. Он знает характер почвы и растительности вблизи каждой группы пастей и у поварен. Все заметные овраги и возвышенности нанесены в его мозгу с точностью, превосходящей лучшую карту. Направляя собак в темноте, он знает, через какой промежуток времени должен встретиться приметный предмет или местность, подъем, склон или овраг. Узнав их, он едет дальше до новой вехи. Особенно поразил меня наш переход 3 января.

День был пасмурный и ветреный. Полуденный рассвет отличался только более светлым оттенком мути, стоявшей перед глазами. Была умеренная вьюга. До полудня мы осмотрели несколько пастей, затем начался пустой участок. Мы ехали по ровной тундре, часто под полозьями был виден лед на небольших озерках.

Часу в шестом вечера Меник стал проявлять некоторое беспокойство. Я не стал расспрашивать, так как знал уже, что в пути Меник совсем не разговорчив. Его внимание напряжено до крайности. Утром сказал он мне, что до ночлега девять часов езды. Мы должны были быть там в шесть часов. В начале седьмого часа Меник, внезапно остановив собак, стал раскапывать снег до почвы. Затем пошел налево и, отойдя шагов на

сорок, крикнул мне, прося поворотить собак к нему. Собаки, добежав до хозяина, остановились. Только сойдя с нарты, я увидел, что Меник стоит у входа в низенькую, в человеческий рост, поварню, похожую на шляпку гриба. Она была сплошь залеплена снегом; ее очертания с трудом можно было разобрать не далее десяти шагов. Когда мы, отогревшись, распивали чай в этой норе, я спросил Меника, как он отыскал поварню и зачем раскапывал землю; Меник ответил:

— В этом месте глина есть. Кругом нет нигде.

Эта поварня была такая же, как прочие тундровые поварни в Устьянском крае. Четыре жиденькие бревна на высоте человеческого роста соединялись полуметровым срубиком, а внизу они образовывали своими нижними концами конус, упиравшийся в землю. Промежутки между основными бревнами заполнены рядом жердей. Этот каркас прикрыт сверху слоем дерна. Пролезать в такую поварню приходится через узкое отверстие, заменяющее дверь. Двери нет, при уходе из поварни отверстие закрывают куском оленьей шкуры, придавленной кольями и снегом. Огохов в такие поварни не ставят, необходимо брать железную печь. Дрова в небольшом количестве завозятся к поварням в летнее время. Если дров нехватает, приходится сжигать одну из ближайших пастей, так поступили и мы, когда в Харастанских горах захватил нас буран. Стоять в такой поварне возможно только в середине, согнувшись в поясе. Ближе к краям, даже стоя на коленях, упираешься в покатые стены. И все же такая норка хорошо укрывает на время ночлегов.

Я забыл сказать, что в Чай-поварне застали мы еще помощника Горохова — парня лет девятнадцати, Уйбачана. Уйбачан был сиротой, воспитанником Горохова. Выглядел он совсем мальчиком, был румян, как цветущая девушка, весел и резв, — как молодой котенок. Этот парень почти не сидел на нарте. Его фигурка, плотно обтянутая шубкой из песцовых лапок, маячила то впереди нарты, то у песцовой пасти. Отношение его к Менику было проникнуто чрезвычайной почтительностью. Каждое слово Меника для Уйбачана было ценнее, чем наставление ученого профессора для студента-первокурсника. Восседая на нарте, как на кафедре, Меник поучал воспитанника искусству передвижения в тундре. Он обращал внимание Уйбачана на каждую мелочь в пути, а иногда устраивал экзамены. Однажды вечером, перед остановкой на ночлег, Меник послал Уйбачана к поварне, где мы должны были ночевать, прямым путем. Сам же хотел объехать несколько пастей в стороне. Было совсем темно. Стройная фигура Уйбачана была проглочена тьмою в одну минуту.

Когда мы подъехали минут через сорок к месту ночлега, Уйбачана там не было. Мне показалось, Меник забеспокоился. После некоторого колебания он начал распрягать собак. Я спросил, не попытаться ли отыскать нам парня, Меник ответил:

— Если утром не приедет, поедем искать.

Уйбачан пришел через час. Он выглядел сконфуженным.

На пятый день поздно вечером, после перехода в 80 километров, мы выехали на реку Ванькину к урасе Конона Томского. В это позднее время северная часть устьянской тундры совсем необитаема. На время полярной ночи Томский откочевывает ближе к устью Яны. Однако, этот тунгус, получив через выехавших с оленями островников мою просьбу задержаться в районе Муксуновки, остался на стойбище. У тунгуса были уже приготовлены для нас олени. Отдохнув сутки, мы выехали 9 января дальше на прекрасных оленях Томского. Задержавшись в пути на двое суток из-за метелей вблизи устья Яны, 15 января мы приехали по знакомому пути в Казачье.

В прошлом году я покинул Казачье при свете весеннего солнца. Тогда и днем и ночью на улицах слышны были веселые голоса, свисали с крыш прозрачные сосульки, и бледно-голубое небо казалось уже совсем весенним.

В этот приезд увидел я Казачье в обстановке полярной ночи, закутанным в высокие сугробы. Они погребли юрты и домики, почти уровняв их плоские крыши. Мы подъезжали к селению вечером, около шести часов. Если бы не толстые столбы искр из камельков, можно было бы проехать мимо, совсем не заметив селения, занесенного снегом. Казачье выглядело настоящим полярным поселком. Клубы пара, подымавшиеся от каждой юрты и постройки, и дым висели в воздухе густой завесой. Пар поднимался от оленьего каравана, привезшего груз к фактории, от упряжки собак, натужно тянувших в гору возик с мелкими дровами, пар шел от каждого человека на улице и клубился у каждой двери.

Не видно было ни ребят, играющих на воздухе, ни групп, беседующих на завалинках. Стоял крутой мороз. Торопливо пробегали закутанные в меха люди, каждый, не задерживаясь, скрывался в облаке пара у входа в жилище. Только на плоской крыше у красного флага, как монумент, в своей дохе, стоял с винтовкой часовой.

С половины января до марта местные жители избегают далеких поездок. В эту пору морозы держатся между 40° и 50°. Только необходимость или высокая плата заставляет туземца гнать оленей по морозу. В сильные морозы далекая поездка всегда сказывается на оленях: они быстрее спадают в теле, особенно те, на которых ездили уже в первую половину зимы. Поездка во время морозов требует хорошо упитанных оленей. Вторая причина, по которой избегают поездок в это время,— трудность поисков в темноте оленей на остановках. Пущенных на пастбище в темную пору легко потерять. Легко и волку подкрасться к оленям.

Мы не могли считаться с уговорами наших друзей в Казачьем — „остаться погостить“. Впереди нам предстояла дорога

тысячи в четыре километров на санях. Это расстояние нужно успеть проехать до весны. Ни у государственных организаций, ни у жителей не было достаточного количества оленей. Вероятно, нам пришлось бы двигаться маленькими партиями. К счастью, незадолго до нашего приезда в Казачье, пришел туда караван с грузом мороженого мяса из Верхоянска. Олени были утомлены, худы и мелки. Принадлежали они верхоянскому якуту Рожину. На таких оленях в день не проедешь больше 40 или 50 километров.

С этим высоким, костлявым и подвижным якутом мы торговались два дня о сроках приезда в Верхоянск, о количестве оленей, о плате и о том, сколько кирпичей чая можно дать ему в дополнение к деньгам. Мы решили выехать двумя партиями. Приехавшие раньше в Казачье уже успели закупить теплую одежду соответственно сезону, сшить палатку и состряпать на дорогу провизию.

Наши друзья в Казачьем уговаривали нас обождать здесь до конца февраля не без оснований. От Казачьего до Верхоянска считают 1300 километров. Для жителей Якутии такой перегон довольно обычен. Но этот путь в конце января и в феврале особенно тяжел. Верхоянск — полюс холода. Средняя температура января за много лет равна —50,1° Ц. В феврале обычная температура держится между —50° и —60. В феврале же 1892 года в Верхоянске были отмечены самые низкие температуры на всем земном шаре —69,8° Ц. Первая половина пути от Казачьего проходит почти по ненаселенной местности. А на первых 300 километрах вовсе нет жилья. Обыкновенно здесь ездят или на совсем легкой упряжке, на хороших оленях, пересекая без отдыха ненаселенную местность, или берут с собой палатку и печь. За неимением палатки ездят иногда и без нее, ночуя у костра.

Нам, с плохими оленями, нечего было и думать проехать быстро ненаселенный участок. Первая партия сотрудников с грузом рассчитывала пробыть в пути больше трех недель. Я надеялся выиграть одну неделю.

Для дальнего пути в самую холодную пору здесь снаряжаются серьезно. Запасают новую теплую одежду, готовят большой запас провизии. Следуя советам, мы напекли горы хлеба, булок, пельменей и нажарили котлет. Под провизию, палатку, печь и спальные принадлежности пришлось отвести отдельную нарту. Относительно одежды не было особенных споров. При сильных морозах в дорогу надевают поверх обычной одежды кухлянку — просторную рубаху из шкур молодого оленя, мехом к телу, поверх нее — длинный сукуй (доху с капюшоном) из шкуры взрослого оленя. На ноги надеваются меховые брюки, заячьи носки, оленьи чулки, камусные торбасы и меховые калоши. В комплекте якутской зимней одежды верхоянских жителей имеются еще напульсники, нагрудники, ма-

ски на нижнюю часть лица и разных сортов рукавицы. Из всего этого мы выбрали только двойные меховые рукавицы. Рот и подбородок завязывали, как устьянцы, обыкновенным ситцевым платком.

Когда надеваешь на себя всю эту полярную спецодежду, чувствуешь, несмотря на легкость отдельных предметов, значительное увеличение собственного веса. Ноги плохо сгибаются, руки в движениях связаны. В дороге я надевал сукуй во время ветра или продолжительной езды, когда не было возможности соскочить с нарты и согреться на бегу. Итти в сукуе невозможно: больше полукилометра не пройдешь,— начинаешь покрываться испариной. А вспотеть, когда температура ниже — 50°, значит зябнуть до ночлега. Мне показалось излишним надевать две пары меховых чулков под торбасы, да еще сверху неуклюжие и толстые калоши из [illegible] меха. Пробовал было обходиться без них, но едва не отморозил пальцев. Без калош



Якут из северной Якутии

возможно в эту пору ехать, только постоянно соскакивая с саней, чтобы согреть на ходу ноги. При быстрой езде этот комплект одежды совершенно необходим.

В дни, когда дорога была хороша, и с нарты нельзя было слезать без задержки каравана, мы всегда приезжали к остановке продрогшими до мозга костей. На мне под верхней одеждой были две фуфайки, тельник и меховой жилет. Все же часов пять спустя после начала пути под одежду начинали пробираться холодные струйки, а когда поднимался хотя бы небольшой ветерок, мы начинали зябнуть. Прежде всего стыли пальцы на ногах, а в последние часы всегда мерзли руки. В эти часы особенно мечталось о прелестях якутской юрты с хорошо растопленным камельком, о закопченном чайнике на огне, полном горячего кипятка.

Отъехав от Казачьего полсотни километров, мы ночевали в юрте Василия Болтунова. Это место известно под названием Малое Казачье. Дальше на юге лежала совершенно ненаселенная и неисследованная местность, занятая горными хребтами Кундюлун-Таала, Куйга и Мултурус.

До Малого Казачьего мы ехали по следу, напоминавшему дорогу. Дальше дороги нет. Руководились следом наших же оленей, пришедших из Верхоянска. Во многих местах след был незаметен. Тогда шли целиной, стараясь снова найти потерявшийся след.

От самого Казачьего дорога шла редким, довольно чахлым и низким лиственничным лесом. Однообразие такого леса действует угнетающе. Голые, раскинув хрупкие промерзшие ветви, неподвижные стоят деревья. Они кажутся совсем безжизненными и сухими. Бурый фон леса на горизонте, резкие штрихи бурых стволов на горных склонах, бурые же стволы и сучья на фоне белого снега, осыпанного оранжевой лиственничной хвоей.

В первой части пути мы не встречали иных деревьев, кроме лиственницы. Редко, очень редко по берегам речек попадались заросли ивы или ольховника.

В таких местах всегда было заметно присутствие жизни: снег был истоптан заячьими лапками, покрыт густою сетью куропаточьих следов, вился между ними четкий след песца, и перекрещивали их длинные следы прыгавшего горностая. В самом же лесу мы лишь изредка видали отпечатки волчьих лап или размашистые следы лося и дикого оленя.

По мере движения к югу лес становился выше, стволы толще. Но характер леса оставался тем же вплоть до самого Алданского хребта. И лишь на южном его склоне, тотчас же за перевалом, показались среди бурого фона первые зеленые пятнышки приникших к земле сосен. А через 10 километров я отломил веточку родной зеленой ели.

Наш караван состоял из пяти оленьих запряжек. Каждые сани тянули два оленя; два запасных бежали сзади на поводу

В Якутии не запрягают больше двух оленей. Управляет караваном проводник на пустой нарте. В его упряжке самые лучшие и сильные олени: этим оленям приходится трогать с места весь караван. Каждая пара оленей привязана поводками к нарте, идущей впереди. После остановки проводник выводит переднюю пару на дорогу и бесцеремонно толкает животных в зад хореем. Олени бросаются вперед, нарта трогается с места, тянет следующую пару, она натягивает поводки у третьей, и весь караван начинает движение.

Покачивая головами, отклоняя рога от сучьев, вытягивая шеи, когда передняя пара ускоряет бег, и заскакивая копытами на идущую впереди нарту при внезапных остановках, идут плавно широкой походкой олени. На хорошей дороге бегут мягкой рысью, бросая в сторону передние ноги и цокая копытцами задних ног. Якутская упряжь устроена очень остроумно: олени не могут тянуть с разной силой. Широкая постромка, надетая на плечи оленей и идущая к передней дуге на нарте, не закреплена, но движется по ней свободно, составляя продолжение лямки второго оленя. Как только один из оленей начинает тянуть с меньшим усилием, ослабленная лямка немедленно притягивает ленивца к самой нарте. При каждом шаге ленивый олень ударяется ногой о передок саней. Единственный выход из такого положения для оленя — броситься вперед, чтобы выровняться с другим. Если оба оленя замедляют ход, поводки, связывающие их с нартой, идущей впереди, натягиваются и давят уздечкой шею. Поэтому для оленя нет возможности тянуть слабее, чем все остальные животные в караване. Он тянет, пока есть силы. Если силы иссякают, олень падает. Тогда приходится остановиться всему каравану. Проводник подходит поднять оленя. Обыкновенно его отвязывают и заменяют запасным, пока упавший не отдохнет, идя на поводу сзади каравана.

Если олени очень утомлены, или на санях погружен непомерный их силе груз, движение каравана представляет безотрадную картину. То тот, то другой олень падает. Проводник подходит заменить упавшего. Через несколько минут падает другой, заменяют и его. В следующий раз приходится взамен упавшего ставить оленя, еще не успевшего отдохнуть. Он падает снова. Запасные силы каравана израсходованы. Обыкновенно тут начинается избиение. Упавшего поднимают пинками и ударами палки. Едва успеет караван тронуться с места, олень падает снова. Дело кончается плохо: утомленные олени отказываются итти даже на привязи. Безнадежно уставших животных приходится бросать. Потом их подбирают на обратном пути, если к тому времени олень не убредет далеко или не станет жертвой волков.

В нашем караване олени были уже достаточно измучены трудным переходом от Верхоянска. Они привезли на каждой нарте по 10 пудов. Наш груз был меньше —7 пудов на нарту,

но утомленные олени тянули с трудом. Начиная с третьего дня, стали чаще и чаще повторяться картины избиения оленей, а ко времени, когда дошли мы до населенных мест, где можно было сменить особенно уставших животных, мы успели бросить трех оленей.

Первую остановку после Малого Казачьего мы сделали, спустившись за границу леса после голого перевала — хребта Кундюлун. Здесь, под прикрытием скалы разбили мы лагерь. Пока проводник Николай распрягал оленей и привязывал к шеям особенно быстроногих куски дерева, мешающие бегать, и готовил дрова, мы поставили палатку на козлах из жердей. Такая палатка очень удобна для лагерей в лесистых местностях, где нет недостатка в жердях. Ставится она довольно быстро. На двух козлах, связанных из трех жердей, кладется просунутая в длинный рукав палатки вверху ее длинная жердь. После этого остается только привязать к козлам сбоку еще по жерди, прикрепить к ним завязками боковые стенки и в заключение пропустить трубу железной печи через кусок жести, вшитой в переднюю стенку.

Много раз на своем веку приходилось мне ночевать в палатках на морозе. Много разных систем палаток испытано. Эта оказалась самой теплой. Железная печь быстро нагревает заключенный в палатке воздух. В лесу стоял пятидесятиградусный мороз, но мы сидели в одних фуфайках. Уже окончился ужин и принялись за чай, прогревая у печи похожие на камни заранее нарезанные куски булки и хлеба, когда в палатку вошел Николай. Он бросил последнюю вязанку сухих лиственничных дров, ломких на морозе, как стекло, и, придвинув к себе маленький котелок с куском оленьего мяса, съел его, выпил суп и несколько чашек чая без сахара. Мы забрались в спальные мешки в фуфайках. Николай разделся донага и спрятался под заячье одеяло в постель из двух оленьих шкур.

— С такими удобствами, — говорил Николай, — давно не приходилось ночевать.

Если поддерживать в печи огонь все время, в такой палатке можно жить не хуже, чем в юрте. Но если дрова догорели, температура за полчаса уравнивается с наружным воздухом. Когда я проснулся и протянул руку за спичками, чтобы взглянуть на часы, коробка обожгла мне пальцы. Пока я зажигал хрупкие спички, руки почти окоченели. Огонек от спички, разогнав тьму, осветил палатку. Что за чудо! Черная материя превратилась в светлосерый бархат, от каждого скрещения ткани тянулись длинные кристаллы инея. Он покрывал густым налетом полог палатки и опушил изголовье спящих. Моя шапка примерзла к подушке, а отворот спального мешка стал похожим на ватный.

Если бы описывать шаг за шагом путешествие на оленях через этот пустынный участок Якутии, такое описание оказа-

лось бы столь же однообразным, как и сам путь. Мы поднимались по пологим скатам хребтов, поросших все тем же бурым лесом, въезжали на голые каменные перевалы, пустынные и дикие, где снег был тверд и изрыт застругами, как в тундре, погружались в бурую лесную мглу, а за долиной с глубоким рыхлым снегом начинался новый утомительный подъем.

На двух первых переходах немного отдохнувшие в Казачьем олени везли еще сносно; потом чаще и чаще караван стал делать остановки для смены выбившихся из сил животных. К концу пути остались только два оленя, ни разу не падавшие: крупный мохнаторогий самец — бур и белая, как снег, самка — важенка с прекрасными глазами и стройными тоненькими ножками. На последнем переходе упал внезапно и самец. Каравану пришлось остановиться на час, чтобы дать передовому оленю собраться с силами.

На перевале Куйга, ровно в полдень, за панорамой безотрадных и мертвых вершин горного хребта, чуть заметными контурами отмеченными в розовой мгле, мы увидали в первый раз за эту зиму солнышко. Это было 27 января. Полярная ночь позади! Скоро-скоро позади останутся и эти мертвые, в снежном саване, хребты и унылое однообразие царства бурой лиственницы и мха. Каждое щелкание оленьих копыт, как тиканье маятника, отмеривает время и пространство. Наш путь — к югу и к весне.

Как бы в ответ на такие мысли, за перевалом Куйга начали попадаться следы зверей. Тут же увидели мы первые ловушки



Ночлег в ненаселенной части северной Якутии

для горностаев, песцовые примитивные пасти и настороженные на зайцев самострелы. Каждый раз, как спрашивали мы Николая, не знает ли он, чьи это здесь стоят ловушки, он отвечал неизменно, как в сказке про кота в сапогах: „Иннокентия Сыроватского“. По охотничьим угодьям этого Сыроватского мы ехали несколько дней.

У Сыроватского сменили мы измученных оленей на лошадей. Выносливость, неприхотливость и приспособляемость якутских лошадей к холоду известны давно. Мы в урасе Суслей впервые увидали этих животных, лишь отдаленно напоминающих лошадей. Они покрыты густой шерстью, столь же длинной, как у козла, из которой выделяются длиннейшая грива и хвост. Волосы особенно густы на животе и на шее. Там они свешиваются длинной бахромой. Ноги верхоянской лошади кажутся толстыми, мохнатыми бревнами. Густой мех скрывает совершенно очертания мышц и костей. Из-под него выглядывают только передние части маленьких копыт.

В северной Якутии лошадей не держат в конюшнях. Лето и зиму пасутся они на подножном корме, разрывая, как олени, глубокий снег. Так же, как и оленей, здешних лошадей ловят арканами.

Еще необычнее нашему взгляду местная конская сбруя. Об езде в оглоблях здешние якуты не имеют представления, а о парной или троечной запряжке и не слыхали. Когда мы вышли утром из урасы Сыроватского, наши нарты стояли в том же виде, как по приезде на ночлег. У ограды, привязанными к коновязи — столбу, жались одна к другой пять мохнатых лошаденок. Двух, уже оседланных старинными высокими якутскими седлами, ямщики подводили к передовым нартам. На каждую лошадь с трудом взгромоздился всадник. Лошади начали было беситься, но скоро угомонились. Мы тронулись в путь.

Караван наш выглядел очень живописно. Впереди каждой нарты тяжелым монументом возвышался верховой в кухлянке и дохе, в огромных конских торбасах и таких же калошах. На коне, кроме всадников, — переметные сумы сзади седла и закатанные в трубку постельные принадлежности. Все это солидных размеров и веса. За переднюю луку седла перекинут широкий ремень — постромки от нарты. Чтобы седло не съезжало от тяги, грудь лошади охватывает нечто вроде шоры из оленьей шкуры шириной в две ладони.

Единственное достоинство здешней сбруи — ее живописность. Нарты, заиндевелые мохнатые лошадки с обледеневшими мордами, с которых спускаются сосульки, и пушистые башни на седлах — всадники, — все это просится на картину. Искренно жалел я, что кинематографический аппарат отказался работать на пятидесятиградусном морозе, что не было времени зарисовать эту картину.

Но мы очень скоро разочаровались в странном способе передвижения, называемом в этом крае ездой на лошадях. Всю

дорогу лошади или шагом, не быстрее пяти-шести километров в час. Кроме того, ямщики частенько останавливались покурить и поболтать с товарищами или вычесать гребнем осевший на лошади иней.

На этот раз мы проехали на лошадях всего один перегон до стойбища нашего подрядчика. Тут получили мы свежих оленей еще на два перегона. Дальше, начиная от верховьев реки Битантая, по всему пути, до самого Верхоянска, живут лошадные якуты. Здесь мало оленьих пастбищ. Этот район населен, по якутскому масштабу, сравнительно густо. Теперь мы каждый день останавливались для ночлега в жилых юртах, иногда заезжали на полпути погреться и выпить чашку чая.

На одной из таких остановок застали мы за работой разъездную факторию Якутгосторга. Агентом оказалась молодая якутка в красном платочке, одетая по-европейски и не без кокетства.

Необычайный агент этот оказался очень дельным и энергичным, мало того — настоящим знатоком пушнины. Приказчиком при женщине-агенте состоял супруг ее, молодой якутский парень. Разъездная фактория — истинное благодеяние для жителей далеких северных улусов. В горячее время не нужно оставлять промыслов и ехать за необходимыми предметами за сотни верст в Верхоянск. Разъездной агент примет пушнину и выдаст в обмен все необходимое: мануфактуру, охотничьи припасы, пряжу и волос для сетей, соль, муку, чай и другие продукты, даже лекарства. Агент завезет в глухую юрту лубочную картину, которую поймет и неграмотный, а грамотному — книгу и газету, расскажет, что делается на белом свете, за пределами тайги.

Нам, после долгого пути через пустынную и малонаселенную местность, эта первая встреча с людьми из культурного мира, встреча с первой женщиной-якуткой, не суетящейся с утра до поздней ночи у камелька, не согнутой привычно, не глядящей рабски из дальнего угла в ожидании, когда мужчины отобедают и отдадут остатки ей, но со свободной женщиной, работающей на правах передового мужчины, — эта встреча показалась символом новой культуры, властно пробивающей дорогу на дальний север.

И, действительно, мы приближались уже к культурным местностям. На верховьи реки Бытантая, войдя в юрту, где предполагался ночлег, мы поражены были необычайной чистотой и убранством ее. Эта юрта была разделена перегородкой, стены ее покрыты картинками из журналов и революционными плакатами, на столе лежал комплект газеты „Кым" (на якутском языке) и „Автономная Якутия".

Впрочем такая культурная юрта была еще редкостью. Большая же часть оставляла гнетущее впечатление. В глухом месте у озера Тарынтах мы встретили людей, которым столь же мало известно было о существовании наших столиц, как рядовому гражданину СССР о столицах Новой Зеландии или Тасмании.

Когда после таких мест попадаешь в Верхоянск, он кажется столицей. Кооператив, магазин Госторга, больница, школа, сравнительно чистые юрты, газеты двухмесячной свежести, светлые комнаты в домиках русского типа — контраст слишком велик! Смотришь на все совсем не теми глазами, как раньше. Приезжему человеку и Якутск кажется на первый взгляд средней руки уездным городом, Булун же — совсем захудалым селом. А Верхоянск перед Булуном — не что иное, как деревушка.

Только проехав по местам, еще совсем не тронутым культурой, начинаешь сознавать, как трудно было продвинуть культуру юга сюда, в эти далекие деревушки-города. И начинаешь в полном объеме понимать значение этих форпостов при начавшемся походе советской культуры на „дикие" и „гиблые" места, где люди жили, как звери, по темным норам, где кругозор обитателей был ограничен. И все стремления людей сводились лишь к заботе о пище и только о ней.

Верхоянск мы увидели издали с вершины горного хребта. Стояла тихая погода с морозом больше 50°. Караван наш двигался в облаке морозного тумана, поднимавшегося от людей и лошадей. Я ехал на последних санях. Иногда наша часть каравана отставала. Мы теряли из глаз переднюю группу саней. Догоняя ушедших, всегда замечали первым долгом эту тонкую дымку тумана, затем уже и самый караван.

И Верхоянск мы заметили, увидев в глубине дальней долины не самый городок, а плотное облако испарений и дыма, которое скрывало все постройки. Такой туман здесь явление обычное. Он держится над городами неделями — месяцами, благодаря полной неподвижности тяжелого, холодного воздуха. Изо дня в день стоит тихая солнечная погода с неизменными верхоянскими морозами. Дым из труб и пар от строений поднимаются столбами, низкое солнце розовыми лучами с трудом пробивает эту пелену морозного тумана.

Существует много описаний Верхоянска, города, известного всему миру тем, что он стоит на полюсе холода. Лучшие описания принадлежат политическим ссыльным. Они до 1917 года в Верхоянске не переводились. Жуткая слава об этом холодном городе сложилась давно.

Мы поместились в одном из лучших домов, занятом теперь метеорологической станцией. Здесь предстояло прожить с неделю, запастись провизией на дорогу до Якутска, найти подрядчика с оленями и починить одежду.

Стояли лютые морозы: февраль здесь самый холодный месяц. Весь воздух казался густым и осязаемым. Белесое голубое небо, слабые в стылой голубизне воздуха очертания гор, слабая голубизна теней на розовом снегу, зеленоватые оттенки наледей на узкой здесь реке Яне, бурые краски на бревнах домов из лиственници и бурая же стена лесов кругом,— вот краски, кото-

рые мы неизменно видели в Верхоянске каждый день. Надо сказать правду: после длинного по морозу пути нет желания подолгу любоваться этой картиной, особенно при жестоком, колючем холоде. Каждый вышедший из дому торопится поскорее снова спрятаться в теплое помещение. Шестьдесят градусов мороза не шутка.

От Верхоянска до Якутска тысяча с лишним километров. Почта ходит по зимам ежедневно и раз в месяц в летнее время. Во время распутицы совершенно прекращается всякое сообщение Верхоянска не только с Якутском, но и с ближайшими местностями. Все же почта связывает городок с Якутском крепко. Подавляющее большинство людей здесь — приезжие. Постоянных работников не много: большая часть командируемых сюда служащих через год или два стремится уехать из этого непривлекательного и холодного городка, где 25° мороза считается теплой погодой. Но встретили мы здесь немало людей, которые стали патриотами здешних мест и находили много хороших сторон в жизни этого странного городка, где на лето запасают лед для питья, где бьют уток через окно своей комнаты, где в летние ночи, прозрачные, как день, на глазах быстрым ростом тянутся вверх пышные травы, и манит приволье девственного леса, где каждая вещь и каждое дело человеческих рук остаются надолго памятником культуры.

Каждый из верхоянских работников по несколько раз совершил трудный путь от Якутска летом или зимой. Семейные с детьми ездят в летнее время, затрачивая в один конец месяца по полтора. Летний путь особенно долог и труден. Большие и малые едут по узкой тропе верхом на лошадях, связанных, как в оленьем караване: уздечка от задней лошади прикреплена к хвосту идущей впереди. Путь пустынен. Только перед самым Якутском начинаются населенные места. На остальном участке тропа проходит в безлюдной местности, пересекает хребты, реки без мостов, бурные ручьи и потоки, болота.

Путешествуют с грудными младенцами и детьми в переметных сумах, ночуют под открытым небом, редко — в поварнях. Кормят подолгу лошадей на подножном корму, встречают по дороге диких зверей. Жена одного служащего ехала в Якутск, но, задержавшись в пути, разрешилась девочкой в тени высокой лиственницы. И девочка осталась жива.

Зимний путь оборудован лучше. Выстроены через каждые сорок-пятьдесят километров, а местами и чаще, хорошие поварни. В зимнее время в поварне живут ямщики; они немедленно приводят оленей, пасущихся невдалеке, и везут почту до следующей поварни. При особенно спешных надобностях на этих почтовых оленях приезжали люди из Якутска в Верхоянск на четвертый день. Обыкновенно почта идет восемь девять дней.

Про зимнюю дорогу от Якутска до Верхоянска наслышались мы немало. Рассказывали про случаи гибели каравана при пе-

реправах через бурные речки с тонким разъеденным льдом; про знаменитые тарыны-наледи,— ветер сдувает с них караван, как пушинку,— они с трудом проходимы в тихую погоду; про встречи с волками и медведями; про событие, случившееся много лет тому назад, когда лошади, чем-то испуганные, понесли и свалились вместе с нартой с высокой кручи в реку; про ужасный случай в прошлом году, когда спавший путешественник при быстром спуске с горы был проткнут полузасыпанной снегом тонкой лиственницей от паха до горла; про постоянную опасность налететь с ходу на дерево в здешнем густом лесу или лишиться глаз. И, наконец, множество рассказов про страшный в зимнюю пору перевал через хребет Тора-Тукулан.

Нас не постигло ни одно из описанных бедствий. Благополучно мы проехали тарыны (тающие льды). Сильный мороз крепко сковал даже самые быстрые речки. По дороге видели мы много звериных следов, но звери не беспокоили ни нас, ни оленей. Только однажды ночью, когда я спал в своей кибитке, один из оленей, испугавшись чего-то при спуске с горы, бросился в сторону, а нарта налетела с полного хода на ствол лиственницы. Я, к счастью, отделался царапиной на щеке, но нарта и кибитка пострадали порядочно.

В другую ночь я был разбужен самым неприятным образом: сани перевернулись. Стесненный теплой одеждой, я долго волочился по снегу, крича диким голосом проводнику, чтоб он остановил караван. Но проводник не слышал или дремал. Я освободил ноги из передка уже после остановки каравана, когда один из оленей, не выдержав тяжести, свалился с ног. Мы долго чинили кибитку, искали во тьме подушку, чемодан, мешочки и зацепившийся за ветку шарф. И на этот раз отделался я только новыми царапинами.

Отъехав километров двести от Верхоянска, мы больше не встречали жителей до самого Алдана. Единственными жилыми местами были „станки“, в которых зимовали ямщики, но и они с весны и до поздней осени были необитаемы. Свежему человеку они показались бы, может быть, жалкими, но после поварен, оставленных нами позади, и в сравнении с юртами в населенных местах — эти станки чисты и удобны. Большая часть их новой советской постройки; во многих на стенах — портреты вождей и современные картинки; камельки — хороши, есть сложенные из камней; ороны выстроганы, везде имеются полы, а в самых новых — и настоящие окна. По стенам туристские надписи. У содержателя станка — книга для записи проезжающих.

Тора-Тукуланский хребет резко отграничивает северную Якутию. Оставив хребет позади, мы въехали в леса уже не столь однообразные. Правда, большую часть леса составляет все та же лиственница, но деревья не жмутся к земле, а высоко поднимают могучие стволы. Часто попадались тополь, ель, сосна и береза.

За Алданом снова начались населенные места. На станках теперь подавались не олени, а лошади. Чаще и чаще встречали мы в стороне от дороги дымки, иногда стоги снега, проезжали мимо изгородей, нередко видели жертвенные ленточки — пучки лошадиных волос и оленьего меха вблизи священных мест. В юртах теперь разговоры о городе. В якутской речи то и дело слышались новые освоенные ею слова: „табарысс", „табарыс-секретарь", „делегад", „кабератип", „бередседатель", „сапхоз".

В каком-то селении, в котором юрты раскинуты (по якутскому масштабу) густо — не дальше полкилометра одна от другой, — в продолжение часа перегоняли мы ребят с книгами в кожаных мешочках. На остановке в просторной урасе — стены увешаны были диаграммами, географическими картами и детскими рисунками: мы попали в юрту-школу.

Две якутки, не согбенные от вечного стояния в низком хотоне, но прямые, одетые по-европейски, лишь в торбасах, занимались с ребятами. Нас окружила веселая орава шустрых, не прячущихся по углам якутят с вострыми, косыми глазенками. Один из этих молодых людей с гордостью предложил поговорить по телефону с Якутском.

От последней станции на одном из островов широкой здесь Лены мы ехали в кошевке почти городского типа.

В глубоких сумерках скатилась кошевка с последнего острова на широкую главную протоку Лены. Что это за звезды, голубые и яркие, там, на южном горизонте? А вот рядом, немного ниже их, еще целый ряд желтых, красноватых и оранжевых звездочек. Что это за зарево? Неужели Якутск?

У противоположного берега, как скелеты чудовища, полузанесенные снегом шпангоуты разобранного карбаса, мачта черкнула по небу, за ней отдаленное зарево и синие на фоне его круглые комочки пара, бросаемые вверх трубой какой-то машины, не видной нам за крутым откосом берега.

Что значит этот ряд елочек? Он долго тянется вдоль дороги, потом сворачивает под прямым углом от нее. Что же это такое? Быть может, каток? В жизни не видал такого большого катка. Пожалуй, каток. Да вот и теплушка. Только к чему такие тесные группы елочек в углах прямоугольника? И что за круг посредине катка из тех же тесно сдвинутых елочек? Почему снег не убран со льда?.. Да это — аэродром!

Так это не пустое „капсэ" — воздушное сообщение с Якутском, а действительность!

Через четыре часа наши санки остановились перед знакомым зданием почты. В конце того же часа мы стояли в подъезде переполненной гостиницы у телефона, вызывая то один, то другой номер, прося приютить путников, прибывших с Ледовитого океана. Увы, все свободные углы в городе были заняты! Приютили нас в конце концов знакомые.

Воспоминания

Помните, в году тысяча девятьсот четырнадцатом уходил из бухты Тихой корабль седовской экспедиции „Святой Фока“? Я хорошо помню безмятежный покой, столь характерный для Земли Франца-Иосифа во все времена года, даже летом, когда множество птиц своим криком не нарушают, а скорее подчеркивают этот покой. Многоголосый шум пернатых в девственном покое страны, не тронутой еще человеком, так же логичен, как песня жаворонка в молчании полей. Оживление на палубе „Фоки“ заслонило тогда обычный шум, всегда доносящийся с огромной скалы Рубини. Не слышно было ни шороха льда, ни всплесков ныряющих у борта корабля и совсем его не боящихся птиц.

Мы покидали совсем пустынный берег, не оставили там ни одной щепки, подобрали весь мусор под метелку для топлива, не забыли даже кусков изорванной и прелой парусины. Единственным следом прошедшей зимовки остались две невысокие, отмеченные крестами, грудки камней. Одна обозначала место астрономического пункта, поставленного здесь впервые человеком, которого с нами уже не было, — погибшим Седовым; вторая грудка возвышалась над неглубокой могилой механика Ивана Андреевича Зандера.

Поравнявшись с этими печальными памятниками, которые могли заметить издали только люди, сами носившие камни на них, мы приспустили флаг на мачте и дали пушечный салют. Последнее прощание — такое же, как последний взгляд на покойника.

Я помню хорошо ощущение всего пережитого нами, как невозвратно ушедшего в прошлое. Помню мысли свои: „Вот этой бухты не увижу больше до конца жизни, не увижу больше сияющей улыбки Георгия Седова, ни добродушного толстяка Ивана Андреевича Зандера. Вот, сейчас, за поворотом скроются две маленьких грудки камней, и скроются они навсегда, навсегда. Кажется, не только я, но и другие вряд ли увидят когда эти тихие берега с их печальными памятниками. А люди, хранящие память об этом кусочке вселенной, также умрут

в свое время и забудутся. И будут вычеркнуты из памяти человеческой последние следы трагедии, разыгравшейся некогда в пустынной, до нас неведомой людям и не имевшей названия бухте. Прощание безраздельно царило в моем сердце в тот день".

Но как ошибаются люди и как ошибся я! Ровно через семнадцать лет в ветреный и ясный августовский день тысяча девятьсот тридцать первого года я вновь оказался на том же месте — в бухте Тихой. Стоя на капитанском мостике прекрасного ледокола, плывшего по зунду Меленнуса, я с нетерпением ждал мгновенья, когда уплывет наконец влево заслоняющий бухту белый мысок острова Скотт-Кельти, и откроется чудесная, так хорошо знакомая картина с линией пустынного берега, у которого мы зимовали семнадцать лет назад. Вот проплыл огромный Рубини-Рок. Как тогда, его двухсотметровые отвесные стены благодаря отражению в воде кажутся еще выше. Попрежнему у вершины скалы, как тучки комариков, носятся веселые люрики; как раньше, на ступенчатом обрыве можно различить ряды белых жилетов на брюшках важных кайр, а на воде беззаботно ныряют вертлявые чистики.

Наконец, ушел налево мысок Скотт-Кельти. Раскинулась перед взором вся бухта. Бинокль мой шарит по берегам ее. Я отмечаю на обрыве ледника,— он раньше переходил незаметно в припай,— какую-то грудку. Тогда ее тут не было. Левее — пустой, как и раньше, берег, но нет, — вот чернеется что-то: несколько бочек. Еще левее — высокая и стройная радиомачта; рядом с ней дом, другой, третий и еще какие-то построечки, пристань у берега,— целый поселок.

В поле бинокля попадает балкончик, венчающий крышу большого солидно построенного дома. На нем и на крыльце группы людей. Они перебегают с места на место. От крыльца отделяются двое, бегут куда-то к горе. Вижу движение длинной гирлянды флагов, ползущей, казалось, по воздуху к самой вершине радиомачты и от дома к дому, затем вижу клубок плотного черного дыма на фоне глетчера. Как отдаленный гром, доносится грохот салютного взрыва в честь нашего прихода.

Здесь много людей. Они торжественно встречают первый пароход. Так неужели же передо мной — та самая пустынная „Тихая" бухта, оставленная нами навсегда семнадцать лет назад? Где тишина ее?

В первые дни пребывания даже среди самых оживленных разговоров с новыми людьми — зимовщиками Тихой и с пассажирами „Малыгина" я не раз ловил себя на мыслях о давно прошедших мгновениях жизни здесь, вот в этой самой бухте, в окружении того же моря, снега и ледников.

Во время беседы с рафинированным европейцем Нобиле мне мерещились иногда, как в тумане, образы товарищей по экспедиции, грязных, лохматых людей в самодельной обуви, в истасканных до крайности куртках,— в них с трудом можно было

признать одежду, сшитую некогда по европейскому образцу. Эти видения не раз заставляли терять нить разговора. В аромате парижских духов, окружавшем всегда миссис Патерсон, носившей мужской костюм по последнему фасону туристской моды (жакет и брюки из роскошнейшей замши и патентованного непромокаемого шелка), мне ясно почти до галлюцинации чудился запах „Фоки“, не передаваемый словами,— смесь запаха ворвани со специфической трюмною вонью и гнилостным противным духом, шедшим из камбуза „Фоки“, когда варилась там зеленая протухшая солонина.

На палубе „Малыгина“ каждый залитый варом паз выделялся на белизне гладкого дерева, как черная ниточка, а чистота бортов и переборок в каютах спорила с блеском снегов на глетчере. Здесь мне особенно отчетливо представлялась жалкая картина развала на палубе небольшого судна, зимовавшего в этой же бухте. Только моряк может представить, какой вид могла иметь палуба на судне, не бывшем лет десять в ремонте, да вдобавок зимовавшем в полярных странах два года подряд. Краска, покрывавшая некогда гаки и гафеля, частично стерлась, местами облезла лохмотьями, палуба, насквозь пропитанная ворванью, носила следы запекшейся крови моржей, а сверху была испачкана пометом ездовых собак и покрыта всяческим мусором, на вантах черные куски моржового и медвежьего мяса; у мачт — груды снастей, полусгнивших и темных, свисали гирляндами по бортам. Среди всей этой грязи медленно шагали ручные наши медвежата Полышка, Торос и Васька.

Миссис Патерсон с участием спрашивала меня:

— Pardon, its some thing disturbed you?

Я приходил в себя и отвечал:

— No, madam, d' nt worry. One moment of my old rheumatic ache.

А через полчаса, сидя на мягком бархатном диване в каюте вылощенного герра Зибурга, политического корреспондента газеты „Times“ и автора модной книжки о путях Германии, я вновь отвлекался от нити разговора. Опять перед глазами проносился туман, и вставала из-за него моя тесная — у койки еле пройти одному человеку — каюта. Она была когда-то чиста и довольно уютна. Но за два года белая краска на переборках от копоти сутками горевших ламп совсем посерела; белые полосы инея, осевшего в пазах между досками, еще сильней подчеркивали грязь на стенах и неприглядный вид промозглого дерева в местах, где краска облупилась. Стены каютки заставлены ящиками из-под папирос; эти ящики служили шкафами для книг и инструментов. В каюте велась упорная борьба с оледенением. Узенький, круглый иллюминатор всегда был покрыт корою льда сантиметров в пять. Я видел себя в своей каютке на „Фоке“ у тусклой свечи с окоченелыми руками, пишущим дневник.

А герр Зибург, протягивая серебряный портсигар рукою в манжете, накрахмаленной еще в Берлине, мне говорит:

— Also, mein Herr, was denken Sie dort? Bitte, nehmen Sie eine Cigarette!

На банкете, устроенном зимовщиками по случаю прибытия на смену новых научных работников и в ознаменование окончания второго года работы научной станции в бухте Тихой, я с трудом удержался от порыва рассказать об этих полугаллюцинациях, которые преследуют меня со дня прибытия на Землю Франца-Иосифа.

Сидя за длинным столом, люди разных наций вели беседу, произносили речи и возглашали тосты на четырех языках, брали блюда с белоснежной скатерти, передавали соседу закуски, пироги и торты, изготовленные поваром Земли Франца-Иосифа. только свет полуночного солнца, необычные бороды зимовщиков старой смены да странные цветы (полярные маки) в хрустальной вазе отличали этот банкет от московского парадного ужина.



Иностранная туристка с ледокола „Малыгин"

Реальность ли это? Справляя здесь же за бутылкой разведенного спирта новый девятьсот четырнадцатый год, мог ли я предвидеть, что через семнадцать лет, на том же месте, люди будут говорить о завтрашнем прилете цеппелина, о предстоящей встрече туристов воздушного корабля с туристами ледокола? Нет, этого я не мог предвидеть. Теперь же люди, прожившие здесь год в покое и довольстве, без страха за будущее говорят об этом с интересом и без тени сомнения.

Особенно острое чувство контраста прежнего и настоящего овладело мной, когда за несколько часов „Малыгин" прошел от бухты Тихой до острова Рудольфа то самое расстояние, на одоление которого Седов затратил две последних недели своей жизни. Какой тяжелый был тот путь! Седов лелеял надежду дойти до полюса. О, этот сын рыбака был крепким человеком, он умел добиваться своего! Он твердо верил, что настойчивостью и бесстрашием возможно опрокинуть любые преграды. И, даже заболев и ослабев, он шел упорно вперед и вперед.

Теперь мощный ледокол, словно играя, раздвигает, режет, давит, крошит льды! Наш капитан, весьма прозаический человек, не склонный ни к каким мечтаниям, только что выпив в роскошной каюте стакан горячего кофе, поднялся на мостик взглянуть — пора ли лечь на новый курс — и заворчал:

— Опять нактоуз плохо надраен!

Туристы, обвешенные биноклями и фотоаппаратами, полностью экипированные фирмой Фиала аутфит лимитед Нью-Йорк-Сити, и не столь роскошно, но тепло и чисто одетые советские моряки — тоже на мостике. Все ждут, когда откроется на северо-востоке мыс Бророк, где должна находиться еще не найденная могила человека, шедшего на север семнадцать лет назад тем же курсом, как „Малыгин".

Тот человек переживал великую душевную трагедию. После многих жизненных удач, здесь, в стране, тогда отрезанной от мира, он понял, что почвы под ногами нет. Одиночка-исследователь, за которым не стояли народные массы, он почувствовал свое одиночество слишком поздно, когда отступление было отрезано. Он шел с отчаянием в душе, с голыми руками против беспощадной стихии прямой дорогой к смерти.

Мы миримся со смертью. Мы знаем: она еще неотвратима. Люди расстаются с жизнью с различной степенью легкости. Но, говорят, человеку, завершившему дело жизни до конца, легка и смерть. Седов умирал, конечно, с отчаянием в груди. Он умирал и думал, что дело его жизни — дойти до полюса — не завершено. Этого отчаяния ничто не могло облегчить. Он не знал, что миссия его на земле уже была завершена в значительной части. Он пробудил стремление к познанию севера. Выходец из семьи трудящихся, он не знал, что знамя изучения севера, выпавшее из его ослабевших рук, будет поднято и крепко водружено в бухте Тихой такими же, пришедшими к власти, трудящимися.

Новые люди

За двадцать пять лет, прошедших со времени первой поездки, встречалось мне не мало людей, так или иначе связанных с севером, но среди них было совсем не много посвятивших себя всецело работе на севере, особенно в арктике. Большинство из них знал я лично, а со многими исследователями арктики, как с В. Ю. Визе, Н. И. Евгеновым, Б. Г. Чухновским, Н. Н. Урванцевым и А. М. Павловым, состоял в самых близких, дружеских отношениях.

Так было до 1932 года, когда впервые встретил я на севере совсем новых людей.

1932 год был для полярников всего мира особенным, праздничным годом. По мысли давно умершего австрийского полярного исследователя Карла Вейпрехта и по международному соглашению было решено через каждые пятьдесят лет производить специальные научные работы в различных частях арктики для изучения поведения воздушных масс, окружающих полюс. Такие наблюдения должны были вестись одновременно, по единой программе на специальных полярных станциях.

В течение первого 1882 международного года Российское государство приняло на себя сооружение и содержание трех станций. В 1932 году Советский Союз решил организовать цепь станций на всем побережьи Ледовитого океана и на самых северных островах.

Программа работ второго международного полярного года в советском секторе арктики отличалась необычайной широтой. В сумме она превышала все, что могло быть сделано всеми остальными государствами. Иностранные ученые, обсуждая эту программу, сомневались в ее реальности. С присущей им осторожной иронией, они называли эту программу „восторженной".

В этом году я руководил большой экспедицией второго международного полярного года на ледоколе „Малыгин". Ее задача состояла в производстве наблюдений по программе международного года и установке станции на Земле Рудольфа, самом северном острове Земли Франца-Иосифа.

Мы подошли к Земле Франца-Иосифа по чистой воде. Только у самых берегов ее носились взад и вперед, под влиянием при-

ливо-отливных течений, небольшие скопления льдов. Пройдя Британским каналом, мы повернули в бухту Тихую, чтоб сдать на острове Гукера некоторые грузы для полярной станции, преобразованной в этом году в полярную обсерваторию.

Когда становились на якорь, дул в Тихой бухте крепкий ветер со мглой и снегом. Берег, пестрый, как спина линяющей куропатки, то показывался, то исчезал. Мы рассмотрели как следует станцию на острове Гукера только после того, как спущен был в воду якорь.

— Гляди, как обстроился!— отметил капитан „Малыгина", доставивший предыдущим рейсом на станцию грузы и новую смену зимовщиков. — Что он тут затеял, и не пойму. Когда успели? И месяца, ведь, не прошло!

Здесь, в самом деле, шло большое строительство. Я не мог сразу понять: что за здания выросли на берегу, известном мне до последнего камешка. Эта колоссальных размеров решетка, похожая издали на опрокинутую ивовую корзину с овальным дном,— вероятно ангар. Левее радиомачты — также новая стройка; наверное, дом для научных лабораторий. Эта вышка с вращающимся круглым диском, несомненно, ветровой электродвигатель. Вот магнитный павильон и домик для пилотных наблюдений. Но что за мелкие построечки раскиданы всюду? Ни их, ни ветряка как будто в плане не значилось?

В этот раз берег имел совсем будничный вид: ни праздничных флагов, ни салюта. В бинокль было видно, что бродят по берегу люди, которым до нашего ледокола нет никакого дела. Доносились звуки: стук топора, визги пилы и лай собак. Собаки одни, кажется, были взволнованы приходом ледокола.

Рассматривая берег в бинокль, узнал я в группе людей коротенькую и подвижную фигуру Папанина, начальника новой обсерватории и всей Земли Франца-Иосифа. Он, видно, собирался к нам, но никак не мог оторваться. Встретив по дороге человека, вовлечен был в какое-то неотложное дело. Не раз делал несколько шагов по направлению к пристани и опять возвращался.

Шлюпка с Папаниным пришла только через полчаса. Он влез по штормтрапу на палубу, заговорил, преодолевая усталую хрипоту в голосе.

— Здорово, братки!.. Что задержались? Мы вас тут ждем— беда. Досок нехватает. Эта прорва — ангар — все сожрал; стандарт за стандартом идет, и конца не видно. Сколько привезли?

И, когда узнал, завопил:

— Да что вы, родные, зарезать меня хотите? Мне так на высокогорную станцию нехватит... Эх, мать честная!

Капитан оправдывался:

— Да ведь корабль не резиновый.

— А вы бы на палубу побольше, на палубу!.. Ну, ладно, нечего плакать. Давайте, лучше о разгрузке поговорим... Дело серьезное... Пойдем в каюту, капитан, покалякаем...



Полярная обсерватория в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа

Минут через сорок наш гость был опять на берегу. Там, вонзившись в цепочку конвейера из людей, передававших с берега грузы, он подхватил какой-то ящик; минуту спустя я видел этого подвижного человека на стропилах, а еще через пяток минут — среди переплетов ажурной башни на ветряке.

С этим человеком я познакомился впервые в 1931 году в почтовой каюте на борту того же „Малыгина", возившего на Землю Франца-Иосифа и на Новую Землю иностранных туристов. Тогда Папанин был командирован Наркоматом Связи для обмена почтой с дирижаблем „Граф Цеппелин 127", который совершил рейс из Фридрихсгафена в советскую арктику с международной экспедицией общества „Аэроарктик".

Как-то сразу случилось, что этот маленький, круглый, упругий и крепкий человек, краснознаменец и бывший севастопольский матрос, оказался в центре странного конгломерата из представителей различных наций, собравшихся для увеселительной поездки на борту „Малыгина". Папанин обладал каким-то секретом сколачивать людей в тесные коллективы. Не успели еще охотники высказать мечту о добыче шкур и других трофеев, как Папанин выстроил всех вожделевших медвежьей крови в шеренгу, выровнял, поправил опущенные подбородки, роздал оружие, по обойме патронов и объявил о правилах коллективной охоты, как будто бы сам всю жизнь до того только и делал, что охотился на белых медведей. Так же скоро оказались разбитыми по отрядам все ипохондрики советские и иностранные, скучавшие во время нудного плавания среди бесконечного тумана Баренцова моря: кто засажен за карты, кто за домино или трик-трак. Стоит такой турист, смотрит тусклым взглядом на тусклые волны. И вдруг встречает твердый и веселый взгляд Папанина, а у него в руках колода карт.

— Может быть — пулечку? — предлагает Папанин.

И компания преферансистов быстро подбирается.

Когда мы стояли у северного берега Новой Земли, случилось с Папаниным происшествие, которое могло для другого окончиться плохо. Увлекшись охотой за дикими оленями, он зашел в центральную часть острова. На обратном пути Папаня (так его звали советские туристы на „Малыгине") и его два спутника, решив итти к берегу по прямому направлению, оказались отрезанными от него непроходимым ущельем и бурной рекой. Пришлось возвратиться назад больше чем на двадцать километров и только оттуда итти по направлению стоянки ледокола.

На „Малыгине" необъяснимое отсутствие ушедших налегке охотников в течение двух суток вызвало немалую тревогу. Одна из иностранных туристок твердила с тоской:

— Если мистер Папанья вернется, это будет счастливейшим событием моей жизни.

В довершение всего навалился туман. „Малыгин" надрывался гудками. Когда туман рассеялся, на берегу показался

человек, с трудом передвигавший ноги, за ним в отдалении еще два. Впереди шел Папаня, за его плечами, кроме рюкзака, виднелись две пары оленьих рогов и винтовки товарищей.

Тяжело опустившись на стул, в коротких словах рассказал Папанин об изумительном переходе почти в 100 километров. Его спутники выбились из сил совершенно — не могли даже ружей нести.

— Теперь спать!

— А пулечку?— съиронизировал кто-то из корреспондентов.

Разбитый смертельной усталостью Папаня, всегда любезный и вежливый, на этот раз, взглянув тяжело на весельчака, кратко и грубо-выразительно отрезал:

— Пошел ты к чорту, трепло!

Я поехал с двумя иностранными туристами взглянуть на строительство в бухте Тихой. Мы осмотрели старый дом, новые просторные помещения для различных кабинетов и лабораторий и отдельно стоящие павильоны для различных научных работ. Все сделано солидно, хозяйственно, предусмотрительно. Иностранцы пожелали познакомиться с начальником обсерватории. Когда Папанин был на „Малыгине“, туристы просто его не заметили. Да и в самом деле, не было возможности человека с засаленным ватником на плечах и в мохнатой кожаной шапке-ушанке на голове отличить от простого матроса. Только после разговора с доктором Шольцом — немецким ученым, командированным Германией, не имевшей своих станций, на советскую —



Самая северная в мире станция на Земле Рудольфа (архипелаг Франца-Иосифа)

для участия в работах второго международного года, туристы заинтересовались Папаниным.

— Покажите нам этого замечательного человека, который сумел внушить даже доктору Шольцу такой энтузиазм.

При первой встрече с Папаниным один из наших гостей-иностранцев просил передать ему изумление быстрой, хорошо налаженной и дружной работе всех — от ученого специалиста до плотника и землекопа. Но мимоходом гость этот высказал мнение (в очень осторожных выражениях), что следовало бы механизировать разгрузку, поставив хотя бы одну паровую лебедку или кран для тяжестей. Горячо жестикулируя, Папанин выразительно поставил перед собою пять пальцев собственной руки, потом по отдельности, загнув, пересчитал их.

— Раз, два, три, четыре, пять! Вот: скажите ему, что через пять лет мы здесь не только паровые краны — чорта в ступе поставим. А пока обходимся без крана, на своем хлебном паре. И ничего — выходит... Нам не привыкать к трудностям — на то мы и большевики — Сталинская когорта. Видели, как работают? Звери!

И еще добавил:

— Скажите ему, пусть скорее гонят своих капиталистов долой... к чортовой матери! Тогда и у них работа так же пойдет.

Работа у Папанина и в самом деле была хорошо организована: спорилась необычайно. В общей массе работников не было возможности отличить ученых от грузчиков, плотников и маляров. Новый начальник сумел подобрать изумительно-слаженную компанию. Даже повар был мобилизован на строительство, его заменила жена Папанина, кормившая всю ораву.

В пустой кают-компании нашли мы стенгазету, несколько кратких приказов и расписание дежурств подручных по кухне, по уборке жилищ. В обоих расписаниях на первом месте значилось имя Папанина.

В этот раз мы стояли в бухте Тихой недолго. Как только окончилась разгрузка, ушли мы на север.

Закончив постройку самой северной в мире станции на Земле Рудольфа под 81,5° и сделав рейс в полярные льды, где удалось нам в этот год дойти до 82° 27,5′ северной широты, которой не достигало еще ни одно свободно плавающее судно, и закончив научные работы, мы снова, во второй половине сентября, посетили бухту Тихую.

Стояла глубокая зима. Все берега под глубокими сугробами, в бухте — плавающий лед. По ночам играли на небе ленты северного сияния, и спорили с ним в темной, тяжелой воде отражения огней нового поселка-обсерватории.

На этот раз шлюпка с берега не задержалась. Папанин явился мигом. И сразу же заявил претензию на весь уголь, имеющийся в бункерах „Малыгина“, за исключением необходимого ледоколу на обратный рейс.

— Нет, ты об этом не спорь. Как я могу доставить ученым удобства в работе, если топлива нехватит? А вдруг останемся зимовать еще на год? — Вот что, друг, — обратился Папанин ко мне. — Беда! Мешков, говорят, целых мало. Есть много — да рваные. Грузить уголь нечем. Так вот — помоги. Не в службу, а в дружбу: уговори своих барышень мобилизоваться на прорыв, мешки зашивать. Мы бы и сами сделали, да понимаешь: шитье — дело не мужское. Пока мы будем иголками ковырять, вы угля тонн полсотни сожжете. Уговори! Я их потом шоколадом, что ли, угощу.

К моему большому удивлению, женская часть экспедиции — три научных работницы, корреспондентка и уборщица — пошли легко на „угольную мобилизацию". Через час проворные пальчики, только что совершавшие нежнейшие манипуляции научными приборами, быстро сметывали угольные мешки, впитавшие в себя трюмную грязь и килограммы черной мажущей пыли. И не ворчали.

— Да что вы, не нужно! Разве мы из-за шоколада работали? — в один голос протестовали наши ученые дамы, когда Папанин, исполняя обещание, поднес каждой по кило шоколада.

„Малыгин" уходил из бухты Тихой подвечер. После короткого ужина, распрощавшись и передав письма на родину, съехали на берег зимовщики. Забегала команда по палубе в веселой предотходной суете, загрохотал брашпиль, вытягивая оледеневший якорный канат, и задымилась паром лебедка.

На берегу, навстречу приставшей шлюпке отовсюду бежали из разных домиков черные силуэты людей, строились в шеренгу невдалеке от пристани. И в тот самый момент, когда впервые вырвался плотный мячик пара для прощального гудка, шеренга разом ощетинилась винтовками. Короткий взмах руки у крепкосбитой фигурки на левом фланге, до нас долетел стройный звук залпа. За ответным гудком — второй, такой же четкий залп и третий. Шеренга не расходилась. С ружьями „на руку", неподвижная застыла дружина полярных работников, — девятнадцать мужчин и одна с ними мужественная женщина.

Эта цепочка людей, вырисовываясь силуэтом на зданиях между ангаром и радиомачтой, издали казалась звеном какой-то большой цепи, охватившей не только окружающую белизну прекрасных берегов. Нет, — цепь эта невидимо, но ясно тянулась дальше ко всему великому коллективу советской страны, пославшему отряд новых людей владеть далекой северной окраиной.

Работала машина. Шуршали под штевнем ледокола мелкие льдины. Мы, не отрывая взглядов от берега, стояли, как на параде, до тех пор, пока надвинувшийся сбоку остров не закрыл, словно занавесом, всю широкую бухту и спаянную четкую цепочку людей.

Оглавление

Часть первая

Часть вторая

Редактор *В. С. Сидоренко* Техред и корр. *А. А. Веселовская*

Обложка *Н. А. Фурсея*. Тит. лист *В. С. Перова*

Уполн. Севкрайлита № 1162. Авт. л. 22,1 Форм. 61×93
Огиз № 800 Печ. л. 20,88 Сдано в наб. 7/V 1936 г.
Инд. Эк-56 Бум. л. 10,44 Подп. к печати 8/VII 1936 г.
Тираж 10 000 Зн. в б. л. 90944 Заказ № 1127.

Цена 4 р. 45 к., переплет 1 р. 35 к.

Вологда, тип. „Северный Печатник“ УМП Северного края, ул. К. Маркса, 70

5 р. 80 к.